

ЮНОСТЬ



11
1976



Я. КРЫЖЕВСКИЙ.

Новый день.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



*Юноши и девушки!
Настойчиво овладевайте
марксистско-ленинским учением,
достижениями науки,
техники и культуры!
Приумножайте славные революционные,
боевые и трудовые традиции
советского народа!
Будьте в первых рядах борцов
за успешное выполнение
решений XXV съезда КПСС!*

Из Призывов ЦК КПСС
к 59-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции.

Журнал
основан
в
1955
году

11

[258]
НОЯБРЬ
1976

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Комментарий к одной фотографии

... **Б** ело-мраморный зал. Внимательные лица людей. На трибуне — Ленин. Все — и докладчик и слушатели — не замечают, что их кто-то фотографирует.

Вот солдат, подперев голову рукой, ловит каждое слово Ильича. Его сосед тоже повернулся к Ленину. Он чем-то явно взволнован. Ворот растегнут. Сидит, так и не сняв с головы лихо сдвинутую набекрень военную фуражку.

Справа от него — еще один солдат, тоже слушает. Совсем молодой. Шинель накинута на плечи. В руках какой-то журнал. Молодой солдатик с журналом в руках — автор этих строк.

Долго я не знал о существовании столь редкого снимка. А несколько лет назад мне прислал его мой давний друг, бывший рабочий завода «Розенкранц» Павел Семенович Успенский, в первые дни после свержения самодержавия избранный депутатом Петроградского Совета. Он тоже узнал себя: на снимке стоит во втором ряду, позади меня.

...Кто же автор этой фотографии? Почему снимок оставался неизвестным?

Поиски привели меня в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Оказалось, 43 года отделяют первую публика-

цию этой фотографии от того дня, когда вездесущий змеяк мой, питерский фотограф П. И. Волков делал снимки в главном зале Таврического дворца.

П. И. Волков вряд ли осознавал, какое важное историческое событие ему на этот раз удалось запечатлеть. Дома, проявив пленку, он, как потом выяснилось, промыл ее без особого старания. На кадре остались соли фиксажа. Фотография была обречена на гибель.

Шли годы. Изображение слабело. Словно в тумане, растворялись лица людей. Время навсегда уносило бесценную реликвию.

Подняли все сохранившиеся в Партактиве позитивы, сделанные самим автором. На одном, контрольном, размером 6 x 9, удалось обнаружить надпись: «С натуры, 4 апреля 1917 года. П. И. Волков».

Началось восстановление редкого снимка. Оно продолжалось около года. О том, как реставраторы подбирали специальный режим съемки, определяли экспозиции, характер пластинок, можно написать целую повесть.

Восстановленный снимок впервые появился в «Известиях» 26 февраля 1960 года. Затем неоднократно публиковался в разных сборниках произведений Ленина. Но до недавних пор оставался не полностью расшифрованным.

Сравнительно несложным оказалось узнать тех, кто на снимке находится справа от Ленина. На объединенном собрании большевиков и меньшевиков (к слову, последнем «объединенном» в истории нашей партии), присутствовали лидеры меньшевиков. Они

С Л Е Н И Н Н Ы М

занимали места справа от Ленина и отчетливо видны на снимке.

Не до конца расшифрованной оставалась группа слева от Ильича. Наша группа...

Рядом с Лениным — за трибуной — видна только голова — это А. Е. Васильев, мой дядя, токарь Путиловского завода, профессиональный революционер, член Петербургского комитета и один из партийных организаторов Нарвского района в годы подполья. До революции — 12 арестов, ссылки. В апреле 1917 года — председатель заводского комитета путиловцев. Слева от меня, в фуражке набекрень, унтер-офицер, кавалер трех Георгиев. С ним — об этом сказ впереди — связан драматический эпизод во время доклада В. И. Ленина. Позади нас стоят члены полковых комитетов Попов, Успенский; слева от нас сидят Волокушин, Семенов, Судаков. Впереди стоит мой старший брат, Дмитрий, большевик, председатель одного из полковых комитетов.

Смотрю на бесконечно родное лицо Ильича, на все еще не остывшее от волнения лицо моего соседа в фуражке набекрень, на лица моих товарищей — и час за часом восстанавливаю незабываемый для меня день 4 апреля 1917 года.

В этот день Ленин в Таврическом дворце выступал дважды: в полдень — на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов с докладом, в котором огласил и разъяснил свои Тезисы о задачах революционного пролетариата (Апрельские тезисы); после

небольшого перерыва вторично с этим же докладом — на объединенном заседании большевиков и меньшевиков — участников совещания Советов. На этом заседании присутствовал и я.

Как же молодой красновардеец (шел мне тогда 20-й год) оказался 4 апреля рядом с вождем революции?

Накануне я впервые увидел Ленина. Узнав, что Владимир Ильич приезжает из эмиграции в Петроград, около трех тысяч путиловцев с развернутыми красными знаменами двинулись вечером к Финляндскому вокзалу. Мы, члены районной дружины Красной гвардии, — во главе колонны. Шли с факелами, с песнями. По дороге к нашей колонне стали присоединяться рабочие «Треугольника», «Гильмана», химического. Настроение у всех приподнятое, праздничное.

К нашему приходу вся площадь вокзала уже была заполнена рабочими, солдатами, матросами. Нас, путиловцев, поставили слева от главного входа. По соседству, у самого выхода на площадь из парадных, «царских» комнат вокзала, заняли все свободное пространство броневики.

...Кто-то крикнул: «Идет!» Многоголосый шум, звуки военных оркестров прорезал гудок паровоза. На площади все стихло. Мы, красновардеец, не дожидаясь приказа, встали по команде «Смирно!». Луч прожектора выхватил из тьмы высоко поднятое над путловской колонной натянутое на двух древках полотнище: «Привет товарищу Ленину!»

Есть биографии, на чьих страницах словно отблеск самой истории. Такова жизнь коммуниста Василия Ефимовича Васильева, члена КПСС с января 1918 года, делегата XXV съезда КПСС.

В его послужном списке длинный перечень профессий, должностей. Был слесарем и солдатом, столярком и дипломатом, каменщиком, красновардеем и комкором. Сын и внук питерских пролетариев, рабочий-путиловец, один из организаторов первых красновардеецких отрядов, — он прошел путь от рядового революции до генерал-лейтенанта. Одним словом, прожито и пережито столько, что хватило бы не на один захватывающий многосерийный фильм.

Штурмовал Зимний. Брал со своим 2-м Петроградским (Нарвским) полком Симбирск — родной город Ильича. В годы Великой Отечественной войны дивизия, которую командовал генерал Васильев, участвовала в освобождении Украины, Чехословакии, Румынии. После войны Васильев — заместитель маршала Конева, в то время командовавшего войсками Прикарпатского военного округа.

Две революции, три тюрьмы, три войны, пять ранений. И вечный бой. И — на восьмидесятом году жизни — в строю. Член Киевского горкома партии, внештатный лектор ЦК ЛКСМУ, пропагандист и агитатор с шестидесятилетним стажем, Василий Ефимович частый и желанный гость молодежи, много ездит по стране, охотно выступает с лекциями, воспоминаниями.

Самыми незабываемыми для него были и остаются встречи с Лениным.

Как член «Военки», старший небольшой подвижной группы по охране ЦК партии и В. И. Ленина, Васильев с апреля 1917 по март 1918 года неоднократно встречался с Ильичем, слушал его, беседовал с ним.

В настоящее время В. Васильев работает над книгой воспоминаний.

Мы печатаем главы из этой книги — «Встречи с Лениным». Эти главы помогут уточнить некоторые важные события. С любовью рисуя образ В. И. Ленина, автор показывает героизм простых рабочих и солдат, самоотверженно борющихся за победу социалистической революции.

Проходит еще несколько минут. Мощное «Ура!». На пороге вокзала, окруженным соратниками, друзьями — Ленин. Вот он пристановилась, взмахнула шляпой, приветствуя рабочих, солдат и матросов революционного Петрограда.

В лучах прожектора — мощный лоб, энергичный взмах руки, пальцы нараспашку. Тут же, у выхода из вокзала, Владимир Ильич произнес свое первое приветствие собравшимся на площади. Это была очень короткая речь. И, может, поэтому, мне запомнился основной ее смысл: никакого доверия Временному правительству, никакого компромисса с теми, кто пытается свести революцию к сладким речам и посулам. Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля.

Ленин говорил слова, очень понятные мне, рабочему и сыну рабочего, вчерашнему солдату, на своей шкуре испытывавшему, что такое война.

Закончил Ленин призывом, отменяющим сомнения, колебания: «Да здравствует социалистическая революция!»

Тут наши соседи из броневой команды предложили Ленину подняться на освещенный прожекторами броневику.

«...Столько лет прошло, а перед глазами вновь и вновь оживает эта ночь. Тысячные толпы рабочих, солдат. Знамена, словно фантастические красные птицы, реющие над нами. Владимир Ильич на броневике произносит свою речь, ставшую исторической.

Вслед за броневиком пошла рота матросов. За ней — наша колонна, а за нами все, что был на площади. «Да здравствует товарищ Ленин!», «Ленину — неутомимому борцу русской революции — привет!». Ликующие возгласы не смолкали на всем пути от вокзала к бывшему особняку Кшесинской, где помещались Центральный и Петербургский комитеты РСДРП.

«Поздней ночью возвращались мы за Нарвскую заставу. «Интернационалом» будили сладко спавших обывателей. Не понимая, что происходит, они выглядывали из окон, изредка, сонно потягиваясь, появлялись на балконах. «Ленин приехал!» — кричали мы им. — Ленин с нами! Буржуа захопывали страх, испуганно задерживали занавески. А во мне все ликовало: Ленин приехал.

Спать в эту ночь не пришлось: делились впечатлениями. А утром вышел на улицу. На каждом шагу меня останавливали знакомые путиловцы — из тех, кто не был на Финляндском вокзале. Все расспрашивали, какой он, Ленин, что говорил.

Увидел меня Корчагин — депутат Петросовета, обрадовался:

— На ловца и зверь бежит. Пошли в райком. Нас товарищ Косиор вызывает.

У Станислава Викентьевича Косиора, члена Петербургского комитета партии, мы застали знакомых красновардейцев: Смолина, Ивана Газу, Семенюка. Успешник, насколько мне помнится, присоединился к нам позже. Косиор предложил немедленно отправиться в Таврический дворец в распоряжение Подвойского.

Нас ждали. У входа во дворец я увидел Митю, моего старшего брата. Он провел нас в главный зал к Подвойскому и Барановскому.

— Рассаживайтесь поближе к председательской трибуне, — распорядился Николай Ильич Подвойский. — Охраняйте товарища Ленина от возможных эскзесов.

Тут уже сидело трое наших товарищей. Обрадовались — нашего полку прибыло!

Зал стал наполняться народом.

Большевики — некоторых я знал лично, — до этого заседавшие наверху, в помещении своей фракции, —

уселись в левом секторе Думских мест: всего — четыре стула и хора.

Остальные места заняли меньшевики, представители других фракций.

...Зад то гудел, словно улей, то взрывался громким, ожесточенным спором.

И вдруг — тишина. На председательской трибуне, вдоль всей ее линии появились лидеры Петросовета — Чхеидзе, Церетели, Дан. С ними — В. И. Ленин. Председатель собрания Н. С. Чхеидзе объявляет основной вопрос повестки дня: выяснение возможности объединения большевиков с меньшевиками в одну партию.

Сначала выступило несколько меньшевиков.

И вот на трибуне-кафедре невысокий плотный человек с рыжеватой бородкой. Ленин... Наши — большевики, красновардейцы — встречают его аплодисментами. Он гасит их энергичным движением руки.

По словам плехановской газеты «Единство», Ленин «произнес большую речь, произведшую несомненную сенсацию». Я бы назвал это не «сенсацией», а взрывом бомбы. Доклад Ленина звучал таким диссонансом умильным речам меньшевистских ораторов, что многие присутствовавшие повскакали со своих мест. Гнев, возмущение, сарказм, насмешка, свистки, злобные выкрики. Ленин энергичным жестом, словно отменяя все это, говорил: война — продукт империализма, а потому в отношении к войне не должно быть никаких уступок... Капитализм зашел в тупик, и объективный выход один — социализм... Наша цель — не парламентская республика, а Республика Советов... Трудящиеся должны взять в свои руки власть и управлять всеми делами государства.

...Я наслушался немало речей после февраля. Наслушался присяжных, на свой лад переклассных ораторов, знающих, как, чем «защепить» любую аудиторию. Один «брал» отлично поставленным голосом — от шепота до громового раската; другой — почти артистическими жестами; третий — неожиданными переходами от серьезного, порой трагического, к шутке, анекдоту.

А Ленин? Жесты скупые, ничего от позы, ничего будущего на эффект. Заметная картавость делает речь его почти «домашней», разговорной, но в то же время обладает такой силой убеждения, что устоять перед его обаянием нельзя. Главное впечатление — цельность, удивительная санидность мыслей, слов, жестов. Слова весомо, зримо, тяжело падают в зал, то притихший, то бурлящий, готовый взорваться.

Почему-то вспоминалось давнее. В селе за Уралом, где нам после ссылки отца пришлось жить несколько лет, я не раз видел, как вслед за плугом сельские разбрасывают зерна. Шагает по вспаханному полю широко, размеренно, неутомимо. Шаг — бросок. И снова шаг — бросок. Ни одного лишнего движения. Вот кого на трибуне-кафедре напоминал мне Ильич.

...Инцидент, о котором я хочу здесь рассказать, произошел, когда Ленин, заговорив о мире, дважды одобительно упомянул слово: «братание». И тут я увидел, как стремительно сорвался со своего места и шагнул к трибуне незнакомый мне тогда унтер-офицер, кавалер трех Георгиев. Истерически выкрикивая: «Постой, погоди!», он остановился у самой трибуны:

— Ты кто такой? С кем предлагаешь брататься?! Видать, на фронте не был! Я дважды раненный. Я тебе, господин хороший, покажу братание!

Тут мы с Семенюком и солдатом-измайловцем Волокушиным подбежали к унтер-офицеру. Второе его утомляли его, усадили рядом с собою. Он так и просидел до конца собрания в фуражке (таким и заснял его фотограф), то и дело что-то выкрикивая. Зашумели и другие делегаты-фронтники:

— Правильно, браток! За что воевали?!

Председатель собрания Н. С. Чхеидзе, не скрывая екидной ухмылки, принялся было призывать зал к порядку. Но тут на помощь моему неспокойному соседу неожиданно пришел Ильич.

Положение товарища Ленина мне в эти минуты казалось весьма и весьма трудным, незавидным. Одно дело — меньшевики, открытые идейные противники, другое — такое яростное выступление человека оттуда, из окопов.

Инцидент этот мне хорошо запомнился, но все мои попытки найти подтверждение ему в выступлениях и статьях Ильича, в прессе тех лет, в воспоминаниях долго были бесплодными. Помог счастливый случай — знакомство с книгой одного из ближайших сотрудников Владимира Ильича — В. Д. Бонч-Бруевича «Воспоминания о Ленине».

Говоря об «объединительном» собрании 4 апреля 1917 года, В. Д. Бонч-Бруевич рассказывает и о «взвинченном депутате» с фронта, который «стал ругаться самым отчаянным образом». В зале зашумели. Председатель стал его останавливать.

В. Д. Бонч-Бруевич пишет далее:

«Владимир Ильич спокойно, улыбаясь, выжидал, когда страсти улягутся.

— Товарищи, — начал он снова, — сейчас только товарищи, взволнованный и негодующий, излила свою душу в возмущенном протесте против меня, и я так хорошо понимаю его. Он по-своему глубоко прав. Я прежде всего думаю, что он прав уже потому, что в России объявлена свобода, но что же это за свобода, когда нельзя искреннему человеку, — а я думаю, что он искренен, — заявить во всеуслышание, заявить с негодованием свое собственное мнение о столь важных, чрезвычайно важных вопросах? Я думаю, что он еще прав и потому, что, как вы слышали от него самого, он только что из окопов, он там сидел, он там сражался уже несколько лет, дважды ранен, и таких, как он, там тысячи. У него возник вопрос: за что же он проливал свою кровь, за что страдал он сам и его многочисленные братья? И этот вопрос самый главный вопрос. Ему все время внушали, его учили, и он поверил, что проливает свою кровь за стечество, за народ, а на самом деле оказалось, что его все время жестоко обманывали, что он страдал, ужасно страдал, проливал свою кровь за совершенно чуждые и безусловно враждебные ему интересы капиталистов, помещиков, интересы союзных империалистов, этих свесветных и жадных грабителей и угнетателей. Как же ему не высказывать свое негодование? Да ведь тут просто с ума можно сойти! И поэтому еще настоятельней мы все должны требовать прекращения войны, пропагандировать братание войск враждующих государств как одно из средств к достижению намеченной цели в нашей борьбе за мир, за хлеб, за землю»¹.

Бесценное свидетельство! Перечитывая вновь и вновь слова Ильича, вижу его улыбку, то ироническую, то согревшую сочувствием и любовью.

...Время от времени я бросал взгляд на георгиевского кавалера. Какое борение чувств, какая смена настроений отразились на его обветренном суровом лице: недоумение («Как же так? С кулаками лез, ругал человека на все заставки, а он же тебя и защищает»), сомнение («Говорить мы все мастера»), колебание, первые проблески доверия («А ведь понимает, насквозь видит наши беды, страдания, душу



Василий
Ефимович
Васильев

солдатскую»). Уже не вскакивал, не срывался с места. Внимательно слушал. Как, впрочем, и другие депутаты: солдаты, крестьяне, рабочие, до этого по тем или иным причинам — чаще всего — из-за недостаточной политической зрелости — примыкавшие к меньшевикам, эсерам, анархистам.

Владимир Ильич говорил слова простые, понятные, о том, что было по-настоящему близко, что волновало и пахаря, и молотобойца, и человека в серой шинели. Говорил, а сосед над напряженно слушал.

Думается, читателю небезынтересно узнать, как в дальнейшем сложилась судьба унтер-офицера, георгиевского кавалера. В. Д. Бонч-Бруевич не называет его («кто-то из особо взвинченных депутатов с фронта»).

Этот «кто-то» вскоре стал моим другом. Кравченко — депутат Юго-Западного фронта — принимал участие в работе II Всероссийского съезда Советов, штурмовал Зимний. Затем я надолго потерял его из виду. В начале 1921 года я получил новое назначение на должность комиссара 85-й бригады. Квартировавшая бригада в Омске. Приезжаю в 253-й полк знакомиться с личным составом. Остановился у одного из батальонов, построенных на плацу. Смотрю, навстречу мне, держа правую руку под козырек, четко, по-уставному отбивая шаг, идет командир, в длинной шинели, опоясанный скрипучими новенькими ремнями. Улыбается как старому знакомому.

— Кравченко?!

— Он самый. Всю гражданку провоевал. Член партии большевиков с 1919 года. А если точнее — с 4 апреля 1917-го. Помнишь? Я себя и теперь критиком товарища Ленина считаю...

Мы часто потом встречались. По службе (Кравченко мне представляли как храброго, знающего, преданного революции командира) и по дружбе. Погиб красивый комбат Кравченко на Алтае поздней осенью 1921 года при подавлении кулацкого мятежа. Погиб настоящим коммунистом.

Небезынтересны и не менее поучительны судьбы других участников исторического собрания в Таврическом дворце, тоже запечатленных на уникальном снимке. Антон Ефимович Васильев — активный участник Великого Октября, видный партийный и советский работник. Мой друг Павел Семенович Успенский прошел всю гражданскую войну, много лет посвятил

¹ В. Д. Бонч-Бруевич. Воспоминания о Ленине. М., «Наука», 1969 г., стр. 76—79. Очерк «В. И. Ленин в России». Написан в 1924 году, впервые опубликован в 1924—1925 году. Снимок «4 апреля. В. И. Ленин выступает в Таврическом дворце» стал известен уже после смерти В. Д. Бонч-Бруевича (то есть после 1953 года).

воспитанию рабочей молодежи. Иван Семенюк — комиссар бригады, погиб в 1919-м на Восточном фронте. Судаков — один из самых уважаемых ветеранов Кировского завода.

Брат мой Митя вскоре погиб: его застрелил офицер «Дикой дивизии» прямо на трибуне, когда он выступал перед казаками. Было это в самом начале корниловского мятежа.

...Оглядываясь назад, вспоминая прошлое, пережитое, все больше убеждаюсь в огромном значении этой исторической речи Владимира Ильича. Из уст в уста передавались рабочими слова Ленина, прозвучавшие в Таврическом дворце:

Довольно поздравлений, пора приступить к делу...

КАК Я ПОПАЛ В «АНАРХИСТЫ»

Стопа на редкость для Петрограда солнечный июньский день. Нас было трое: Федоров, Семенюк и я. Возвращались мы, помню, с какого-то задания. Подходим к Троицкому мосту — митинг. Собралось человек сто, слушают оратора. Тот в студенческой тулупке, прилепился к фанерному столбу, словно акробат. Одной рукой обнимает столб, а свободной размахивает. Захлебываясь, не выкрикивает, а, казалось, выплевывает, слова: пломбир-важный вагон... золото... Ленин.

Знакомая песенка. Надо сказать, что дикая травля Ильича началась уже в первые дни после его приезда.

12(25) апреля Ленин пишет членам Заграничного представительства ЦК РСДРП(б) в Стокгольме: «Буржуазия (+ Плеханов) бешено травят нас за проезд через Германию. Пытаются натравить солдат. Пока не удается: есть сторонники, и верные...»

В июне обстановка еще больше накалилась. Статьи в буржуазных газетах прямо и косвенно подстрекали к убийству В. И. Ленина. Действовали в те дни и сотни контрреволюционных агитаторов.

— Спрашиваю солдатыка-фронтовика:

— О чем разговор?

— О чем, о чем? Гутарит: Ленин от самого кайзера десять пудов золота заполучил. Мол, я тебе золотышко, а ты — против войны и революции выступи.

Федоров, сам из матросов, горячий не в меру — хват солдатыка за грудки, встряхнул, спрашивает:

— А ты, простота, так и поверил?

Солдатыка — за винтовку. Лицо его, лукавое, веснучатое, вмгн посуровело:

— Не тронь, матрос! Не твою забота. Це дило треба розжувати. Как-нибудь сами разберемся, где ложь, а где правда.

Мы поближе к оратору. Несет такую ахинею — терпеть невозможно. Схватили мы «оратора» за ноги, деликатенько так — на землю опустили.

— Идй, — говорим, — не оглядывайся. Впредь врй, да на твою меру.

«Студент» — в амбицию:

— У нас, — кричит, — свобода! Я, — говорит, — жаловаться буду.

Накостылялы мы по шее незадачливому оратору. Отвели душ.

На следующий день прихожу в ЦК, в особняк Кшесинской. В двух шкафах по просьбе Владимира Ильича складывались свежие газеты. Была у нас такая договоренность: кто раньше является, тот и должен нести газеты Ильичу.

Обычно Ленин в своей рабочей комнате на втором этаже засиживался допоздна, зато утром приходил

позднее. С пачкой газет смело переступая порог, уверен, что в хорошо знакомой мне комнате никого нет, и тут же, к удивлению, слышу:

— Товарищ Васильев? Заходите, заходите. Вас-то нам и надо.

Рядом с Лениным — Подвойский. Владимир Ильич поглядывает на меня с этакой лукавой смешинкой:

— А правду говорят, товарищ Васильев, что вы вступили в партию анархистов?

Я опешил. Чего-чего, а такого не ожидал.

— Как же так, Владимир Ильич, кто мог на меня такую напраслину возвести? С анархистами дел никаких не имел, их программу и действия не разделял и не разделяю.

— А как прикажете, товарищ Васильев, расценить вчерашний случай у Троицкого? Им, видите ли, — повернулся Владимир Ильич к Н. И. Подвойскому, — не понравился оратор. И они попросту стащили его с трибуны, чуть ли не самосуд устроили.

— Какая, — говорю, — трибуна?! Он же про вас, товарищ Ленин, всякие небыллицы нес.

— Вот-вот, небыллицы... Ага, клеветал. Что же вы сделали, чтобы разоблачить ложь, восстановить правду? Попадались эмоциям, минутному гневу, прибегли к насилию и оказали партии, нашему общему делу медвежье усласту. Вот вам и анархизм чистейшей воды. Убедительно прошу вас, товарищ Васильев, сообщить о нашем разговоре Федорову и Семенюку. Так и передайте: в кулачной защите не нуждаемся...

Я рассказал про солдатыка, про его желание самостоятельно во всем разобраться.

— Это хорошо. Всякий гражданин, — заметил Владимир Ильич, — вправе и обязан требовать расследования любого факта, имеющего общественное значение. Врат, сознательно и преднамеренно распространяющий ложь и гнусную клевету, — одно; солдат, стремящийся разобраться во всем, узнать истину — другое. Чем больше людей узнает настоящие обстоятельства проезда русских политэмигрантов через Германию, тем лучше для революции, тем скорее потеряет свою силу, свое влияние на массы поток грязной лжи, мутной клеветы и погромной агитации. Так и передайте товарищам.

УРОК ИЛЬИЧА

С 15 июня 1917 года по март 1918-го я учился на курсах агитаторов — организаторов Совдепов и отрядов Красной гвардии при ЦК партии в Смольном.

Курсы были вечерними. Днем мы выполняли свои обязанности. (Я был тогда командиром отряда Красной гвардии и уполномоченным 1-го отдела Петроградской чрезвычайной комиссии), а в 16.00 собиравлись в одной из классных комнат Смольного; иногда — в Малом зале. Непосвященным напоминаю: здание, навсегда вошедшее в историю Октября, до революции принадлежало Институту благородных девиц. Заведовал нашими курсами тов. Смирнов, работник аппарата ЦК. Среди лекторов — В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, Н. И. Подвойский, Н. В. Крыленко, А. М. Коллонтай.

В Смольный мы приходили в 15.30. Тут же обедали в смольнинской столовой. В Петрограде с продуктами тогда было туго: осмущаю хлеба пополам с опилками, жиленый суп с одинокими перловыми крупинками, заправленный брюшкой или селедочной головкой. Почти всегда полуголодные, мы испытывали еще больший голод на книги, знания. Преподава-

теи это чувствовали, тщательно готовились. Как правило, являлись на занятие без опозданий. Некоторые с такой педантичной точностью, что по ним можно было сверять часы. 8 января случилось необычное: лекция Председателя ВЦИК началась с опозданием на 2 часа. Дважды приходил послышный Якова Михайловича: просил не расходиться.

Причина опоздания оказалась более чем уважительной. Как информировал нас Я. М. Свердлов, днем на расширенном заседании ЦК с участием виднейших питерских работников партии обсуждались составленные накануне В. И. Лениным «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннекционистского мира».

Вопрос тов. Лениным ставится так, — кратко изложил суть тезисов Якова Михайлович. — Быть или не быть миру — значит быть или не быть Советской власти... Положение крайне серьезное. Кайзеровские войска в трех-четыре переходах от Петрограда. Над республикой, — заключил свое сообщение Я. М. Свердлов, — нависла смертельная опасность.

Окрепшим голосом, видно, уже прийдя в себя после драматического голосования, Свердлов сообщил нам его результаты. 32 участника совещания высказались за лозунг «революционной войны», выдвинутый группой «левых коммунистов» во главе с Бухариным, 16 — за линию Троцкого, предложившего объявить состояние войны прекращенным, но мира не подписывать («Ни мира, ни войны»). Только 15 из 63 поддержали предложение Ленина: немедленное подписание мирного договора на предьявленных Германией условиях. Яков Михайлович добавил, что сам он голосовал за предложение Ленина.

— Надо смотреть правде в глаза. Не бояться правды, исходить из реального, действительного, а не желаемого. Только немедленный мир с Германией может спасти революцию.

То, что мы слышали, буквально нас потрясло, вызвало немалое замешательство. Против предложений В. И. Ленина голосовали¹ Дзержинский, Бокий², Урицкий. Их принципиальное, бесстрашие, кристальная чистота, верность ленинскому знамени не вызывали никаких сомнений.

Давно уже ушел Я. М. Свердлов, а дебаты, вспыхнувшие стихийно, разгорались все с большей силой. Не помню, чтобы когда-либо раньше дискуссионные страсти на курсах достигали такого накала.

Только и слышно было:

— Германский солдат не пойдет в наступление. Он тоже хочет мира. Да и в самой Германии вот-вот вспыхнет революция.

— Революции не возникают ни по заказу, ни по желанию...

— Это еще как сказать... Я за революционную войну. Будем драться до последнего. Погибнем с честью и с высоко поднятым знаменем.

Читателя, очевидно, интересует тогдашняя позиция автора этих строк.

Мне в ту ночь было мучительно трудно и больно. С апреля 1917 года Владимир Ильич вошел в мою жизнь не только как вождь партии, с которой я, молодой рабочий с Нарвской заставы, связал свою судьбу, но и как очень дорогой, близкий мне чело-

век. В течение многих недель (и каких недель!) я видел, слушал Ильича почти ежедневно.

Сердце, рассудок буквально разрывались между любовью к Ленину, верой в него, в его разум — и моим глубоким тогда убеждением в том, что германско-империализму уступить нельзя. Я вспоминал своих товарищей, путливосых рабочих, солдат, видел их решительные лица, горящие глаза, почти физически ощущал их готовность умереть за правое дело. «Неужели, — думалось, — с такими людьми надо идти на чудовищные уступки, неслыханные унижения?»

Мы разошлись далеко за полночь, каждый оставаясь при своем мнении.

...В один из дней первой половины января у нас на курсах должны были состояться занятия по группам. Утром заведующий курсами тов. Смирнов по телефону сообщил старостам групп — мне и Старку! — об изменениях в расписании. Со слов Смирнова мы узнали, что совместные занятия обеих групп состоятся в Малом зале. Проводить их будет В. И. Ленин. Смирнов просил нас, старост групп, предупредить всех слушателей.

Кому позволено, кому передано лично. За несколько минут до начала занятий все уже было в сборе.

Решили так: раз Ленин проводит с нами занятия, надо как можно подробнее расписать его, почему он так решительно выступает против революционной войны, почему предлагает заключить позорный, кабальный, унижительный договор с империалистической Германией?

Вопросы и желающих спрашивать оказалось так много, что мы пришли к выводу: всем спрашивать нельзя, время Ильича надо ценить. Сошлись на том, что с вопросами к товарищу Ленину обратятся старосты, предварительно собрав их по своим группам.

Перед самым началом занятий в зале появились сотрудники ЦК, Совнаркома. Владимир Ильич пришел вовремя. Поздоровался, положил ладку на стол.

Несколько секунд длилась пауза: Владимир Ильич внимательно оглядел аудиторию и совершенно неожиданно для нас, словно угадав то, что происходило у его прихода, сказал:

— Товарищи, сегодня мы несколько изменим привычный ход нашей работы: начнем с ответов на вопросы, вас интересующие.

Я поймал на себе подбадривающие взгляды товарищей и первым поднялся с места. Подошел к столу. А язык онемел. Ни слова не могу вымолвить. Владимир Ильич приветливо кивнул, улыбаясь: смелее, дескать. А я совсем оплошал: как скажу Ленину, что не согласен с ним, с его тезисами.

Стал довольно сбивчиво пересказывать вопросы группы, но под конец не удержался и в крайне возбужденном состоянии произнес что-то вроде небольшой речи, примерно такого содержания:

Разве вы, Владимир Ильич, не верите в силу пролетариата, в его готовность умереть за революцию? А солдаты, матросы? Разве можно социалистической России заключать такой позорный мир с империалистической Германией? У нас, — продолжал я запальчиво, — достаточно сил, энтузиазма не только на то, чтобы отразить наступление немцев. Мы еще поможем немецким пролетариям, нашим братьям по классу, свергнуть Вильгельма, установить Республику Советов.

Одним словом, более сумбурной речи мне не пришлось произнести за всю мою жизнь.

— Когда вы, товарищ Васильев, последний раз бывали на фронте?

¹ Вот как описывает этот момент в своих воспоминаниях Н. К. Крупская: «Ильич кончал заключительное слово, на него устремлены были враждебные взгляды товарищей. Ильич излагал свою точку зрения, явно потеряв всякую надежду убедить присутствующих. И сейчас слышится мне, каким безмерно усталым и горьким тоном он мне сказал, окончив доклад: «Ну, что же, пойдём!»

² Бокий Г. И. — член РСДРП с 1900 года, большевик, участник трех революций. С 1918 года на ответственной работе в Красной Армии и в органах ВЧК.

¹ Старк Л. Н. — член партии с 1905 года. Сын царского адмирала, активный участник трех революций, неоднократно сидел в тюрьмах, отбывал ссылку. После гражданской войны видный советский дипломат.

— В конце ноября, Владимир Ильич. Но разве это что-то меняет?

— Советую еще раз сдвинуть. И безотлагательно. Тут поднялся Старк. Вопросы изложил содержанно, кратко, в том же примерно порядке, как они обсуждались в группе. Я слушал своего старшего друга со смешанным чувством восхищения (вот уж кто умел поднимать свои чувства разуму!) и стыда. Воистину не потому, что считал себя неправым. Это пришло позже. Просто я получил наглядный урок: излишняя горячность, неумение владеть собой — плохие помощники в политике.

Старк сел. Наступила напряженная тишина.

Владимир Ильич сказал примерно следующее:

— Я думаю, вы все запаслись бумагой, карандашами. Прошу вас записать условия одной задачи. На границе нашей республики в настоящее время сосредоточено 159 дивизий австро-германского блока. Более полутора миллионов солдат и офицеров — хорошо обученных, вооруженных до зубов, готовых в любой момент выступить против Советской России. Что же мы можем противопоставить этой грозной мощи? Какую реальную силу представляет собой в настоящее время старая армия? Демобилизация, которая началась в ноябре, вышла из-под нашего контроля. Отдельные части группами, целыми эшелонами, с оружием и без оружия бросают фронт, уходят в тыл. Доведенная за три года империалистической войны до крайней степени истощения и усталости, дезорганизованная в боевом отношении, старая армия представляет собой почти нулевую величину. Таковы факты. Наконец, третье условие. По последним данным, в рядах Красной гвардии насчитывается 240 тысяч человек. Это беззаветно преданные, бесстрашные бойцы революции, которым мы гордимся и будем гордиться. Но вооруженные чем и как попали, подчас плохо обученные, не знающие даже азбуки военного дела. Главная и, думаю, послышная задача Красной гвардии в настоящий момент — охрана революции, борьба с контрреволюционными элементами. Наступление кавказской армии, безусловно, активизирует, вдохновит, приведет в движение силы внутренней реакции в Петрограде, в провинции. Послать всю Красную гвардию на фронт, оголить революционный тыл — смерти подобно. А теперь — сказал в заключение Владимир Ильич, — хорошенько подумайте над только что приведенными фактами и постарайтесь сами ответить на главный вопрос, который вы мне сегодня задали: можем ли мы, учитывая реальное положение вещей, вести революционную войну? Сегодня? Завтра?

Такой ход Владимира Ильича был для нас, признаться, неожиданным. Поднялся К. А. Мехоношин — впоследствии член реввоенсоветов ряда фронтов Республики. Сказал, что только недавно побывал на фронте, привел факты полного развала армии. На станции Дно, куда были поданы составы поездов для увоза в тыл имущества, солдаты, отменяя охрану, с оружием в руках штурмовали вагоны, облепленные буфера, крыши, приводя часто в полную негодность подвижной состав. Пушки нередко остаются без присмотра. Артиллерийские лошади доведены из-за отсутствия фуража до такого состояния, что годятся разве что на убой. Реальной боевой силой, — заключил Мехоношин, — у нас нет. Фронт обнажен, воевать мы не можем.

Затем выступили курсанты Федоров, Богун, Семюк.

Справа от столика, за которым сидел Владимир Ильич, стояла, видно еще с институтских времен, нарядная этжерка, чем-то напимшающая трибуну. Один за другим мои товарищи подходили к «трибуне», становились ~~сплош~~ к ней, лицом к Ильичу и

приводили многочисленные факты. Один со все большей страстью «доказывали» Ленину: революционная война в настоящих условиях обречена на поражение; единственный путь спасения Советской власти — мир. Выступили и противники мира. Ленин всех выслушивал с неистощимым трогательным терпением, стараясь, как мне казалось, ни жестом, ни выражением лица не оказывать давления на окружающих. Он напоминал учителя на экзамене, но учителя-товарища, друга, перед превосходством которого склоняешься не потому, что перед тобой и над тобой «человек власти», а в силу сознания, что он всегда поймет и, в свою очередь, искренне хочет быть понятым.

«Вот и решай свою задачу, товарищ Васильев. Разве для того, — думал я, — наши старшие товарищи, мой отец, дяди сидели в тюрьмах, шли на категорию, разве для того тысячи рабочих, революционеров гибли на баррикадах, а партия в глубоком подполье собирала силы, готовила народ к решительной схватке, чтобы теперь все погубить? Нет и нет».

Так я и сказал, выступив вторично, добавив, что мало самому осознать правду, надо эту правду донести в массы.

Слушая курсантов, Владимир Ильич быстро писал что-то, изредка подавая одобрительные реплики, уточняющие вопросы. Я и раньше частенько наблюдал способность Ильича одновременно слушать, писать, говорить, сохраняя при этом предельную собранность. Но когда начинаю восстанавливать в памяти живые черты вождя, почему-то прежде всего вижу Ленина в Малом зале Смольного. Ловлю на себе цепкий, чуть иронический, все понимающий, подбадривающий взгляд, слышу слова о революционной фразе, которая может революцию погубить.

Под конец кто-то из курсантов высказал сомнение, разделявшееся многими нашими товарищами.

— А как же, товарищ Ленин, социалистическая революция в самой Германии? Заключая выгодный для империалистов мир, не наносим ли мы этим удар по германской революции?

Ленин живо, всем корпусом повернулся к выступающему, отметил, что вопрос архи-интересный, архи-важный, что он тоже думал об этом. Любители «левой» фразы говорят о мировой революции, клянутся мировой революцией, а сами временный престиж ставят выше существования Советской власти. Но ведь именно в этом, в самом факте существования Советской Социалистической России — залог победы грядущей мировой революции. Если мы на архи-тяжелых, действительно униженных условиях все же добьемся мира, то этим покажем германскому пролетариату, пролетариям всех стран, что действительно не на словах, а на деле выступает за мир, против империалистической войны. Этим ускорим наступление революции в самой Германии. А революционная Германия, несомненно, освободит нас от кабальных условий. Такова, — заключил Владимир Ильич, — диалектика борьбы.

А на следующий день, часам к одиннадцати, как — меня, Старка, зав. курсами Смирнова — пригласили к Владимиру Ильичу.

В кабинете мы застали Свердлова, Подвойского. Обсуждался вопрос о создании новой армии.

— Найдутся ли, — спросил нас Владимир Ильич, — среди слушателей курсов товарищи, которых можно немедленно направить на фронт в качестве комиссаров частей?

Тут же посоветовал тов. Смирнову внести изменения в программу курсов.

— Помеьше общих рассуждений, поближе к первоочередным задачам дня. Как сформировать на местах части Красной Армии, как организовать Советы.

Важно, чтобы курсанты реально представляли себе это.

Владимир Ильич советовался с нами, как с равными. Меня и Старка подробно расспрашивал о тех курсантах, чьи кандидатуры были названы Смирновым. Достаточно ли политически грамотны, чтобы дали от центра разобраться в сложной обстановке, принять самостоятельные решения? Сумеют ли найти общий язык с солдатской массой?

Были и другие вопросы, все не помню.

О вчерашнем моем первом выступлении ни слова. Мы приняли активное участие в обсуждении новой программы курсов.

Вскоре я забыл, что среди этих, очень уважаемых мною людей я самый младший, кое-кому по возрасту гожеус в сыновья. Таким товарищеским, начисто лишенным наставнического тона было отношение ко мне.

И теперь, на пороге своего восьмидесятилетия, оказываясь в молодежной аудитории, сам молодея душой от одного соприкосновения с бурной, кипучей, ищущей, увлекающейся юностью, я вспоминаю кабинет в Смольном, совещание «на равных», дружескую улыбку и энергичное рукопожатие Ильича.

СТАНЦИЯ ДНО

Вскоре дальнейший ход событий полностью подтвердил правоту Ленина. 18 февраля германские полчища вторглись в пределы Советской республики по всему фронту — от Балтийского до Черного моря. Старая армия начала беспорядочное отступление.

Вечером того же дня мне в составе группы из пяти человек во главе со Степаном Корчагиным, членом Петросвета, пришлось по личному распоряжению Подвойского срочно выехать на станцию Дно. Наша задача — приостановить демобилизацию армии, задерживать эшелоны с демобилизованными солдатами, создать из вновь сформированных отрядов заслон против наступающих немецких частей.

В фильме «Красная площадь» (1-я серия) очень правдиво показана обстановка тех дней. Станции, забитые эшелонами демобилизованных, голодных, разъяренных людей, рвущихся домой. И против этой стихии, против бурлящего течения — горсточка большевистских комиссаров-агитаторов.

Примерно такую же картину мы застали на станции Дно. В полдень 19 февраля нам с трудом удалось задержать один эшелон. Паровоз мы отогнали. Что тут началось! Солдаты толпами хлынули из теплушек. Осадили здание вокзала, выбили стекла в комнате дежурного по станции. Угрожая винтовками, наганам, требовали немедленной отправки.

Подосел второй эшелон с демобилизованными. Повторилась та же история. Солдаты стали собираться на перроне. Железнодорожники по нашей просьбе прикатали две бочки из-под керосина, поставили одну на другую — и трибуна готова.

Я выступил первым, сообщил о наступлении немцев:

— Демобилизация временно приостанавливается. Есть решение ЦИКа о формировании вооруженных отрядов и полков.

Слушали меня, как мне казалось, внимательно. Мой внешний вид, как, впрочем, и Семенова, вызывал доверие: мы были в шинелях, с георгиевскими крестами, нашивками о ранениях.

Но вот на трибуне-бочке появился руководитель нашей группы Корчагин. Он в офицерской фуражке,

в добротной шинели. Настроение толпы сразу изменилось.

— Эх вы, дурачье, тыте разинули! Что вы гадов слушаете! Разве не видите: немцы-то они шпионы! — крикнул кто-то из толпы хриплым, простуженным голосом. — А э тот, — показал на Корчагина, — форменный господин офицер.

Одной реплики оказалось достаточно, чтобы наэлектризованная толпа вспыхнула, взорвалась:

— Бей их, сволочей!

— Добр волк до овец, да пасти ему не дадим!

С офицером сияхонис! А как же: ворон вороноу глаз не выклюет!

— Сами клонем. Расстреляты! В штаб Духонина!

Судить гадов революционным солдатским судом! Корчагина тут же стащили с трибуны. Я крикнул:

— Братцы, что вы делаете? Ну какой он офицер!

Это же наш, путиловец!

Не тут-то было. Озверевшая толпа, уже не вникая рассудку, нахлынула, подхватила меня и Семенова, смяла, сбита с ног.

В ход пошли кулаки, приклады.

— За что, братцы? — услышал я голос Петра Семенова. — Мы же, черти, для вас жизни не жалеем, и вы нас убиваете!

Снова град ударов. Словно сквозь вату пробивается ко мне незнакомый зычный голос:

— Что вы делаете? Прекратить самосуд!

Пистолетные выстрелы в воздух и тот же, привыкший командовать голос: «Прекратите! Немедленно!»

Вскоре мы, окровавленные, в изорванном обмундировании, оказались под арестом в одной из комнат вокзала.

Толпа на платформе все еще продолжала бурить. По доносившимся выкрикам мы поняли, что решаются два вопроса: как с нами поступить и где раздобыть паровоз.

Знакомый голос радостно воскликнул: «Вот они!» Тут и мы увидели Волокушину, Белихину — товарищей из нашей группы. Их, к счастью, по причинам, правда, непонятным, никто даже пальцем не тронул. С ними два пехотинца и один здоровенный дегина, судя по отливанию, артиллерист. Последний спросил:

— Вы кто, большевики?

— Да, — ответил Корчагин. — Посланы Лениным, Центральным Комитетом, ЦИКом. Приказ Ленина: задерживать эшелоны, создавать заслон — немцы перешли в наступление!

— Да ну, правда? — переспросил артиллерист, но, видно, уже ни в чем не сомневаясь, побежал к митингующим солдатам.

Не прошло и минуты, как снова раздался его голос. За всю свою жизнь я слышал трех, нет, четырех, обладающих голосом такой мощи: Свердлов, Маяковский, Шалагин и этот солдат-артиллерист.

— Товарищи! — рыкнул он так, что стекла зазвенели. — Что же мы делаем! Вчера немцы перешли в наступление.

Толпа загудела:

— Вранье. Не поспееет немец. На всякую беду страху не нападется.

Артиллерист продолжал, покрывая своим зычным голосом гул и крики толпы:

— Ленин прислал большевиков, чтобы они нам, дуракам, разъяснили, что происходит, как нам дальше быть: домой на печку к бабам разрезаться или революцию от беды, от гибели бороться. А мы их, как шпионов, до полусмерти избили.

— Туды твою в бога Христа мать! — гаркнул пожилой солдат. — Кто кричал, что они шпионы? Ну-ка, паря, выходи на круг.

В ответ молчание. Охотников признаваться что-то не нашлось.

Нас немедленно и даже как-то торжественно освободили. Уже без конвоя, скорее в сопровождении почетного караула из доброго десятка активистов мы снова попали на митинг.

Корчагин, выступая второй раз, ни словом не обмолвился об инциденте, чуть не стоившем ему и всей нашей группе жизни, рассказал о немецком наступлении. Напомнил:

— Перед лицом смертельной опасности нужны дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. На повестке дня теперь может стоять только один вопрос: как остановить армию кайзера, спасти революцию?

Не прошло и часа, как на перроне выстроился готовый к отправке на фронт сводный (из двух эшелонов) революционный отряд. Тут же избрали командира, а комиссаром — Корчагина. Под вечер отряд ушел в сторону Пскова.

Вместе с Корчагиным на фронт ехали наши товарищи — Волокушин и Белихин. Мне и Семенову Корчагин предложил немедленно возвратиться в Петроград, доложить обстановку.

20 февраля старшие групп собрались у Н. И. Подвойского. Тут я встретил своих старых друзей по прекодыбским и октябрьским боям. Помню С. Я. Адилуева — электрика, А. М. Любовича — солдата Кексгольмского полка, О. П. Дзениса — из Павловского, Я. М. Рудника — из Финляндского.

Никто никаких докладов не делал. Ограничились короткими сообщениями о том, что и на какой станции произошло. Подвойский ненадолго удалился, а возвратившись, сказал, что всех нас приглашает на беседу Владимир Ильич. В кабинете мы застали Свердлова, Дзержинского, заведующего нашими курсами Смирнова. Владимир Ильич показался мне крайне уставшим. Видно, сказывались бессонные ночи, огромное нервное напряжение. Каждый из нас, представляясь, называл станцию, на которую был командирован. Звучало это примерно так: «Васильев. Прибыл со станции Дно».

Николай Ильич Подвойский сделал краткий обзор положения на фронте. Остановился на том, сколько и на каких станциях задержано эшелонов с солдатами, где именно удалось сформировать революционные отряды. По памяти назвал командиров и комиссаров вновь созданных отрядов, среди них и нашего Корчагина. Владимир Ильич что-то записывал, по ходу докладов задавал уточняющие вопросы. В первую очередь его интересовало настроение солдат. Когда я сказал, что толпа на станции Дно, по всей вероятности, находилась под влиянием анархистов, он тут же возразил:

— А не преувеличиваете, товарищ Васильев, роль и влияние анархистов? Дело, думается, не в них, а в общем настроении уставших, да, да, смертельно уставших от войны солдат. Человек с ружьем в массе своей еще не разобрался до конца, что и как надо защищать. Неразбериху, сумятицу враги используют по-своему, — продолжал Ильич. — И не только анархисты, но и переодетые офицеры, агенты контрреволюции.

Спросил о численности отряда, сформированного на станции Дно. Я сказал:

— Что-то около девяносто штыков.

— Нельзя ли, — услышав я в ответ, — поточнее? Нам нужна абсолютная точная информация.

Владимир Ильич внимательно выслушал всех товарищей.

— Положение, — подвел он итоги краткому совещанию, — крайне опасное. — Задержать продвижение немецких частей, развить их передовые силы — в этом сейчас главная задача. Нам нужны командиры, отлично знающие военное дело. Этим придется за-

няться, и незамедлительно, товарищам Работенко, Хозенису, Васильеву. Отправляйтесь, — сказал нам в наступлении Владимир Ильич, — в надежные революционные полки: Волынский, Павловский, Измайловский, подберите среди унтер-офицеров, прапорщиков, пользующихся доверием солдат, будущих красных командиров. Передайте им от имени Советской власти: революция на них надеется, ждет.

НА X СЪЕЗДЕ

История еще одной фотографии

...**Н**а ступеньках и прямо на земле, что стоя, что сидя, в шинелях, полушубках, пальто, в буденовках и сибирских папахах расположилась группа людей. Те, кто на самом переднем плане, устроились полулежа, будто отдыхают после боя. В центре снимка — Ильич, в зимнем пальто с каракулевым шальевым воротником, в шапке-ушанке.

...В. И. Ленин среди делегатов X съезда партии — участников штурма Крошадата. Это фото, думается, многим из нас знакомо. Мне оно напоминает мою последнюю встречу с Владимиром Ильичем.

...Три года — с марта 1918 по март 1921 года я не видел Ленина. Сразу после окончания VII съезда партии ЦК и Советское правительство переехали в Москву. Я тогда остался в Петрограде. Получив новое назначение, занялся в конце марта, по личному поручению Н. И. Подвойского, формированием 2-го Петроградского отряда. Решением Петроградского комитета партии к нам были направлены 14 коммунистов, 100 членов социалистического Союза молодежи. Боевым ядром отряда стали рабочие Путиловского, Обуховского заводов, завода «Розенкранц» и 40 революционных матросов.

В начале июля 1918 года отряд в срочном порядке был переброшен на Восточный фронт, а 22 июля белочехи, перейдя в наступление, захватили Симбирск. Пала Казань. Мы с тяжелыми боими пробыли в Инзу, где находился штаб Тухачевского — командарма 1-й армии. По его распоряжению вышли в 24-ю дивизию под командованием Гая. Вскоре наш отряд переименовали во 2-й Петроградский полк, впоследствии 1-й Нарвский, которым я командовал почти до окончания гражданской войны.

В составе 24-й (Железной) дивизии наш полк участвовал в освобождении Симбирска.

«Дорогой Владимир Ильич, — говорилось в посланной Ильичу телеграмме. — Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара».

Далеко за Симбирском мы зачитывали перед строем ответ выздоравливающего Ильича бойцам и командирам 1-й армии: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы».

Радости, воодушевлению бойцов не было границ.

В конце февраля 1919 года прошли выборы на VIII съезд партии. Я был избран делегатом съезда, но поездку пришлось отменить: обстановка на фронте усложнилась. Колчак, поддержанный англичанами, японцами, перешел в наступление. И снова бои...

В мае 1920 года, в канун наступления белопольков, меня перевели на политическую работу. В начале 1921 года был назначен комиссаром 85-й бригады. Но сказались старые раны. В феврале 1921 года попал на лечение в Центральный Московский воен-



ный госпиталь. Вышел оттуда в марте, за три дня до начала X съезда партии.

8 марта, в день открытия съезда, я с гостевым билетом пришел в зал заседаний задолго до начала, надеясь встретить знакомых по Питеру, по Восточному фронту. Первый, кого я увидел, был Иван Колев. Мы хорошо знали друг друга по Омску и Новосибирску. Будущий маршал одию время командовал бронепоездом, затем был назначен комиссаром ЧОН — частей особого назначения — по Сибири. Колев мне обрадовался, сразу же заговорил о мятеже в Кронштадте.

— Дело нештуйное. Тянуть никак нельзя. Наш сибирский опыт тоже чего-нибудь да стоит. Надо подавить мятеж в зародыше, пока он только дымит и чадит, а разгорится — тушить будет труднее. Чует мое сердце, Васильи, быть нам с тобой в Питере.

Как в воду глядел.

Во время перерыва я встретил и некоторых других знакомых по Омску — командира 30-й дивизии Кожевникова, комдива нашей 29-й — Спильниченко, секретаря парткомиссии 29-й дивизии Володю Шовкунова. Не было лишь делегатов из Питера. Их приезде помешали события в Кронштадте. О мятеже много говорились в кулуарах съезда, в кремлевской столовой, где обедали делегаты и гости. Я с нетерпением ждал, что скажет о Кронштадте Владимир Ильич.

На первый взгляд могло показаться: Кронштадту в отчетном докладе уделено мало места. А. Коллонтай на второй день даже бросила реплику: «Доклад Ленина обошел Кронштадт».

— Но это было не так. «Я все подвел к урокам Кронштадта, все от начала до конца», — ответил на эту реплику Владимир Ильич в своем заключительном слове по отчету и был прав.

Просто Ленин, очевидно, не считал нужным останавливаться в отчетном докладе съезду на военных задачах в Кронштадте, выразив, однако, уверенность что мятеж будет подавлен не сегодня — завтра.

«Я не имею еще последних новостей из Кронштадта, но не сомневаюсь, что это восстание, быстро вышедшее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов, будет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайшие часы».

В незамедлительном разгроме мятежа он видел задачу, безусловно, важную, но частного, тактического характера. Зато уроки мятежа приобретали общепартийное, общегосударственное значение.

«...Нам, — говорил Владимир Ильич, — необходимо взвесить обстоятельно политические и экономические уроки этого события».

Политические и экономические уроки для будущего... Уроки, определяющие задачи партии и помогающие избежать трагических задач революции ошибок, локализовать последствия ошибок, уже допущенных.

Слушая Ильича, я невольно вспоминал драматические события последних месяцев в Сибири. В конце 20-го года вспыхнули кулацкие восстания на Алтае. Очаги контрреволюционного мятежа вскоре перекинулись в Барнаул. Восставшие отлично знали местность, умело скрывались от преследования в бескрайних сибирских лесах. Дрались весьма искусно, по всем правилам партизанской войны.

Увы, это отнюдь не было простой случайностью. По данным нашей разведки, что вскоре подтвердилось показаниями пленных, среди восставших оказалось немало бывших партизан Мамонтова.

Однофамилец белогвардейского генерала, наш, сибирский, красный Мамонтов командовал партизанской армией. Мамонтовцы в свое время изрядно потрепали колчаковские тылы. Сам Мамонтов, врож-

денный партизанский вожак, но человек малограмотный, в 20-м году командовал бригадой на польском фронте. И вот полная неожиданность: среди мятежников, в кулацких бандах недавние мамонтовцы, красные партизаны и даже красноармейцы, демобилизованные с польского фронта.

Вспомнил разговор в Калманке, большом сибирском селе, с таким вот бывшим красноармейцем, захваченным нами в плен.

Борода, как смоль, черная. Черты лица крупные. Глаза в отличие от других не опускал. От взгляда моего не отворачивался. Сам из местных казаков, хозяйство середнячок. В партизаны ушел добровольно. Был красным — стал «зеленым».

— Как же,— спрашиваю,— дошел до такой жизни?

— А вот так, гражданин-товарищ комиссар... С Колчаком нам с самого начала не по пути было. Колчак за царя. А нам царь — к Феньке. Колчак старое хотел вернуть, помещика, банкира. Скажи, мил человек, к чему мне, хлеборобу, эти кровопишцы? Колчак России продавал оптом и в розницу. Как же терпеть такое русскому человеку? Поэтому в партизаны пошел. И не жалел. И на польском фронте в кусты не прятался. Про то может тебе отвечать наш дорогой командир товарищ Мамонтов. ...Ну, побили мы панов, потом нам от них досталось. Приезжайко, значит, домой. И что я вижу? Хлеб коммунисты, продотрядчики забирают. Подчистую. Как была продразверстка, так и осталось. Спичек нет, соли нет, керосина нет. Ни ситца завалиющего, ни железа. Что же это,— думаю,— за власть такая? Рабоче-крестьянская, а все у мужика забирает. А тут разные людишки появились. Стали мутить воду супротив Советской власти. Ну и, был грех, попался на крючок. Сам напалуйт — черт попутал. Теперь понимаю, по глупости. И нет мне, бывшему красному партизану и боюцу, прощения. Но и ты, гражданин-товарищ комиссар, властям передай: мужику при продразверстке, как рыбе подо льдом при большой задухе. В самый раз лужку пробовать. Дай мужику глотнуть свободу. Хлеб бери, но в меру. А за хлеб и другой продукт дай, разный инвентарь. Обуй и одень. Мужик власть признает, восстановить не будет.

Владимир Ильич словно подслушал наш нелегкий разговор в Калманке. Крестьянство продразверстки недовольно. Дальше так существовать, тем более сотрудничать с Советской властью не хочет. Никаких обманов, пустых обещаний. Классы обмануть нельзя. «Все дело в том, чтобы дать крестьянам стимул, побудитель с точки зрения экономики. Нужно сказать мелкому хозяину: «Ты, хозяин, производи продукты, а государство берет минимальные налоги».

Ильич вновь и вновь возвращался к одной и той же мысли: из всех контрреволюций — мелкобуржуазная, анархическая наиболее опасна. Любые попытки «чуть изменить», «поправить Советскую власть» ведут к реставрации власти помещиков, капиталистов. Далеко вперед смотрел Ильич в те мартовские дни с трибуны X съезда. Знакомый, с картинкой голос звучал бодро, уверенно.

В который раз я видел и слышал Ленина в решающий момент, когда приходилось резко, на 180 градусов менять курс корабля, принимать решения, от которых зависела дальнейшая судьба революции.

...Апрельские тезисы. Брестский мир... Теперь предстояло опять совершить крутой поворот — вот он, урок Кронштадта! — от военного коммунизма, продразверстки — к продналогу, к новой экономической политике.

И, как уже случалось не раз, новый курс, предложенный Лениным, был настолько смел, настолько ло-

мал уже привычное представление, что вызвал и горячее одобрение и ожесточенные споры, недоумение одних, яростное сопротивление других.

...Прошло два дня. Я было уже окончательно решился, поборов робость, обязательно, как только кончится утреннее заседание, подойти к товарищу Ленину. Однако ночью в наш номер (меня пригласили к себе делегаты Сибири) неожиданно явился старейшина группы, рассказал о только что закончившейся беседе с Ильичем.

— Принято решение послать часть делегатов съезда в район Кронштадта, поднять боевой дух в полках, готовящихся штурмом брать крепость, сменить в них полки. Такую задачу поставил Ленин. Записываются добровольцы, в первую очередь армейские делегаты с военным опытом.

Все рвались в бой. Я все боялся, что не окажусь в списке из-за своего гостевого билета.

Но кандидатура моя ни у кого возражений не вызвала. Несколько часов спустя мы уже сидели в вагонах. К вечеру оказались в Ораниенбауме, где сосредоточивались штурмовые войска.

Началось распределение по частям. Прославленные командиры, комкоры шли в бой командирами полков и батальонов. Конев стал рядовым политбойцом. Меня назначили комиссаром («дублером» в 32-ю бригаду Рейснера свободной дивизии Дыбенко.

«Нас бросала молодость на кронштадтский лед»... Только теперь, через годы-десятилетия, с высоты прожитого осознаешь по-настоящему, что произошло. Старый солдат, участник трех войн, многих сражений, вновь и вновь вижу ночь штурма. Тысячи бойцов в белых маскахалтах движутся по льду залива. Ни хомика, ни окопа, ни кочки, за которыми можно было бы укрыться от огневого смерча, от холодных, слепящих лучей прожекторов. Только лед да лед, сверкающий, гладкий... Черные поляны от снарядов, присыпанные снежком тела павших красноармейцев.

Я видел, как Климент Ефремович Ворошилов, в полубубке, высокой папаше с красной звездочкой, бежал вперед неспеш. Рядом мелькнуло знакомое лицо Яна Фабрициуса. Ворошилов первым вступил на берег. Крикнул: «Сволочи! Преподели революцию! Как вам не стыдно! Сдавайтесь! Вперед, товарищи!»

Поредели наши ряды. Из Москвы нас выехало человек триста. Вернулось меньше. Среди раненых оказался и девятнадцатилетний Александр Фадеев, комиссар партизанской бригады, будущий автор «Разгрома», «Молодой гвардии». На кронштадтском льду осталась мой друг Коля Егоров.

Мятеж был подавлен в ночь на 18 марта. Съезд окончил свою работу двумя днями раньше.

И вот мы снова в Кремле, в знакомом зале Революционного трибунала. Большие духи часов беседовал с нами Владимир Ильич, информируя о том, что в наше отсутствие происходило на съезде. Потом, перечитывая материалы исторического съезда, определившего на долгие годы пути развития революции, нашего государства, я не раз восхищался умением Ильича немногими словами сказать о многом. Отпадала шелуха, обнажалось ядро, и каждому из нас как бы предоставлялась возможность пощупать истину, взвесить все «за» и «против».

Мы выслушали информацию с огромным вниманием. Тут нас ждал еще один сюрприз. Кто-то объявил: «У выхода из здания вас ждет фотограф».

Каждому, естественно, хотелось встать поближе к вождю. Я оказался почти в одном ряду с Ворошиловым, четвертым слева. А вот Яна Фабрициуса, храбрейшего среди храбрых, не повезло. Он так и остался в крайнем ряду, прижатый к стене.

...Удивительный снимок... Оригинал (здесь только его фрагмент) представляет большую композицию,

включаящую свыше ста тридцати человек. Подвиг каждого из них хватило бы не на одну книгу.

Вот Тевосян, Друг Серго, заместитель наркома, затем нарком, министр. Это под его руководством в годы Великой Отечественной войны, случилось, прямо с конвейера, из цеха уходили в бой «тридцатчетверки». Вот Постышев — впоследствии видный партийный и государственный деятель. Узнаю Невского, моего учителя и наставника по предоктябрьским дням. Прямо в объектив смотрит Иван Коенев — в течение ряда лет нас связывала крепкая дружба. Узнаю и Павла Дыбенко, боевого командира нашей сводной дивизии под Крошштадом. Не люди — кремень.

Стоят плечом к плечу, крепко сплотившись вокруг своего вождя, сибиряки, волжане, москвичи, татары, уральцы и кавказцы, люди из разных мест, разных национальностей. Стоят всем смертям назло... Живо, зримое олицетворение интернационального братства, товарищеского единства, взаимопонимания.

Теперь вспоминаю: уже вечерело, дождик мы собирались у здания ВЦИКа. Накрапывал дождик. Ждали фотографа — это, как я недавно узнал, был московский фотопортретер Л. Я. Леонидов.

Только диву даешься, как ему удалось — времени в обрез — до заката солнца расставить нас всех, сохраняя единство ансамбля и индивидуальность, своеобразие, живость и непринужденность отдельных групп. Десятки разнообразнейших вариантов уникальной по многофигурности композиции — все по-своему интересно, но центром, магнитом, объединяющим, сплачивающим этих людей, остается Ильич.

Только что отшумела гроза трудового, воистину исторического съезда, приняты решения, на долгие годы определяющие судьбы партии, государства. Преодолена реальная опасность раскола внутри партии, отвоено единство. Из тяжелых испытаний, суровых битв партия вышла еще более сплоченной. Дорогой ценой завоевана победа, и отблеск ее падает на лица людей, сплотившихся вокруг Ильича.

Посмотрите еще раз на снимок.

Рядом с Ильичем — молодой красноармеец в островеком буденовском шлеме. Два ордена Красного Знамени прицеплены прямо поверх шинели. Рука на перевязи. Голова и шея забинтованы. А глаза и все лицо юноши так и светятся улыбкой, гордой радостью: рядом Ильич.

Фотопортрет Л. Я. Леонидов, которому так повезло в этот день, вспоминает: через шесть минут (последнего звонка: «Приезжайте снимать») я был в Кремле, на лестнице здания ВЦИКа. Вижу: среди людей в шинелях стоит Владимир Ильич и ласково заглядывает в лицо какому-то молодому бойцу, сплошь перевязанному бинтами.

Мне лично хорошо известен юный герой, замеченный Лениным среди других участников подавления крошштадтского мятежа. На снимке он радовой красноармеец. Три года спустя мы встретились с ним в одной из аудиторий Академии Генштаба РККА (впоследствии Академии имени Фрунзе).

Рафаил Павлович Хмельницкий — а это был он — стал по рекомендации К. Е. Ворошилова слушателем академии за год до моего приезда в Москву и считался уже старожилком. Он помог мне осознать на новом месте, устроить неотложные личные дела.

Мы довольно часто встречались с 1924 по 1927 год. Встречались и по партийным делам, в парткоме, на собраниях, конференциях. На втором году учебы я был избран секретарем объединенного парткома четырех академий (Академии имени Фрунзе, Высших академических курсов, Хозяйственной Академии имени Плеханова и Восточного факультета).

Вспоминали мы не раз крошштадтский лед, мартовский день в Кремле, фотографирование.

— Я, — рассказывал Хмельницкий, — стоял с краю собиравшейся группы. Хотелось встать поближе к Ленину, но разве пробьешься с подвизанной рукой? Свежие бинты, очевидно, бросились в глаза Владимиру Ильичу. Спросил у Климента Ефремовича: «Кто это стоит раненый?» «Мой секретарь, Хмельницкий», — ответил Ворошилов. Владимир Ильич подошел ко мне. Бережно, чтобы не потревожить руку, обнял за правое плечо, поинтересовался, сколько мне лет, когда вступил в партию, где воевал. Где и при каких обстоятельствах ранило. Спросил: страшно ли было наступать. По-настоящему, говорю, Владимир Ильич, страшно было перед началом движения по льду Маркизовой лужи. Вряд ли кто наступал в таких условиях, когда перед тобой гладкое ледяное поле, где ни зарыться, ни залечь. Сказал, что все мы понимали: обратного пути нет. Мы думали только о победе. Ильич улыбнулся: «Правильно думали». И, праваясь на прежнее место, пригласил встать рядом.

Самой дорогой наградой запомнилась моему боевому другу ленинская доброта, внимание.

Много лет спустя — кажется, в 1952 году, — мы снова встретились в Москве, в фойе Большого театра. И снова было что вспомнить двум боевым генералам, участникам крошштадтской эпопеи, Великой Отечественной войны. На фронте генерал-лейтенант Хмельницкий командовал дивизией, корпусом. Его имя неоднократно называлось в победных приказах Верховного Главнокомандующего. Внешне он заметно изменился. Раздалась в плечах, распался. Довидел ранения, болезни. Но заговорил, вспомянул — глаза старого друга вспыхнули молодым огнем, загорелись радостью, и он снова на мгновение стал тем, прежним юным красноармейцем, «счастливым комом Хмельницким» — таким, каким запечатлел его фотограф.

Два снимка передо мною, двумя датами отмечены: 4 апреля 1917, 22 марта 1921 года.

Между ними незабываемые весна и лето 17-го года, дни Октября, встречи и беседы с Лениным, его уроки, станция Дно, взятие Симбирска и Казани — бои, события, люди. А впереди годы, порой равные десятилетиям, и сорок лет в армейском строю. После академии — Среднеазиатский военный округ. Боевые операции против басмачей. С полком и приданными отрядами я принимал участие в ликвидации банд Ибрагим-бека, Курджуря, за что награжден орденом Красного Знамени Узбекской ССР.

Потом был Афганистан, где я на посту военного атташе сменил Виталия Примакова — легендарного командира Красного казачества. А в дни Великой Отечественной — бои под Корсунь-Шевченковским, Карпаты, освобождение Чехословакии.

Всюду, куда забрасывали меня судьба кадрового военного и долг коммуниста, я носил в сердце своем память о встречах с Ильичем. Так было в дни радости и в горькие, особо трудные для меня годы.

Ленин... Когда становилось совсем невмочь, одно это имя согрело, вновь и вновь будило надежду, веру в торжество истинного справедливого дела, в чистоту знамени революции.

И теперь, когда я смотрю на снимки, на знакомые лица, до мельчайших подробностей восстанавливаю далекие дни в Кремле. Вижу улыбку Ильича, слышу его голос.

Литературная запись Б. ХАНДРОСА

Кайсын Кулнев



«На Бичесынской стороне¹ темно,
В Баксане снег идет, не утихая,—
Поет мне женщина из Карачая
Ту песню, что я знал давным-давно.

«На Бичесынской стороне темно»,—
Поет красавица из Карачая,
В который раз все то напоминая,
Что пережить мне было суждено.

«Темно на Бичесынской стороне»,—
Поет красавица из Карачая,
Мои бывшие раны обнажая,
Забывать быстрое не давая мне.

Не эту ль песню слышал я тогда!
А нынче женщина из Карачая
Поет ее печально, возвращая
То, что ушло, казалось, навсегда.

От этих полупозабывших слов
Я вспоминаю степи и метели,
Мой скудный хлеб и мой холодный кров.
Огонь в печи, горящий еле-еле...

Пой, женщина, своди меня с ума,
Буди недоброе воспоминанья!
И пусть хоть в песне той пройдет зима,
И от охотников спасутся лани!

«На Бичесынской стороне темно» —
Пой мне, красавица из Карачая,
А то я стал черствее, забывшая
Все, что уже прошло давным-давно...



Если девушка, встретясь со мной,
Скажет: «Здравствуй!» и будет мне рада,
Мне удачи не надо иной,
Мне для счастья немного надо.

Если, встретив меня, человек
Просто скажет мне доброе слово,
Может статься, для счастья вовек
Ничего мне не надо иного.



Судьба, прошу, не пожалей добра,
Терпима будь, а значит, будь добра,
Храни ее и под своей рукою
Дай счастье ей, а значит, дай покоя
Той женщине, которую люблю.

Дай знать ей, где друзья, а где враги,
И от морщин ее убереги,
Не дай пресытиться любимым делом,
Не дай отяжелеть душой и телом
Той женщине, которую люблю.

Обереги от порчи, от изъяна
Рук красоту ее и легкость стана,
Обереги ее от всякой боли,
От старости храни как можно доле
Ту женщину, которую люблю.

Из всех щедрот, из всех невзгод земли
Добро прильзи, иное отдай,
Дай силы и возможность без предела
Жить по добру, благо делать дело
Той женщине, которую люблю.

Пусть будет наш остаток — путь недалёкий,
Не столько долгий, сколько беспечальный,
Ты сбереги тепло огня и крова,
Любовь мою до часа рокового
К той женщине, которую люблю.

Не приведи, судьба, на склоне дней
Ей пережить родных своих детей,
И если бед не избежать на свете,
Пошли их мне, не ей самой, не детям
Той женщины, которую люблю!..



И я, по молодости лет,
Когда-то песни пел беспечно,
Считал я, что счастье вечно,
А горя в мире вовсе нет.

На голубое глядя небо,
Из родников я воду пил
И, не вкусив сухого хлеба,
Я свежесть хлеба не ценил.

Вполне осознанно и мудро,
Сегодня так же, как тогда,
Я повторяю: «Здравствуй, утро!»,
И «Здравствуй, чистая вода!».

И «Здравствуй, небо, луг с травой!»,
И «Здравствуй, хлеб, что мы едим,
Хоть я и знаю: ты порою
Бываешь черствым и скучным!»

И мудрый, зная жизни цену,
Твержу я: «Здравствуй наперед,
Та молодость, что мне на смену
В своей неумудрости идет!»

Из песен слепого ашуга

1

Небо, звезды, человечьи лица —
Я, Сафи, не вижу ничего!
Но шуршанье платья твоего,
Словно шум крыла взлетевшей птицы,

¹ Местность в Кабардино-Валкарнии.

Шали, что с твоих спадает плеч,
Я не вижу — тьма глаза мне застит,
Но когда твоя струится речь,
На свирели мне играет счастье.

Облик твой — пословица у нас.
Голос твой опять я слышу ныне,
Все я вижу. И хоть в этот час
Пусть не плачет мать моя о сыне!

Я и сам не плачу ни о чем,
Кажется, я вижу краски лета,
Различая в голосе твоём
Все оттенки радуги и света.

Склон покрыт зеленою травой,
Небо синее над землей родною,
Нету вечной тьмы передо мною
В миг, когда я слышу голос твой!

2

О, Сафи, я слышу голос твой,
Слышу звук шагов и шелест платья
И могу домыслить и понять я
Облик твой и взгляд твой дорогой.

Слышу голос я издавека,
А когда ко мне подходишь ближе,
Кажется, что и кушин я вижу
Тот, что ты несешь от родника.

Все промыслил, все вообразил,
Лучше мне, чем зрячему, известно:
Руки милой, месячные тесто,
Даже ангельских белее крыл.

Люди, если можно, будьте тише,
Дайте слышать и мечтать о ней!
В день, когда я милую не слышу,
Мой несветлый день еще темней.

В звуке голоса ее родного
Для меня вся жизнь заключена —
Звон реки и горская зурна,
Смех людей влюбленных, стон больного.

3

Песни я слалал земле своей,
Хоть и не видал ее, незрячий,
Но я слышал тихий шум дождей,
Слышал гул лавин и смех ребячий.

И к сплетенью слов моих и строк,
Люди, относились вы с участием,
И я счастлив был в своем несчастье,
Потому что делал то, что мог.

Делал я немного и немало,
Что, казалось, делать я умел,
И Сафи своей я песни пел,
Хоть она их, может, не слыхала.

Я пою, а может быть, я плачу,
И, вовек не видевший зари,
Я, певец незрячий, людям зрячим
Песню отдаю в поводири.

Я благодарю вас, аульчане,
Знайте, я старался каждый раз
Петь в ответ на ваше состраданье,
Будто я не слеп и вижу вас!..

Перевел с балкарского
Н. ГРЕБНЕВ.

Татьяна Бек



Настоящей жизни свет
Очень прост и даже скуден...
Вечно я рвалась из буден
В праздники, которых нет.

И презрительно звала
Лишь

черновиком, разбегом
Эту жизнь под серым снегом,
Эти серые дела.
А теперь смотрю назад
И от зависти бледнею.
Боже!

Неприметный сад,
Где белее среди ветвей,
Молодостью был моей,
Лучшею порой моею!



Беззащитность напоказ,
Боевитая ранимость, —
Презираю вашу мнимость
И хитро косящий глаз!
Тот уже, наверно, врет,
Кто,

восторги примечая,
Своего сиротства гнет
Расписал за чашкой чая.

Не назойлив, не расхож
Истинной печали трепет.
Все-то щелочки залепит.
В этот мрак не попадешь.



Средь ясного дачного дня
С большого хромого буфета

Радушно глядят на меня
Лицо полевого букета.

На кухне толкует родня
Про то, что я плохо одета...

О счастье погладить коня! —
Последнее детское лето.



Геннадий
МАШКИН

«ИНСПЕКТИ- РУЮЩЕЕ ЛИЦО»

РАССКАЗ

Пад полями ползут брехватые тучи, угрожая новым дождем. А он совсем ни к чему, осенний, занудный дождь. Поливал тайгу всю субботу и воскресенье. Охотникам охоту испортил проклятый дождь. Приходится возвращаться с пустыми рюкзаками, если не считать остатков провизии.

«Газик»-вездеход уже выезжал из тайги, а охотникам не попался и дикий голубь, хоть просматривали через стекла каждую ветку на проплывающих мимо деревьях.

— Пустой номер — увидеть что, — проговорил Никандр Семенович Грицов, провожая взглядом кривую сосенку таежной окраины. — Будто чует дичь, что в машине инспектирующее лицо!

Инспектор главка геодезии и картографии Старых Иван Иванович заворочался на заднем сиденье, потянулся и сказал:

— А для меня, Никандр Семенович, даже лучше, что ничего не убили, зато надышался тайгой, нагляделся на здешнее осеннее убранство и вспомнил нашу молодость...

— Нет, для полного счастья не хватает нам пары рябчиков, — вздохнул Грицов, вперяя взгляд в лесостепное раздолье. — Может, рядом с полями убьем что, козу или гуся на худой конец. — И поставленным баритоном приказал шоферу: — Смотри в оба, Колян, мы с тобой не должны своего упустить, ни разу с нами такого не было, чтоб возвращались пустые, не так ли?

Коля лишь клянул носом в баранку, стряхнув капельки пота с верхней губы. Дорога раскисла до того, что «газик» мотало от кювета к кювету, и баранка в руках шофера, кажется, не крутилась, а плавала. У самого Коли на молодом лице то и дело появлялись углубины, напоминающие рытвины дороги. Парень переживал переезд каждой вымоины, и это радовало начальника. После очередного подскока Грицов косил на Старых прищуренный глаз: «Терпи, инспектор, что нам приходится всякий день выносить! И будь ты с нами своим парнем, а не «инспектирующим лицом»! Как-никак земляки, даже старые знакомые...»

Действительно, они были знакомы давно. Еще мальчишкой в голодное время войны пристроился Ника к партии топографов-геодезистов, которую возглавлял Старых. И так пристрастился парень к вольготному полевому житью-бытью, что забросил шко-

лу и пошел по изыскательской линии. Его подучили на зимних курсах, но съемкой молодой техники занимался недолго. Привлекла парня снабженческая сторона, и Ника стал завхозом. За умелое снабжение отряда продовольствием и транспортом его вскоре выдвинули заместителем начальника отряда по хозяйственно-материальной части.

Грицов не выдавал тайн снабжения никому, чем отличался от других замов. Восточносибирский отряд выделялся среди подразделений главка в трудные пятидесятые годы, и скоро Грицова сделали начальником. И теперь он принимал московского инспектора, как широкий хозяин. Правда, Старых никак не хотел вспоминать старой дружбы. Его не волновали ни ужины в отдельном кабинете ресторана, ни поездка в загородный профилакторий, ни даже именины у разведенки Сони Горизонтовой. Зато «инспектирующее лицо» ретиво находило непорядок в производственных работах, отсутствие точности в отчетах и безграмотность в простых описаниях. «Что может требовать с подчиненных начальник, который сам недоучился?» — спрашивал Старых, прищипывая языком, словно осуждал мальчишку-троечника.

Но в итоге инспектор смилостивился. А вину за припратанные на черный день объемы работ, штурмовщину и явную показуху как-то даже отнес на свой счет. «Аукнулись нам наши прошлые недостатки», — заявил он на разборе работы отряда. — Да кого здесь винить, не ясно! Поэтому придется деятельность отряда признать удовлетворительной...»

И как бы в знак хорошего отношения наемкнул Грицову насчет выезда в тайгу — поохотиться, что нашло, понятное дело, отклик у начальника отряда.

Но, как назло, затянул дождь, пришиб тайгу и загнал всю живность в чащобы. Сначала Грицов места не находил в избушке, все выскакивал за дверь да смотрел на тучи, царапающие верхушки сосен. Но постепенно успокоился. Завалил избушка даже по лицензии на глазах у этого интеллигента было рискованно: кровь могла смешаться Старых потом, в Москве, при окончательном подведении итогов проверки. Даже в голодные послевоенные годы этот оригинал разбирался, как убить зверя, и однажды отказался есть мясо стельной матки.

А сейчас Грицов думал, что все сложилось совсем неплохо. Пусть высокий гость отнесет пустой рейс на свой счет! Задумается, почему сковалась инициатива на охоте. Уяснит в конце концов свою замораживающую роль в любом деле. Может, тогда отдаст должное той разнородности людей, которые берут смекалкой, хваткой и проворством. Не одними грамотеями движется жизнь. Не менее ценны практики с самобытным даром жизнеустройств! И одному из них пришлось покрутиться когда-то в этих местах: попробуй накормить прорву народу, когда на базе лишь макароны да баклажанная икра. С транспортом еще хуже... А план — давай, давай, выкручивай! Вот и приходилось опираться на местное население... Сам начальник партии не знал, какой ценой давалось материальное обеспечение Нике Грицову. И теперь нет, чтобы помануть добрым словом те операции, набрызжал и оценил ниже среднего трехходовую работу отряда! Этак Грицова забудут в главке, а он совсем не собирается хоронить себя в областном городе. До каких пор жена и дочь будут летать в столицу за всем, начиная от губной помады, кончая премьерой на Таганке?

«Так соображай, товарищ Старых», — мысленно призывал Грицова гостю, — какой оценки заслуживает твое собственное поведение, если ты не помнишь добра и мешаешь людям жить?»

И Грицов задумался над тем, как бы надавить на совесть инспектора, чтобы тот раскаялся и в окончательном докладе повысил оценку работы Восточносибирского отряда. «Разве что завести гостя в деревню», — решил Грицов, — пусть вспомнит, как сам-то выбился в люди!»

— Не замерзает, Иван Иванович? — обернулся к гостю Грицов. — На нашем-то ненастье?

— Никак нет, — отозвался Старых, — греют воспоминания...

И добавил далеко не инспекторскую улыбку — на щеках появились детские вмятинки, губы блаженно расплылись, а сквозь белесые ресницы ударила родниковая синь. Инспектору было по-настоящему тепло в этот осенний денек, хоть печка «газика» из-за поломки не включилась. Старых вспоминал давние маршруты, проделанные здесь теодолитные ходы и самые характерные отметки превышений. Он видел себя над стареньким капризным инструментом, который давал разноречивые в отчетах от самых ничтожных причин. Но тогда были чутки пальцы, крепки нервы и велика страсть показать миру свое произведение. Выставить на всеобщее обозрение планшет, в котором останутся эти размашистые долины, раскаленные холмы с жесткой травой и норками сусликов, лесные островки и прохладные ручьи с хариусом в уловах. И, чтобы работа шла в темпе, приходилось днем защищать теодолит от печущего солнца, подставляя спину в застиранной рубашке, а ночью закутывать инструмент, будто ребенка, от сырости и холода. Такое отношение к работе передалось ему от отца, изыскателя старой закалки. Иван знал, что работа должна быть проделана на высоком уровне, какие бы неудачи ни преследовали картографа. Карта изображает лик земли, а читающему она много расскажет и о народе, который преобразует этот угол земного шара.

И здесь каждая неточность, капля пота или крови вырастают в масштаб.

Но, с другой стороны, есть у съемщика много незаметных помощников. Руки рабочих-реечников, обугленные на солнце, крепкий чай, заваренный спозаранку таборщицей, взгляд молодой практикантки из-под белой косынки, который с каждым днем все значительней, ближе и влюбленней...

Теперь Маша любит вспоминать у камня костры их молодости, когда они советовали на то, что нельзя перенести на керту все красоты здешних мест — эти вот сникшие над водой кусты, россыпи тускло мерцающих валунов и дрожание в улове звезды. Тогда им хотелось, чтобы под картой стояли фамилии всех, кто принимал участие в съемке, от начальника до конюха Африкана Доржикова. Все работали от зари до зари, не требуя сверхурочных — фонд зарплаты не позволял переплачивать. А снабженец Нике Грицов прямо творил чудеса, доставляя свежую баранину, говядину, молоко, сливки, даже мед, и котел обходился на круг недорого.

Несколько раз начальник интересовался, как удается в трудное это время сговориться со здешними колхозниками насчет продуктов. Но Грицов таинственно прищурив свои сомоляные глаза с клейким взглядом и отвечал шепотом: «Секрет производства!» Правда, в конце сезона в табор приезжали жители ближних деревень, что-то требовали от завхоза, но то успокаивал их и выпроваживал.

Лишь одна бурятка с трубой в зубах проворлась как-то к начальнику и стала страстно объяснять, что ее дочь хочет стать таким же инженером: «Схажи, начальник Иван Иванович, правильно говорит завхоз, поступит моя дочка в институт, да, то ли врет?»

«Если хорошо учиться, то поступит, — ответил Старых. — В наш институт небольшой конкурс».

«А я тебе что говорил, Дулма! — стал оттирать ее подопсевший Гривцов. — Чего суетишься, мешаешь начальнику делать важные дела? Сказано — поступит, значит, пусть собирает чемоданы!»

«Хорошо, товарищ запкоз, хорошо, спасибо, — кланялась Дулма, дыма на ходу трубой под цвет своего бурого лица. — Приезжайте улус, тарасун подходит, праздник будем справлять...»

«Вот это разговор, Дулма Бадмаевна. — Гривцов мигнул начальнику, подхватил под руку гостью и повел ее к низкому коню, на котором прискакала женщина. — У нас как раз скоро окончание сезона, тарасунчик будет очень джеко ко времени, а возьмем мы его прямо сюда, Дулма, и к нему баранчика не худо зарезать, совсем не худо... Помни про конуры!»

«Сарежем, Никандр Семеныч, сарежем, хорошим людям не жалко...»

Старых шумно задвигался на сиденье, стараясь разглядеть через мокрое стекло место табора у реки Туды. Поляна давно заросла тальником. Но память живуча. Иван Старых сохранил неизбывную благодарность ко всем, кто помогал ему в то лето на съемке. Без них он не получил бы высшего балла за свою работу и не пошел бы вверх по восходящей линии, до самого главка.

И сейчас эти люди на глазах доказывали ему свое усердие и расположение. Даже жаль, что пришлось сделать много замечаний по работе отряда. Но пусть они поймут, что нельзя держаться за прошлые успехи и особенно за ту цену, которой они достались. Необходимо вывести работу на современный уровень. Сколько еще применяться к обстоятельствам, ловчить и варить щи из топора! В смысле снабжения и сейчас нет изобилия, но если сумеет доказать необходимость того или иного для высококачественной работы, то добьется многого. И будешь давать планшеты точные, элегантные, красноречивые. Можно, конечно, еще долго ездить на людских хребтах, но чем это кончится? Людскую благодарность следует оправдывать и отдаривать. «На прощание надо будет еще раз напомнить об этом Гривцову, — подумал Старых, следя краем глаза, как напряженно борется шофер с баранкой. — Будто специально напоминает эта дорога наши послевоенные нечеловеческие усилия!»

— Через речку жми на всю, Колян! — раздалась команда Гривцова. — Одним духом перескочи брод! — Разлился успела речуха, — плачущим голосом откликнулся парень.

— Ты на воду не смотри, — посоветовал Гривцов, — пляй глаза на тот берег, тогда все в порядке будет, птицей выскочи!»

В пятицу переехали Туду, едва смочив колеса. А сейчас увидели под глинистым обрывом пенный поток. Дождь сделал свое дело, и охотники могли запросто оказаться в роли робинзонов.

— Давай, Колян, выжимай! — приказал еще раз Гривцов, открывая на всякий случай дверцу. — На тебя сейчас все надежды начальства.

Коля кивнул, у него раздалась чельсть от желваков и побелели костяшки пальцев на баранке. «Газик» медленно скатился в речку. Зашелестела под колесами вода, запенилась на капоте и хлестнула в кабину.

— Застрянем — будут нам гуся-лебеди, — выдавил Коля. — Эх-ма, ради чего терпим?

— Безвыходных положений не бывает, Колян, по своему опыту сужу! Слава богу, двадцать лет на

производстве! И на охоте не в первый раз! Речки форсировать приходилось и не такие!

Голос Гривцова креп по мере того, как «газик» приближался к противоположному берегу.

— Речку-то, может, и возьмем, Никандр Семенович, — крутнулся Коля, — а дальше смотрите что!..

Прямо по курсу тянулся вазоз с оползшей глиной. Машина выскочила на этот вазоз с отчаянным гудом. Но далеко пройти не удалось. Колеса врезались в мягкую глину и закрутились на месте. Коля попытался сдать назад. Но глина держала цепко.

— Все, — понуро сообщил Коля, — толкать надо. — И не такое толкали!

Звякнули дверцы, и охотники прыгнули в грязь.

Поежились, попереминались и взялись за машину. Коля дал газу, машина застреляла синими дымами, но колеса вертели на одном месте.

— Дружно взяли! — скомандовал Гривцов.

И они со Старых навалились на «газик», пытая, натукась, кривясь.

— Крепче взяли!

Колеса на глазах уходили в бурую жижу. Ни вперед, ни назад не подавался «газик». Поленая одежда и лица охотников покрывались грязью.

— Эх, еще взяли!

Но Старых вдруг овалился, приложив руку к левой стороне груди.

— Отдохнуть надо, Никандр, а то останусь здесь навеки и не сдам отчета.

— Наверное, нам хуже не будет, — подкинул Гривцов.

— Пришлют другого!

Но Гривцов не воспользовался моментом, чтобы полусушить привязаться к последним словам инспектора и наметнуть, что совсем незнакомый ревизор был бы для них лучше — иллюзий хоть никаких не появилось бы. Начальник отряда зашлянул гул трактора и решил начать более веское наступление на «инспектирующее лицо». Приказал шоферу заглушить мотор и с улыбкой поднял палец:

— Наш спаситель!

Присмотревшись, охотники увидели на дальнем склоне, где начинались поля, среди сырдушек соломой трактор. За трактором тянулась ленточка вспаханной земли.

— Пашет сердечный, — ахнул Коля. — Стосильный!

— И вроде не видит, что мы тут завязали по уши! — заворчал Гривцов. — Вот народец!

— На бутылку ему — и дело с концом! — воскликнул Коля.

— Давай, Коля, дуй к трактору, зови на калым, — кивнул начальник своему шоферу.

Коля послушно вылез и зашагал, чавкая грязью. — А мы попробуем все-таки сэкономить свой «нз» и вывелись сами! — заявил Гривцов и предложил спутнику откопать колеса и подложить под них хворосту.

Снова закипела работа вокруг «газика». Пытались высвободить колеса из месива, создать твердую основу при помощи сучьев и раскатать машину. За руль сел сам Гривцов, но, сколько ни обдала синим дымом вазоз, «газик» оставался на месте.

Начальник знал, что машина села намертво. Но ему хотелось помытарить спутника, выжать из него все силы, а с ними и горор. И Гривцов с удовольствием косился на зеркальце, в котором был виден заляпанный грязью, натуженный и беспомощный высокий гость. Гривцов специально выкидал, когда Старых становился прямо за колесом, и давал газ. Ошметки грязи летели на инспектора, и плащ зашукатуривался на глазах.

— Будешь, как все, Иван Иванович. Как все, как все! — цедил Гривцов, вышибая из «газика» дух.

Это тебе не контроль разводить! Потолкай нашу лайбу, покоряйся!

Но Старых схватился за левый бок и откатнулся от «газика». И Гривцов заглушил мотор. В зеркальце он увидел свое лицо и сам сторопел — насколько оно выражало довольство: широко разлетелись хвостатые брови, в глазах стальной блеск, скулы алеют, а подбородок подрагивает, точно от сдержанного смеха. Гривцов сообразил, что такое лицо может выдать с нутром, и быстро наморщился, нахмурился, состарил свою внешность.

Тут как раз над горником взвоя показавшаяся точечная фигура Коли. Лицо шофера имело ржавый цвет дорожного суглинка.

— Не соглашается тракторист, как ни просил. Говорит, сам угостит самогонкой, только не мешайте ему выполнять задание...

— Да что он, не наш человек? — загорячился Гривцов. — Не понимает, что мы в беде!

— Ему трактор гнать — не ближний свет, — уныло продолжал Коля. — А самое главное, они городских здесь почему-то не любят.

— Это почему же? — вскинулся Старых. — Чем ему досадили городские?

— А шут его знает, — отмахнулся Коля, — не любят, и все, видно, по инерции...

— Да какая же здесь может быть вредная инерция? — забормотал Старых. — Мы в свое время трудились и чувствовали кругом совсем неплохое отношение к нам...

— Все умные-грамотные стали, мать их перепали, — бросил Гривцов куда-то вдаль и с устыжающим напором в голос обратился к шоферу: — Сейчас же иди к нему, Колан, еще раз и объясни, что с ним хочет познакомиться сам Иван Иванович Старых, он из Москвы, из главка, он карту этого края составил!

— Может, просто повежливей попросить! — заикнулся Старых.

— Нужно надавить на совесть этого солжарончика! — оборвал гостя Гривцов. — Пусть благодарность поймет, сознательность проявит и понимание! А то можно ведь и здесь ревизию нравов навести, не так ли, Иван Иванович?

Но Старых лишь махнул рукой: какая там ревизия, какие сейчас из них ревизоры, охотничья шаптра!

— Эк-ма!.. — Коля зарозовел, по-солдатски крутнулся на каблуках и снова зачавкал грязью.

— А мы будем готовиться к встрече гоша, — объявил Гривцов, и его серые глаза делово округлились. — Вынимайте запасы, Иван Иванович, растащите на травке скатерть-самобранку и усаживайтесь повеселее, будто мы уже сами вытаскивали нашу тележку!..

Он выбросил из машины на траву рюкзаки и стал наблюдать, как неловко топчется по склону московский гость, выбирая место посуше, поровнее, неуверенно достает из рюкзаков пленку, котелки, банки, свертки, буханку хлеба и бутылку водки. Бразды правления были уже в руках Гривцова, и он рассчитывал нанести решающий удар по инженерной гордыне инспектора. Необходимо было показать гостю, как нужно пользоваться моментом, какой для этого требуется дар, сколько надо потратить сметки в короткий срок и как непорочно стало запудривать мозги даже деревенским обалдуям, не говоря про инспекторов с высокими материалами в голове!

А «инспектирующее лицо» уже прибоищался, вспоминая давно забытые навыки и разводил костер. Мокрые сучья не хотели разгораться, но береста настойчиво потрескивала под ними, и в конце концов костер разошелся вовсю. Старых стал ста-

рательно сколупывать со своей щетины кусочки подсыхающей глины, будто готовился к встрече на высоком уровне: интеллигентские привычки брали свое.

В это время на излучине дороги показался Коля, и не один. Рядом с Колей по-журавлиному вышагивал замызганный человек.

— К нашему шалашу! — замахал Гривцов по-простецки.

— Милости просим! — добавил Старых с легким поклоном.

Тракторист, человек лет тридцати, с широким чалым лицом, шелухившимся от загара, сбавил шаг.

— Кто здесь экспедиционник наибольший будет? — спросил он силно не то Коло, не то остальных. — Иван Иванович?

— А угадай, парень! — вовсю улыбнулся Гривцов. Тракторист подошел ближе, обдал пассажиров «газика» запахом солжарки и просипел:

— Вы, однако, и есть...

— Не угадаю, паря! — метнул значительный взгляд на соседа Гривцов. — Глаз у тебя, скажу, не ватерпас...

— Вас рази поймешь, — шмыгнул носом тракторист, — начальство не начальство, не то что в деревне...

— Ну, а с начальством что, нельзя по-человечески пообщаться? — спросил Гривцов. — Кусаемся, что ли?

— Не совсем уж так... по мне, человек бы хороший, и уважительность всегда можно к человеку: городской ли, деревенский, начальник или работяга...

— Ну, и в самый раз, — Гривцов полуобнял тракториста и подтолкнул его к прозрачной скатерти. — Как звать тебя, паря?

— Гошкой кличут. — Тракторист покосился на бутылку.

— А мы, Гоша, решили с нашим московским товарищем попить чайку, пока дорога подсыхает, — объяснил Гривцов. — Вспомнить задумали наши маршруты молодости. А ты пашешь как раз по нашей карте, так почему бы не выпить и водочки за такое дело сообща?

— У нас — не у вас, — потупился Гоша, — когда страда, от зари до зари вкалываем и перекурить некогда, разве что поломка случится...

— Ну, сейчас не страда все-таки, Гоша.

— Зябь тоже страда... Особенно если учесть, какая техника к осени остается... Да запачки как добивать приходится нам!

— Мы понимаем, Гоша. — Гривцов гибко гнул морщинки возле глаза и на лбу. — Давай выпьем за твою зябь и вообще за встречу на этой близкой и нашему сердцу земле!

Тракторист пытался отказаться, лепеча насчет срочности работы, но со стороны охотников последовал такой напор, что через две минуты в руках у Гоши была кружка. Гривцов ловко разлил водку: держал одинаково горлышко над кружками, но гостю налили больше. А с другой стороны Гоше протягивали бутылку с любительской колбаской, ломтик лимона и кусочек пахучего балыка нототении. Как отказывался от такого угощения?

И Гоша выпил вместе со всеми, высоко взметнув кружку, чтоб чего не осталось на дне. Сгряз половину закуски большими желтыми зубами, а остаток бутерброда внимательно осмотрел.

— Да, снабжение у вас не то, что в нашем совхозе.

— Так у вас все свое, — вступился Гривцов, — кот держите, свиней, кур, индюшек?

— А-а, — отмахнулся ручищей Гоша, — с кормом

совсем плохо, покосов нет — совхоз перепахал всю целину, а за жизнью уход нужен. А где нам с женой управиться, когда детишек четверо, и мать мою старуху ревматизма скрутила в прошлом году.

— Везде свои проблемы, — вздохнул Гривцов и повел взглядом по глубоким врезам, оставленным колесами «газика».

— Да у вас они куда спокойнее, проблемы эти! — загорячился Гоша. — Вы отработали на производстве от гудка до гудка и пошли по своим делам, по магазинам или в кино с супругишкой.

— Сейчас телевизор все больше, — вставил Гривцов и насторожился, будто учуял дичь в ближних кустах.

— И телевизор на дому, и вода тебе холодная да горячая, и туалет — не обморозиться, — напирал Гоша, яростно света белками глаз. — А у нас пластаешься-горбатиться с этим трактором, чтоб завтра было работать на чем, ухайдкаешься, как черт, приходишь домой по темени, а тут — и воды на-таскай, и дров накопи, и поросенку вынеси, и в стойке почисти. А жена, как заводная, с ребятишками да на стол варганит... Эх, давайте-ка поменьше нашего горького отведаете!

И Гоша достал из-за отворота замасленной телегрии плоскую фляжку. Под одобительно-восхищенный рокот новых знакомых трактористов вылил всем по доброй дозе, и к запаху дыма, осенней вялой травы, колпачностей, соларики прибавился резкий душок самогона.

- Будем здоровы! — провозгласил тост Гоша.
- За тебя, Георгий!
- За здоровье твоё!
- За семейство!
- Здоровье жены!
- Детей..

Гоша оставил вдруг кружку, голубенькие глаза начали наливаться слезой.

— Жена-то у меня, в самом деле, того... в расстройстве... Не довезла до роддома пятого... На сносях была... Такая же вот дорога, а фельдшерница: рано везти да рано — койку в больнице зря пролеживать... Ну, и растясло Нинку мою в дороге... Принять не смогли в машине по уму... Не охил парнишка...

Охотники припустили кружки и потупились. Тоски тракториста они не понимали, искренне удивились, что при четырех ребятишках да неустроенной жизни Гоша с женой хотели еще и пятого.

— Не горой, Гоша, — встрянул Гривцов, — при желании будет еще не один!

— Дело наживное! — подмигнул Коля.

— Сейчас к демографии пристальное внимание, — добавил Старых. — И надежда вся на село...

— Соседа не надо еще просить, а, Гоша? — развеселился Коля.

— Не-е... В этом деле не надо просить никого. — Гоша закрутил головой — мотнулось ухо шапки с потертыми краями. — А вот кое в чем другим хочу испробить у вас помощи, товарищи экспедиционники... Ну, сначала выпьем за знакомство!

И на первый опрокинул кружку в широко раскрытый рот. И не заметил, что Гривцов выплеснул самогона на траву. Увидел только, как все потянулось к закуске.

— Мне Коляша-то по дороге много чего про вас рассказывал, — продолжал Гоша. — И главное, что с вами можно договоренность иметь, потому как к нашим местам тяготеете...

— Ты не думай, Гоша, что нам позарез надо выкарапываться из грязи, — заметил Гривцов, чиркнув себя по горлу ребром ладони. — Пусть стоит маши-

на, мы охотиться приехали да с души кое-какой пластик подынять... Так сказать, высвободить груз воспоминаний.

— Да я уж вижу, Никандр Семеныч, занятные вы люди, — заверил Гоша и рванул борта телегрии. — А можно к вам со всей душой? Поймите правильно и мою просьбу, а я уж отплатю!..

— Давай сюда свою просьбу, паря, — объявил Гривцов, сдвигая брови, — чем сможем помочь — запросто сделаем, и отплати никакой нам не надо.

— Нет, я могу ко хоще достать в деревне, не говоря уж выдернуть заш «бобик» из грязи.

— Не надо нам, Гоша, уверяю тебя... Ты хороший парень, и нам достаточно этого, скажи, Иван Иванович!

— Действительно, тут не люди — золото! — с жаром откликнулся Старых. — По прежним временам сужу!

— Нет, вы не знаете нашего Ковтуна! — возразил Гоша. — За малейшее — разнос, как в армии. Но я пойду на нарушение, брошу пахоту, если просьбу мою уважите!

— Если она в наших силах, разумеется, — пожал плечами Гривцов, незаметно подмигивая своим спутникам, чтоб не вмешивались.

Но Коля и Старых и так понимали, что узелок завязывается крепко и, может статься, машину больше не придется толкать. Не будет же тракторист просить луну с неба — не тот уровень и фантазии не хватит.

И в самом деле, Гоша забормотал снова насчет тягот деревенской жизни. Здесь, в тайге, все вроде под боком, а не помнишь, когда и за грибами ходил — некогда. А ребятишек хочется в люди вывести — в школе же учителя по иностранному языку нет до сих пор, не говоря уж, что негде выучить ребенка игре на том же баяне. Старуху-мать лечить всерьез надо, а какие врачи в сельской больнице? Ковтун то и знает, что горло свое драсть по любому пустяку, помощи ж никакой!

— Как мы тебя поняли, Гоша, — ласково забасил Гривцов, — ты мечтаешь перебраться в город?

— Во-во, самое то! — засиял Гоша. — Устроиться бы к вам в экспедицию и поменьше семью в город перевезти!

Гривцов деловито нахмурился, покусал губу, как делал на серьезных совещаниях, и ответил:

— Квартиру придется с полгодика подождать, Гоша. Ну, а рабочие руки, сам понимаешь, нужны нам всегда, в том числе трактористы-бульдозеристы, верно я говорю, товарищи?

Однако товарищи смотрели на Гривцова, открыты. То, что в отряде текучка и рабочие нужны, — это был общеизвестный факт. Но положение и объяснялось как раз жилищной нехваткой. Ведущие специалисты жили стесненно. А такого, чтобы через полгода новому человеку, работяге, — квартиру! — просто быть не могло. Люди стоят в очереди годами, а квартир горосвет дает мизер — производство не такое, чтоб в нем шибко нуждались. Но вообще-то хозяин — барин. Раз обещает, значит, имеет какое-то соображение на этот счет. И следует поддержать Никандра Семеновича ради всего доброго.

— Найти выход можно, — протянул Коля, — среди людей-то...

— Вреня теперь не то, что было, — подбавил Старых. — Возможностей куда больше.

А Гривцов, задумчиво почесывая подбородок о воротник своей куртки из чертовой кожи, внимательно слушал тракториста, который радостно лепетал,



что мастер на все руки, обучился возле трактора и слесарить и токарить.

— А посмотреть бы тебя в деле не помешало,— сказал Гривцов, насулившись,— выдернуть наш «газик», например. Смотри—по самые оси засел, бедолажный.

— Смогу!—отчаянно мотнул головой Гоша.—А уж когда устроите меня, на охоту испытать, Никандр Семеныч. С пустыми руками возвращаться не будем. Знаю тут, в каком острове зайцы, где лисьи норы, где козы водятся... Полгода можно подождать, чего там. Поживу в общежитии, шесть месяцев не беда без семьи, если больше, тогда хуже. А полгода вытерпеть можно и без семьи...

— Наши полевики по семь-восемь месяцев в тайге—и как стучки!—стукнул себя в грудь Гривцов.—Потому мы не боимся в грязи посидеть, Гоша, вроде как испытание самим себе!

— Да что вы, зачем, товарищи!—Гоша вскопился с рессорной упругостью.—Я по-быстрому! Теперь что же... Считай, ваш я работник наполовину. Уж как-нибудь отчитаюсь перед Ковтуном. Мало я им перерабатывал?—Гоша стукнул себя кулаком в грудь.—Могу, а?

— Можешь, Гоша!—благословляюще мотнул подбородком Гривцов.—Покажи нам, на что способен как работник.

Гоша по-смешному отдал честь, нелепо развернулся и молодеческим шагом двинулся к полю. От его огромных кирзовых сапог летели ошметки грязи.

— А мы будем собираться,—подмигнул Гривцов своим.

— Чего теперь торопиться, Никандр Семеныч?—потянулся Старых.—Даже подольше захотелось побыть тут... С таким парнем... Чего-нибудь, глядишь, и добудем еще...

— Ничего малый,—подхватил Коля.—Такой будет, как вол, работать у нас. Быстро выбежит в передовики.

— Надо было бы насчет гусей спросить его,—хлопнул по траве Старых, поддвываясь под охотника-отчуждого.—С трактора видел, наверно, стая тут где-нибудь...

Но у Гривцова были свои соображения. Начальник крутил головой, и его волосы из-под обода кепки цеплялись за ворот с проволочным шорхом.

— Знаете, мы идем на крупного зверя.

Сказал и задумался. Вспомнил, что первый произнес на его веку эти многочисленные слова. То был как раз Иван Иванович Старых! Он подошел тогда, а сорок пятом, к толпе парней из рабочего предместья и предложил: «Кто смелый мерную рейку носить? Зачислю в партию».

Парни напустили козырьки на глаза: «Мерную? Это же надо в арифметике как петрить, если еще не вышел! Предметье голодало, школу бросили рано, а к рейке подход, видно, нужен особый».

Пока парни соображали да перешептывались, Ника выскочил вперед: «Согласен! А как насчет подохнуться там, начальник! На коз я охочу!»

Инженер засмеялся—драгоценно залучилась молоточки на его старинной фуражке с бархатным окошечком.

«Не прогадаешь, козь такой шустрый! Только пойдем мы на крупного зверя, парень, не до мелочи будет»...

Гривцов вывел осторожный взгляд на Старых—не заподозрил ли гость подвоха? Но повеселевший инспектор мечтательно вглядывался в небо, которое покрывалось голубыми промолками. Старых заметил, конечно, свое выражение в речи Гривцова, но понял его в буквальном смысле. Погода улучшалась,

и можно было действительно поохотиться. Инспектор готов был поддержать и столь милую сердцу Гривцова охоту на коз. Много ли они подстрелят, если даже и выгонят коз из какого-нибудь перелеска!

И Старых подчинился охотничьему приказу, собрал остатки провизии в рюкзаки и понес к «газику», прислушиваясь к звукам тракторного двигателя. Гоша не обманул: постукивания дизеля перешли в рычание, и трактор боком пополз по уклону к реке.

— Бежит дорогуша...

— Прямо танк!

— Водитель что надо.

— Да, Никандр Семеныч, умеешь ты с людьми работать, магия какая-то!

— Потом поговорим, Иван Иванович, про наши секреты, а пока давайте встречать трактор.

И охотники закарбакались на взвоз встречать трактор.

«ДТ» боком подкатил к обрыву, рыча, развернулся, и под него охотникам стальной змеей пополз канат. Оставалось накинуть удобную петлю на бампер «газика» и махнуть рукой трактористу: «Давай, Гоша!»

Гоша задвигался в своей кабине, трактор сильно фыркнул и заклацал гусеницами. Под обрыв полетели лепешки грязи, но их никто уже не боялся. Главное, «газик» потащило вверх, будто легкую тележку.

Вот машина перевалила кромку взвоза, Коля включил первую скорость, и канат провис.

— Залезай в машину, Иван Иванович!—закричал вдруг Гривцов, сбрасывая петлю с крючка.—Утяжели надо «газ» для маневра!

Старых с удовольствием полез на свое насиженное место: бежать по осеннему месиву и сто метров—неприятная работа. Лучше проехать вязкий участок со скоростью трактора. Гривцов заскочил вслед за гостем на переднее сиденье.

— Гони, Коля!

Шофер включил на полную, и машина легко пошла по твердеющей дороге. Тракторист не видел, что вездеход стал самостоятельным. Гоша ворочал рычагами, не оборачиваясь, будто решил тащить городской «газик», пока хватит соларки.

Но вездеход переключился на вторую скорость и плавно догнал деревенского громахалку.

— Колян, жми!

Шофер заученно клацнул рычажком скоростей, и «газик» рванулся птицей, обгоняя своего медлительного собрата.

Охотники увидели счастливое лицо Гоши и его руки, вздрагивающие на рукоятках, Старых замахал ему, крича, что-то радостное и взялся было за ручку дверцы.

Но Гривцов повернул голову и произнес:

— Не надо торопиться, Иван Иванович...

Старых отдернул руку, будто незадачливый школьник.

— До пашни поедем?

— Теперь до дому... Шпарь, Колян!

Старых скрючился в углу, как пойманный в клетку беркут. Он лишь озирался на заднее окошко, за которым отставал трактор. Гость видел, как забеспокоился Гоша, остановил свою громахалку и выбежал на середину дороги. Сначала он замахал руками: «Куда так далеко поехали! Мне же вас догонять! Чем дальше уедете, тем дольше ждать вас! А у меня еще в баклажке вот осталось!»

Но через несколько минут до него дошло, что приезжие и не думают останавливаться, что они улетывают от него на самой большой скорости. И то-

гда тракторист замер, прижав к груди свою баклажку, точно и она могла предательски улечь от него.

— Ишь ты,— заметил Гривцов, косясь на боковое зеркальце,— притянул какой! В совхозе надоело — на город лыжи вострип.

— А вдруг опять засядем? — спросил Коля, угрюмо глядя на извивы колеи.

— Тогда с начальством его разговаривать будем, с самим Ковтуном, — отозвался Гривцов. — Да думаю, больше не поведет «газон», вроде негде ему теперь застревать.

— Грузовик надежнее, — выпалил вдруг Коля. — Между прочим, просьба у меня к вам, Никандр Семенович... Переведите меня на самосвал!..

— Это еще что за блажь? — подпрыгнул Гривцов.

— Никакая не блажь. Решил и все... Надежнее самосвал...

— Ну, раз так захотелось, — медленно забасил Гривцов, — придется перевести, как считаешь, Иван Иванович?

Старых не отозвался, он пусто смотрел на пожелтую траву дорожного бортика, и с его лица как бы слетали невидимые листья, оставляя голые ветки-морщины.

— Да не забудьте, прошу вас, — добавил Коля, остервенело закуривая баранку. — Мне ведь и уйти недолго, эх-ма!

— Только без намеков! — раздраженно заметил Гривцов, осекая, и вдруг багрец залил его крепкую шею. — Трактористу я и не мог потрафить! Село оголять — преступление!..

— А вы сами, Никандр Семенович, разве не оголяли его столько лет? — подавал голос Старых. — Да по такой статье, что язык не поворачивается от тяжести...

— Я отчитывался, — загремел Гривцов, — у меня справки, расписки, квитанции!..

— А кто ответит за то, что здесь деревенские не любят городских? Какими квитанциями ты тут прироешься, Никандр Семенович, справки, расписки!..

— Вместе должны отвечать, — огрызнулся Гривцов. — А лучше не поднимать шума — нашего производства такое не касается!

— Нет, касается! — вскрикнул Старых. — Всех производств касается, а в нашем только виднее!

— Ну что, вы будете и здесь инспекцию наводить? — скривился Гривцов. — На самого себя докладную писать?!

Некоторое время в «газик» вползала тишина полей, островов-перелесков и холмов, задавившая даже гуд мотора и шелест шин в грязи. Но неожиданно затвердевший голос Старых занес в клочья тишину и забил надсадный гуд машины.

— Что ж, это мысль... Пора проинспектировать все, что сделано за нашу жизнь. Нельзя только блажить воспоминаниями! Нас догоняют наши дела, даже перегоняют... Надо их переоценить. И навести человеческий порядок, пока можно...

— Силенок у нас маловато, товарищ инспектор, — съязвил Гривцов. — Чтобы такой порядок навести хотя бы в области, надо быть по меньшей мере первым секретарем... не говорю уж про все государство! Не так ли?

— А мы начнем с малого, — жарко ударил в спину Гривцова шепот Старых, — с подведомственного нам отряда...

— То есть опять проверка? — подпрыгнул Гривцов.

— Самая тщательная и беспощадная, — подтвердил Старых. — А потом будем переводить инспекцию в масштабы!..

Гривцов боялся оглянуться. Первый раз в жизни он чувствовал растерянность и не мог найти спаси-

тельную лазейку. Ему казалось сейчас, что каждый жест, любое движение, оттенок голоса могут выдать его. Помогут навести чертова инспектора на те дела, за которые кое-кто в районах называл его делашом. Если копнуть по ближним деревьям, то обиходных окажется и сейчас больше, чем достаточно. А незаконные сделки, подтасовки, невозвращенные долги можно собрать в одну папку и представить в соответствующие органы!.. «Тфу ты, черт, и налетел же на чокнутого! — подумал Гривцов, поднимая чуткий взгляд на стекло-фильтр над передним стеклом. — Страшно подумать, что может натворить один такой бессребреник!»

В темном прямоугольнике светофильтра лицо гостя казалось спокойным, только глаза мерцали, как объективы сложного инструмента.

Ужасно, если эти глаза переключатся со своих высоких материй на грешную землю и простых людей! А такое, кажется, неожиданно-негаданно случилось. Бывает на охоте: ружье вдруг стреляет в самого охотника! И получилось, охота прошла совсем не впустую у рохли-инспектора. Он загнал на отстой такого зверя, который сам прижимал кого угодно!

«И попробуй теперь докажи, что ты не зверь, — невесело раздумался Гривцов, — что всегда колотился для пользы коллектива и все должны отвечать в таком случае... Попробуй выкрутиться, если он и себя не шадит, самовед!»

И Гривцов туло усталился на дорогу, которая вдруг залоснилась под должданным блеском солнца. Под солнцем заиграла роса на стерне, заискрила и застреляла лучиками во все стороны.

Гривцов покосился на затемненное стеклышко и вдруг увидел, что «инспектирующее лицо» больше не держит его под прицелом всевидящих глаз, а смотрит на высоту, увенчанную клетчатой пирамидой триангуляционного пункта. Ресницы Старых шевелятся, будто плавники двух рыбок, а губы криво расходятся в какой-то новой заботе. Тогда Гривцов с облегчением вздохнул и стал соображать, как спустить на тормозах опасность, нависшую над его головой. «Придется, пожалуй, уйти из отряда по собственному желанию», — решил Гривцов и отвернулся к окну.

г. Иркутск.

Натан Злотников



Ты пробудись в апреле,
Прилетит и снег и дождь,
И охватит все деревья
Горла певческого дрожь.
Эту песню ты не ведал,
Эту птицу знать не мог.
Но всю жизнь за нею следом
Шел ты, не жалея ног.
Промелькнет она в тумане
Ранней-ранней седины,
И душа опять воспрянет
От надежды и вины.
От надежды жизнь ускорить,
Словно жизнь не коротка
И бравурных маршей горечь
Слух не трогает пока.
От вины за то, что в строгом
В небе вешнем веет снег,
За объятия нена роком.
За прощания навек.



Не соскучилась — я заскучал, Украина,
Где твои черноземы да желтая глина,
Где подзолы, где влажные травы Полесья,
Где ковыльная степь, голубей поднебесья!
Там звезда моя плещется в небе, как птаха,
А под нею текут и белеют три шляха.
Первый шлях далеко уведет за Хибины,
К черным водам студеным,
где плавают льдины.
Шлях второй — к верхней Каме,
к отрогам Урала,
Там белье госпитальное мама стирала.
Третий шлях — на Москву,
на Москву золотую.
Лишь взгляну в ее сторону — и затоскую.



Стал я просыпаться очень рано,
Затемно, и в полной тишине
Жизнь моя течет легко и странно,
Словно пребываю я на дне.
Час-другой пройдут неслышно, прежде
Чем смогу узнать свою звезду,
А узнаю — тотчас свет забрезжит,
Это я из глубины иду
Не спеша, спокойно, одиноко —
Через все грядущие года...
Может быть, меня пронзит тревога!
Может быть, меня сразит беда!
Разве мало было мне науки,
Мало медных труб, огня, воды!

Эту жизнь люблю! Но страшно скуки
Деловой и важной суеты.
Начал засыпать я очень поздно,
К зрелому приближен рубежу,
То, что в мире существует розно,
Я в душе недремлющей свожу.
И томлюсь от незнакомой жажды,
С честным удивленьем на лице,
Белый свет увидевший однажды,
Дважды тьме — в начале и в конце.



Девятого мая, холодный туман,
Озябшие клены и липы,
Сырого простора и свет и дурман,
Валежника громкие скрипы.
Москва недалеко, в слезах и в цветах.
Там плещут кумач и оркестры.
А в этих полях покоится прах
Солдат ее вечных и честных.
А в этих полях замирает душа
От черного крика вороны,
От старой траншеи, от блиндажа,
Где линия шла обороны.
Из почвы не выветрилась до конца
Огня полыхнувшего сера,
Пусть жизнь оставляла людские сердца,
Но их не оставила вера.
Страшней во сто крат, если наоборот!
Такого не помнит столица.
Спасибо, бойцы! Наше время пройдет.
А ваше — навеки продлится.



Не свет пронсит птица,
Не мрак в краю ночном.
Голубка-голубица,
Что ищешь под окном!
Ты в сон столицы веший
Вошла, не прервала.
Холодный воздух плещет
Под взмахами крыла.
Так под веслом смелым
Полночная река
Огнем горит зеленым
От каждого гребка.
Зачем, голубка, клювом
Стучишь о землю вдруг!
Отдастся в стекла гулом
Тревожный, резкий звук.
Зачем летишь под своды
Немолодых ветвей!
Ты не ночной породы,
Себя хоть пожалей!
Зачем ты так похожа
Средь этих лет и зим
На ту, кого я тоже
Звал именем твоим!



Какая странная причина
Вдруг оторвет от дел земных!
Лишь бы не мучила кручина
Подолгу близких и родных.
Какое новое умение
Приобретет душа моя
В краю покоя и забвенья
За линией небытия!
Какая трудная наука,
Увидев этот белый свет,
Его забыть! Какая мука
Ни горестей не знать, ни бед!



Я, пленник тбилисских щедрот,
Горячей толпы и погоды,
На светлый взглянув небосвод,
Ступаю под темные своды.
И гупкое эхо шагов,
Как птиц перепуганных стая,
Уносится в сумрак веков
И долго шумит, улета.
Но все же от стены до стены
Витают еще одна птица:
То взор мой,— и сердцу видны
Прекрасные узкие лица.
На них надвигается мгла,
Коллебая, стоит пред свечами,
И в сердце уколает игла
Прощания и печали.
Но сердце забудет опять,
На Западе и на Востоке
Свет жизни пытаюсь познать,
Земные короткие сроки.
Пусть хлад белокаменных плит
Остер и прозрачен, как свечи,
Но сердце не очень болит,
Спокойно кружится в Кашвети.
Оно в дружелюбных горах
Летает, не зная предела,
Робеет на шумных пирах,
Тоскует, ждет скромного дела,
И все-таки служит давно
Желаньям и ада и рая,
И то, что ему суждено,
Легко обретает, теряя.



В саду бухарского змира
О бренностях я думал мира.
Как много серебра и злата,
А жизнь навек ушла куда-то.
Вся рассып дорогах камней
Не стоит блеска быстрых дней,
А сталь дамасского клинка —
Крыла ночного мотылька.
Узор ковров изыскан, точен,
И легче вдоха хинский шелк.
Кто был бессмертием озабочен,
Давно забвение нашел.
Но вместе с ним давно исчез
И тот, кто не знал гордыни.
Кто выстроил дворец чудес
На дымном берегу пустыни
И посадил прекрасный сад,
Земное повторенье рая,
Навек храня иль проклятая
Владыки мимолетный взгляд.



Автобус шел из Бая-Луки.
В горах мы встретили грозу.
Весь мир — огни его и звуки —
Остался далеко внизу.
Дорожные мелькали знаки.
Дождь стих, но ветер все крепчал,
И даже молнию во мраке
Он, словно дерево, качал.
Но с монотонностью железной
Вверх «серпантин» нас возносил.

Тяжелый скат над самой бездной
Вдруг завывал, лишаясь сил.
И мы, цепляясь за бетонку,
Одолевали страшный миг,
В вираж входили потихоньку
И снова мчались напрямик.

Достигли в полночь перевала
И вниз пошли с орлиных скал.
Опять трясло нас и качало,
И страх души не отпускал.

Дороги роковой извивы
Еще погубят нас легко,
А все, чем на земле мы живы,
Таится ох как глубоко.



Мы приедем в запущенный сад,
На задворки всех дач, в захолустье.
— Почему говоришь невпопад
И грустишь!.. — Что нам радость
без грусти!..

По штакетнику проведу
Прутиком — заиграют все планки.
— Поцелуй меня в этом саду
У сарая, где щебень да банки.
Поскорее меня обними
Молодою рукой непослушной,
На мгновение отними
У заботы о жизни насущной.



Лиса дорогу перешла
И прыгнула в кусты.
И долго колыхалась мгла
От поля до звезды.
А свора шорохов за ней
Пустилась по пятам,
Чтоб, сделав круг за десять дней,
К своим прийти следам.
Где вновь через шоссе она
Скользит наискосок,
И серый гравий полотно
Не чует лисьих ног.
Через шоссе из леса в лог
Течет ее огонь,
Как будто послан уголек
С ладони на ладонь,
Чтоб высветлить на краткий миг
Того из тьмы ночной,
Кого, быть может, нет в живых,
А он в пути со мной.



Я жил уже давно,
Я жил еще недавно,
А то веретено
Работает исправно.
И тоненькая нить,
Точась мало-помалу,
Все побуждает жить,
Ведет, как по лекалу,
По той, по той кривой,
Что всех прямым короче,
Где путь означен мой
На грани дня и ночи.
Там и добро и зло.
Там пасмурно и ясно.
Там было тяжело.
Но было и прекрасно.



Юрий
ЩЕРБАК

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

РАССКАЗ

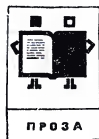


Рисунок
И. ХОХЛОВА.

Он долго разыскивал по карманам ключи от автомобиля; делал это замедленно и сонливо, начавши не с плаща, не с того кармана, куда обычно клал ключи, — будто совсем не хотел их находить, желая растянуть в бесконечность ту минуту отдыха, ту минуту ничегонеделания и ничегонеделания, что пролегла между отработанной суетой операционного дня и предстоящим напряжением улицы. Он устал от точности, его обессилила ежедневная необходимость измерять, рассчитывать и сдерживать свои движения, непрестанно сверяя их, как это делают штурманы, с подробными картами — только не земли или неба, а с живым человеческим телом, со скрытыми под его поверхностью реками, ручьями и родниками жизни.

Чувствовал себя сейчас почти счастливым, делая неосторожные, необдуманные движения. Сначала забрался в левый карман брюк, хотя точно знал, что там никогда ничего не носил, затем из кармана пиджака вытащил несколько листов бумаги, оторванную пуговицу, расческу и значок. Внимательно просмотрел измятые бумажки: несколько троллейбусных талонов, на тот случай, если автомобиль испортится, но его «Жигули» пока что не портились, и потрепанные талоны дожидали последние дни; на клочке газеты торопливо записанный телефон 765249 и имя-отчество: Яков Иванович; но, как ни напрягал память, не мог вспомнить, что это за Яков Иванович и почему нужно ему звонить... Пуговицу дать жене, пусть пришьет, а значок купил сыну для коллекции; красивый такой четырехугольный значок с двойным меняющимся изображением: достаточно было немного шевельнуть значок, как Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому тотчас превращались в герб Киева — сияющий красками щит с листом и цветком каштана. Не забыть отдать Михасю. Значок куплен давно, еще в прошлую среду, на вокзале. Вспомнил, как встречал утром московский поезд, которым приехал профессор Томили-ли.

Наконец, очередь дошла до плаща. Проснувшись, сразу же среди разных ключей и мелких монет безошибочно нащупал брелок с ключами от автомобиля. Брелок подарил ему тогда же, в среду, профессор Томили-ли; это был парижский брелок, привезенный к международному конгресса хирургов: золотой диск, сделанный в виде миниатюрной бестеновой лампы — в маленькие иллюминаторы были вставлены цветные виды Парижа.

Горбач приложил брелок к глазу, поднял голову к светящемуся октябрьскому небу и присмотрелся к собору Парижской богородицы. Не увидев там ничего нового и интересного, вздохнул и отпер дверь автомобиля.

Он всегда ставил «Жигули» на этом месте, под кленами, как раз напротив окон ординаторской. За день опавшие листья плотно укрыли крышу, ветровое стекло и капот машины. Горбач сел на холодное сиденье, положил правую руку на рычаг передач, ощутив в его черном набалдашнике осеннюю свежесть, и съехал на какой-то миг, стараясь понять, откуда в нем появилось чувство уравновешенной радости. Да, кажется, понял. Солнечный свет пробивался в машину сквозь листву, которая облепила ветровое стекло, выставив его полупрозрачным слоем увядания, и все окрасилось в мягкие желтоватые и зеленые тона — тихий сумрак беседки, воспоминание о чем-то гармоничном и счастли-вом.

Большинца раскинулась на склоне Печерской горы, где в старину буйствовали виноградники, от них осталось только название: Виноградный переулок. То ли солнечных дней стало меньше, то ли воздух сделался влажнее, или еще какая причина, но виноград исчез с этой горы навсегда, отступился от Киева, ушел в дальние запovedники солнца — на Днестр, в Закарпатье, Херсонщину, Одесщину и Молдавию. «Виноград», — подумал Горбач. Жена просила купить килограмм винограда. Болгарский, прозрачно-зеленый. Положить в бумажный пакет. В шесть нужно ехать с женой к портине на примерку. Она шьет платье цвета спелого винограда.

Повернул ключ зажигания, и мотор начал работать — чуть слышно, так, что ни один листок не шевельнулся. Предчувствуя еще одну маленькую радость, двинулся с места. Листья задрожали, поплыли по стеклу, открывая первые проруби слепящего света, потому что, как только Горбач прибавил газу, потоки воздуха безжалостно сбросили листву; автомобиль, в котором уже клочкотала едва сдерживаемая механическая мощь, отбрасывал металлические и стеклянными поверхностями вялые, отжившие листья. Каждый день это освобождение машины из-под слоя листьев наполняло сердце Горбача древней радостью. Все стало на свои места: древний корпус больницы, больные, которые сидят на лавочках перед пустым фонтаном, усталым толстым пластом рыжей листвы, санитарки в синих халатах, несущие из пищеблока большие алюминиевые бидоны, на которых масляными красками написано: 2 ХИР, 3 ХИР, 2 ТЕР, ЛОР. Возле памятника Образцову он включил третью передачу, готовясь выехать на асфальтированную дорогу, которая вела вниз, круто извиваясь, как настоящий горный путь. И сразу же впереди увидел девушку в белом плаще, узнал ее походку. Это была медсестра Таня. Она, как ему показало, дерзко шла по дороге, размахивая сумкой, похожей на кондукторскую. В ее походке было что-то вызывающее и победное, потому что она заранее знала, что теперь он догонит ее, что он будет вынужден проехать мимо и заметить ее, ибо другого выхода у него нет. Горбач мысленно выругался, потому что и вправду — сегодня все его хитрости, вся его нарочитая глухота к намекам Тани, что они живут рядом, все замедленные поиски ключей оказались напрасными перед ее наглостью, потому что эта вертлявая девица наконец сообразила, что нужно спускаться на пешеходной дорожке, как все, а идти прямо по шоссе, где все время снуют «Скорые помощи» и где Горбач вынужден ее заметить, остановить автомобиль, предложить подвезти ее на Чоколовку, иначе он будет выглядеть просто хамом.

Он умышленно проехал мимо Тани и резко затормозил метров за десять перед нею. Еще надеялся, что она махнет рукой, мол, поезжайте, Иван Федорович, нам не по пути, я лучше пробегусь по свежее воздуху, у меня свидание у кафе «Хрещатый яр», или возле главного почтамта, или еще в каком-либо месте, где назначает свидания современная молодежь. Но напрасно. Таня улыбнулась удовлетворенно (он смотрел на нее в зеркальце) и побежала к машине так легко и радостно, что у него защемило сердце. Он перенулся через свободное сиденье и открыл правую дверцу.

— Вот спасибо, Иван Федорович, — сказала Таня, быстро и ловко устроившись рядом с ним, словно давно тренировала эти движения. — Вы домой едете?

— Да.

— Можно с вами?

— Конечно, — сказал он будничным тоном. Все сегодня решил делать буднично: разговаривать на будничные темы, сидеть с будничным лицом, так, словно в машину залетела букашка, на которую не стоит обращать никакого внимания.

— Ты где живешь? — спросил.

— На площади Космонавтов... Я же вам говорил...

— Да, да. Вспомнил.

— Мама район не нравится. А мне нравится. Особенно зимой.

Да, да. Вы живете вдвоем с мамой, ты мне говорил это два месяца назад, когда клиника справляла в ресторане «Метро» юбилей доцента Перепелицы. Ты, новенькая, никому еще не известная девушка, нагло уселась рядом со мной, нарушив строгую и годами выработанную традицию, освященный иерархический ритуал всех банкетов, и начала рассказывать, что отец вас бросил, был как какой-то женщине, и что для мамы это был тяжкий удар — она страшно постарела, как-то сразу, безнадёжно, и у нее начались гипертонические кризы, и с нервами не все ладно, и теперь мама подозрительно смотрит на тех парней, которые приходят к тебе, — в каждом видит будущего изменника. Ты была тогда в коротком платочке из красной шотландки, худенькая, в этих очках с дымчатыми стеклами, отчего твои глаза, казалось, были затнuty облачками, а потом оркестр заиграл «Цыганочку», и доцент Перепелица — дородный, хромой мужчина — кинулся плясать; все хлопало в ладоши, став кругом, и тогда в середине круга высочили ты. В тот день в тебе, видно, сидел какой-то бес: что-то неудержимое и разгульное, бешеное и страстное было в том танце — доцент Перепелица давно уже сошел у окна, вытирая платком шею и лысину, а ты все плясала, трясла плечами, как настоящая цыганка, хотя в тебе ничего от цыганки нет — гладко зачесанные рыжие волосы, стаявшие позади черной ленточкой, худенькое, нервное лицо, светлые глаза — светлые и близорукие, лишенные какой-либо таинственности, когда ты снимаешь свои дымчатые очки.

...Они выехали на Бассейную, и впереди, около «Фотографии», Горбач заметил старшую медсестру их отделения Липовецкую — ее невозможно было не заметить: выше на голову всех мужчин в клинике, Липовецкая носила ярко-оранжевую спортивную куртку с капюшоном, подбитым белым мехом, что сразу выделяло ее среди пригасших красок осенней толпы.

— Возьмем? — невинно спросил Горбач. — Она живет на площади Победы... По дороге.

— Она не идет домой, — быстро ответила Таня. — Я слышала, как она говорила. Кроме того, ей нужно больше двигаться. Полезно для здоровья.

— Вон как, — усмехнулся Горбач, оставив позади Липовецкую, и взглянул в зеркальце: интересно, заметила она их с Таней? — Я думаю, ты добрее...

— Ну, если вам для полного счастья не хватает Липовецкой, то пожалуйте, — остановиться, а я пойду пешком, — спокойно ответила Таня, насмешливо и нагло смотря ему прямо в глаза.

Горбач ничего не ответил, лишь поддал газу; проехал тот опасный участок улицы, где чужинная ограда скверика, что тянется посреди Бассейной, прерывалась, создавая проход, откуда на проезжую часть все время неожиданно выскакивали люди. Впереди, до самого крытого рынка, улица была свободна, можно было ехать быстро.

На Бессарабке пришлось стоять перед светофо-

ба
ре
ре
На
ло
стс
ни
/
на
ро
сде
оби
тир
и Г
-
-
-
ка
де
-
лю
ум
ны
-
-
-
-
кр
вр
раб
-
ня.
наз
му
это
-
же
лог
Г
чис
рое
ста
от
то
кру
не
прь
ют
сты
кон
жае
нив
тру
тон
сол
гля,
зам
вет
тив
чал
из
она
А
бал
спр
-
поп
вое
Рук
-
про
О
что

бач, и я тебя прошу: никогда не смейся над Перепелицей. И Васе скажи, пусть не паникует. У Перепелицы в прошлом году погиб единственный сын. На мотоцикле разбился, возле Феодании. Сыну было двадцать лет. Теперь Перепелица страдает жестокой бессонницей. Часто дежурит и ко всем парнишкам подходит вот так ночью... Гладит по лицу...

Молча направились дальше и спустились с дамбы на пустынный пляж. Возле раздевалки, двери которой были забиты досками, лежали большие колеса, сделанные из металлического прута; было что-то общее между этим обезлюдевшим пляжем и квартирой, из которой выехали хозяева, оставив пустоту и несколько старых стульев, сваленных в углу.

— Вы любите цирк? — спросила Таня.

— Не очень.

— А я очень люблю. Когда-то мечтала стать циркачкой. Наверно, потому, что верю в чудеса. Вы видели Кио?

— Я видел и отца и сына, — сказал Горбач. — Отец любил выступать в Киеве. И однажды осенью он тут умер. А его портреты еще долго висели на рекламных щитах... Мокрые. Их не решились заклеймить.

— Это что-то невероятное, правда?

— А знаешь, я разгадал секрет его фокусов.

— Да что бы? — Она искренне удивилась.

— Понимаешь, у него всегда выступал очень красивые девушки-ассистентки. И я заметил, что все время смотрю только на них. А в это время Кио работает. Слово приведет — не заметил.

— Это типично мужская логика, — рассмеялась Таня. — А вот рядом со мной сидела тетка, здоровенная, как наша Липовская, так она все время возмущалась. Не может, кричит, этого быты! Как они это делают? Это невозможно!

— Этого не может быть, потому что быть не может, — задумчиво повторил он. — Типичная женская логика.

Песок, на который они ступили, был совершенно чист. Горбач шел вдоль воды. За ним оставалась ровная линия следов. За Таней же тянулись извилистая, ломаная линия: Таня шла то вправо, то влево от него, то забегала вперед и шагала навстречу ему, то оставалась позади, вытупывая в песке странный круг, по несколько раз ступая в собственные следы; немного погодя делала неожиданные метровые прыжки и снова семеняла, как дети, которые играют в паровоз и вагоны. При этом она что-то напевала и терла ладонью покрасневший от холода кончик носа. Так дошли они до огромных труб, лежащих на берегу. При желании можно было, наклонившись, войти в трубу. Схватившись руками за край трубы, он заглянул в нее. В конце длинного черного тоннеля увидел фигуру Таня, освещенную спящим солнечным светом. Так стояли они несколько минут, глядя друг на друга. Горбач услышал тревожный, замирающий звук, словно звук выюги или сильного ветра, словно сигнал тревоги и спасения, что накатывался из черной глубины тоннеля. Потом прозвучали всплески и стоны, и Горбач испуганно выглянул из трубы. Таня тоже выглянула, и стало видно, что она смеется. Бесовская девочка, пробормотал он. А Таня уже взобралась на трубу и пошла по ней, балансируя, навстречу Горбачу. Поддал ей руку, она прыгнула на песок, но руки не отняла.

— Поехали домой? — спросил он, делая слабую попытку пересилить самого себя, перебороть то новое, упрямое и чужое, что появилось теперь в нем. Руку отнял для того, чтобы закурить.

— Нет, — испуганно покачала она головой, — я вас прошу, Иван Федорович. Погуляем еще немного.

Он вытаскил сигарету, принял ее пальцами так, что табак золотым дождиком рассыпался в возду-

хе. Однако не зажег, отбросил прочь. Они дошли до забытого причала, покачивающегося в этом безлюдном месте, — три ржавые цистерны, связанные тросом и накрытые досками. Дул холодный ветер, но у причала было тихо, почти тепло. Таня оперлась спиной на цистерну и подставила лицо солнцу. Стояла неподвижно, закрыв глаза, худенькая и сосредоточенная, и безошибочный мужской инстинкт подсказал ему, что она ждет его поцелуя, что ее желание чистое и что эта минута святая для нее, да и для него тоже, и что какие-либо иные поступки или слова будут сейчас несуразными, вульгарными, лицемерными или оскорбительными, они могут лишь унижить Таню, причинить ей невыразимую боль. Он припомнил в эту минуту мимозу, ее удивительную способность складывать листья, сжиматься, мгновенно съезжаться от грубого прикосновения: зеленая душа этого хрупкого растения не терпела грубости.

Он поцеловал Таню — сначала в щеку, возле уха, рыжая прядь пощекотала его, потом в кончик носа, попал в губы, ему показались, что он целует яблоко — зимнее яблоко «ранет Симирские», принесенное с холода, — он любил эти зеленые яблоки, любил подолгу и так, чтобы никто не видел, вдыхать их аромат, который среди январских снегов и морозов будил таинственные воспоминания зрелого лета, отдавал кружением животворных соков и возбуждающими запахами молодости.

Он услышал музыку, совсем близко — это была музыка духового оркестра, которая, непонятно как, возникла здесь, — и эта музыка так же рождала воспоминания, только не о земле, а о людях, которые не вернутся; подобно тому, как он представлял себя парящим над землей, когда они стояли на мосту, точно так сейчас он поднимал над временем — смеявшись внезапно в прошлое, позапрошрое или будущее и свербующее время. Играют брауэрный военный марш «Прощание славянки», старинный марш, родившийся еще, наверно, во времена Балканских войн; неподвижная, спящая, не стареющая картина жизни; картина или фотография, или дагерротип, или галерея, или озарение памяти: святящийся октябрь — месяц, когда яркое солнце и первые заморозки заключают меж собой временное перемирие, девушка с закрытыми глазами и первый их поцелуй — первое чудо сближения, вечно молодой праздник, независимо от столетия, года и дня, когда он родился.

Что-то холодное окатило ему ноги, и он открыл глаза. Прибойная волна захлестнула по самым чирколотки. Серединой протока удалялся белый двухпалубный пароход, на котором стояли люди в черных шинелях и махали им руками. Трубы духового оркестра остро сверкали на солнце. Курсанты военно-морского училища, понял он. Таня тоже раскрыла глаза и засмеялась. И начала махать вдогонку белому пароходу.

Он снова подошел к ней, но поцеловал почему-то не в губы, а в холодные стекла очков — на обоих стеклах остался бесслезный туманец его поцелуев.

— Не нужно больше. — Таня осторожно сняла его руки со своих плеч. — Идите, Иван Федорович, вам нужно ехать.

Она начала протирать очки кончиком шарфа, и он заметил, что глаза у Таня мокрые от слез.

Они пошли назад, однако теперь их следы были совсем иными: его следы уже не тянулись так ровно и уверенно, появилась в них какая-то аритмия, а ее следы выровнялись, утратив всю свою детскую запутанность и фантастичность. Теперь их следы шли рядом, не расходясь и не перекрещиваясь.

— Знаешь, — сказал он, — когда-то, еще студентом, я хотел доказать, что у растений есть централь-

ная нервная система. Я делал опыты на мимозе, хотел выработать у нее условный рефлекс.

— Как это делается?

— Стоит прикоснуться к мимозе, как она тотчас складывает листья. Что-то невероятное. Как живое существо. Одновременно нужно было дать какой-то условный раздражитель. У животного просто — даешь звонок или свет. А тут я так и не придумал условный раздражитель. На том и бросил эксперименты. Не хватило ни фантазии, ни упорства.

— Я никогда не видела мимозу, — сказала Таня, ломая веточку.

— А теперь я прочитал, что у растений открыта нервная система.

— Жаль.

— Почему?

— Я всегда ломаю ветки. Такая привычка. Деревьям, наверно, больно, только они молчат. Неприятно думать, что кому-то причиняешь боль.

— Погоди, — сказал он.

Она остановилась.

Он страхнул с ее спины следы ржавчины.

— Что вы скажете дома? — спросила Таня.

— О чем?

— У вас мокрые ноги.

— Пустяки, — небрежно махнул он рукой. — Сказку, что попал в лужу.

— Едуци в автомобиле? А потом баловались с детьми в песочной яме? На бдюках какие-то колючки. Таких в больнице нет.

— А что ты предлагаешь? Сказать правду?

— Правду? О том, чего не было и чего не будет? Он ничего не ответил. Таня присела на корточки и принялась что-то чертить на песке.

— Это что, летательный аппарат? — спросил он.

— Это план вашей квартиры. Вот окно, вот балконная дверь. Возле окна стоит письменный стол. На нем лампа с зеленым абажуром. У двери шкаф. Вот тут диван или тахта, а тут должен стоять обеденный стол.

— Ошиблась. Тут стоит магнитофон.

— А это дверь в соседнюю комнату. Если в вашей комнате темно, эта дверь светится. Вы ходите по квартире в боксерском халате.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил он, пораженный ее словами.

— Я ведь уже говорила, что живу недалеко от вас... ну, часто гуляю возле вашего дома... а вы живете на втором этаже, все видно. Летом хуже, мешают деревья, а теперь лучше. Знаю всю вашу жизнь, Иван Федорович. Знаю, когда вы встаете — п семь, включаете свет, потом делаете зарядку на балконе, потом идете с сыном в школу... Мальчик такой красивый... на вас похож. Он в четвертом классе?

— Во втором.

— Да. Дети теперь быстро растут.

Таня ногой разровняла песок, стерев план квартиры, словно хотела навсегда вычеркнуть его из своей памяти.

— Недавно у вас были гости, играла музыка. Балкон открыт, слышно.

— Да это был день рождения моей жены.

— Играл такую красивую мелодию... «Эту песенку старую, как мир...» Знаете?

— Знаю. Поет Слава Пшибильская.

— Я гуляла неподалеку... Во дворе никого не было, и я танцевала под эту музыку.

Они вышли на асфальтированную дорожку. Таня, напевая, начала танцевать этот медленный, сентиментальный вальс-бостон. А он, словно прозрев, понял все и представил, как холодным дождливым вечером эта нежная, хрупкая девушка танцует одна

под его окнами, и он теперь уже по-настоящему пожалел, что поехал с нею сюда и узнал ее тайну; ему стало больно, словно он в чем-то виноват перед этой девушкой; иногда такое чувство появлялось у него в больнице, когда видел безнадежно больного человека — бессильное чувство собственной вины за свое здоровье, за свою счастливую, спокойную жизнь перед лицом чужого несчастья.

Они сели в машину. Он включил отопление, чтобы немного нагрелась кабина, потому что Таня вся тряслась от холода, да и ему тоже сделалось зябко, будто на том пляже они оставили все тепло.

— Помните, Иван Федорович, ту ночь, когда умирал Кравец и когда вы не дали ему умереть?

— Помню.

— Тогда... я поняла... я бы хотела быть всегда рядом с вами и всегда вам помогать... Но это невозможно. Я прошу вас, Иван Федорович, никогда не подвозите меня на машине. Хорошо?

— Почему?

— Когда отец ушел к другой, я увидела, что произошло с мамой, я поклялась, что никогда в жизни не сделаю ничего такого, что может принести несчастье другому человеку...

— Глупенькая, — мягко сказал он. — Кому же ты можешь принести несчастье?

— Вашей жене. Я часто встречаю ее в молочном магазине, она всегда берет бутылку кефира и бутылку ряженки...

— Это для меня. Я люблю ряженку...

— А теперь, если я ее встречу, мне будет стыдно.

— Боже, — печально улыбнулся он, — какой ты еще ребенок. Чем же ты перед ней виновата? Если виноват, то только я. Хорошо, я буду проезжать мимо тебя и никогда не буду останавливаться. Тебе станет легче?

— Нет. Я буду плакать, но все равно не берите... Помолчав, она тихо сказала: — Спасибо вам за сегодня, Иван Федорович. Я никогда не забуду этого дня.

Он выехал со стоянки и повернул направо. На метромосту уж заветлилась яркая неоновая линия, которая высокой параболой повисла над Днепром, упершись в сумеречную неясность правобережья.

— Танюша, — сказал он. — А ты знаешь, что такое любовь?

— Знаю, — ответила Таня, не поворачивая к нему головы. — Это — праздник. Когда все равно: дождь ли, снег ли, холод, а у тебя праздник. Такой большой, что начинаешь бояться, не понимаешь — откуда...

— А то, что делает жена Кравца... это что? Разве не любовь?

— Это будни, — убежденно сказала Таня. — Но для того, чтобы были будни, нужно иметь праздник. Сначала должен быть праздник.

Горбач хорошо помнил ночь, когда умирал Кравец, то самое тяжелое в своей жизни ночное дежурство.

Кравца привезли днем в почти безнадежном состоянии. Кравец, сорокалетний тракторист из Бобринки, стоял у переезда, ожидая, пока пройдет поезд, хотя, правду говоря, поезд был еще далеко, лишь выглянул из-за поворота, и если бы на месте Кравца был кто-нибудь другой — порешительнее, посмелее, то давно бы переехал колею, потому что никакого шлагбаума на переезде не было. Но Кравец — человек медлительный, нетеропливый, спокойно сидел в кабине своей «Беларуси», которая воела за собой тяжелый прицеп с сеном, и курил, ожидая поезда. Бабье лето было в разгаре, радуя душу тракториста ласковым ветером, черными вспаханymi и золотыми от стерни полосами земли и той

величественно-печальной голубизной неба, куда в такие дни даже самые спокойные люди хотели бы взлететь. Попыхивая папиросой, Кравец посмотрел налево, туда, где уже отделилось от леса темно-серое суставчатое тело тяжелого товарняка. Посмотрел — и побледнел, потому что метров за пятьдесят, там, где насыпь была особенно высокой, шел по колее маленький мальчик, каждую секунду наклоняясь, — наверно, искал камешки, рассматривал рельсы или еще что-то. «Беги!» — изо всех сил закричал Кравец, выскочил из кабины, но мальчик не обратил на него никакого внимания, должно быть, звук относилось ветром. Тогда Кравец побежал прямо по шпалам, чтобы легче было; бежал так быстро, как, вероятно, и в армии на физподготовке не бегал; бежал, кляня все на свете: этот неумолимый поезд, что уже резко и тревожно посвистывал, и этот день, в который довелось стоять у переезда, и сопляка, вылезшего на рельсы, и особенно его родителей, морды бы им, сволочам, побить за то, что отпустили маленького, а теперь гляди, как он побибнет на твоих глазах, ничего страшнее на свете нет. Кравец твердо знал это, потому что у самого было двое, только не мальчиков, а девочек: Люба и Надя. Успел отбросить малыша так, что тот покатился вниз с насыпи (запомнил его испуганное замурзанное лицо и большие уши «топориками»), а сам не успел uklonиться от удара и с той минуты уже ничего не помнил. Его, окровавленного, со жгутами, сделанными наскоро на отрезанных ногах, с повязками, промокшими, тоже сделанными неумело, повезли на машине не в районную больницу, а прямо в Киев, увеличив тем во много раз шансы на верную смерть; однако люди, которые его везли, этого не знали, они не знали, что такое травматический шок, каковы его последствия, они знали только одно: в Киеве врачи лучше, чем в районе, может, еще, чего доброго, и пришьют отрезанную ногу, которая лежала рядом с Кравцом, в кузове колхозного «ГАЗа».

Отделение Горбача как раз дежурило в тот день по «Скорой помощи». Горбач остался на ночное дежурство. Вечером все хирурги разошлись (с пяти часов вечера поток больных, поступающих по «Скорой помощи», переклонили на другие отделения), свет в палатах пригасили, дежурные сестры ходили со шприцами, кололи на ночь пантотон и пенициллин, раздавали таблетки снотворного и прогоняли с балкона выздоравливающих... Горбач любил этот предночной час в больнице, этот сонливый, обманчивый покой и тусклый блеск линолеума в коридорах, свет настольных ламп на сестринских постах и холодную свежесть ординаторской, в которой всю ночь открыты окна. Он лег на диван в ординаторскую, не снимая халата, сбросил лишь тапочки, потому что устал за целый день, набегался и решил



хотя бы немного расслабиться, отдохнуть минутку, так как знал: ночь будет тяжелой, понимал, что Кравец — самый тяжелый больной во всем отделении — не даст поспать. Не дал даже полежать. Прибежала испуганная Таня, и Горбач побежал за ней, туда, где лежал Кравец. У того уже замирало сердце, так, будто его толчки постепенно отдалялись, уходя куда-то под воду. Потом сердце совсем остановилось. Не раздумывая, Горбач начал массаж сердца — своими жилистыми руками он с силой придавливал грудную клетку умирающего, и эти мощные толчки, что приходили извне, не давали крови навсегда остановиться в сосудах. «Делай дыхание!» — крикнул он, и Таня мгновенно поняла его, прижав рот ко рту Кравца, словно целуя его. Горбач приказал вызвать анестезиолога из реанимационного отделения. Вот так и прошла эта суматошная, долгая ночь, в которую трижды останавливалось сердце Кравца, и трижды его запускали, не давали ему замереть, вытгивая тракториста с того света. В эту ночь Таня была самым близким человеком для Горбача, она стала вторым его «я», его продолжением, как бы разветвлением и утончением его жела-

ний, и именно в ту ночь родилось в нем опасное ощущение, будто прожили они рядом тяжелую жизнь, а не одну лишь ночь. Воспоминание о том, как Таня готовила ему кофе, как вытирала пот с его лица, когда он массировал сердце Кравца, теперь Горбача раздражало так, будто она (или они оба!) переступили невидимую границу чисто служебных отношений.

Тов почему после той ночи он избегал встреч с Таней.

На другой день приехала жена Кравца—Вера, которая во время несчастья работала далеко в поле; точнее, она приехала ночью, но Горбач приказал не пускать ее, чтобы не мешала работать, и только утром, когда Кравец еще не пришел в сознание, но его сердце, хотя и слабо, однако пульсировало без остановок, в палату пустили Веру. С того дня она так и осталась в отделении, не отходя от мужа. Круглолицая и тихая Вера помогала санитаркам убирать палаты, мыла полы, разносила еду больным, мыла посуду, за что санитарки разрешали ей спать в коридоре на кушетке возле кладовки, где хранилось белье. Вскоре Кравца перевели в палату Горбача, потому что никто лучше Горбача не делал перевязки: терпеливо, осторожно, ласково, еще и разговаривая с больным, словно с ребенком. Все знали, что у Горбача «легкая рука» — определение, которое не имеет под собой твердой научной основы, скорее мифическое, такое, что держится на вере и внутренней убежденности. Но ничего не поделаешь — точно так же, как все знали, что у доцента Перепелицы, хирурга, причем первоклассного, «тяжелая рука», с больными он обращался с грубоватостью старого резак, покрывавшая на всех свое «Терпи, казак, атаманом будешь!», — точно так же все больные были уверены, что у Горбача рука «легкая».

Цельми днями Кравец беззастенчиво лежал на спине — левая нога была отрезана выше колена, правая — по щиколотку, к тому же были переломы рук и ребер. Исхудавшее тело, желтое лицо, тоска в глазах. Смотря документальный фильм о войне, Горбач поймал себя на мысли, что Кравец намного больше похож на тех, блокедных, госпитальных и окопных, чем на этих — колхозных, конторских, заводских... Вскоре появились зловеющие румянцы, волосы прилипали ко лбу, — это смерть снова оцепывала Кравца, подступив с другой стороны, беря его на измор, истощая его тело лихорадками и осложнениями. Пришел корреспондент из газеты, спрашивавший подробности подвига, но Кравец почти не отвечал, все слова этого парня, такие же, как и он, розовые, ловкие, элегантные и выхолощенные, были далеки от Кравца, словно то высокое небо, куда он хотел взлететь, но не смог, стоя на злосчастном переезде. Именно тогда освободилось одно место в палате, и Вера переночевала рядом с мужем; боясь, что ночью кого-нибудь привезут на это место, она чуть дремала на застланной кровати, прикрыв подушку полотенцем, не снимая халата и не расплетая на ночь косы. Кравец почти не спал ночами, болело все, и ноги жгло огнем, который принес с собой поезд.

С той ночи Вера стала полноправным жильцом мужской восьмиместной палаты: в дни дежурства отделения по «Скорой помощи», когда приходили сестры из приемного отделения искать свободные места, вся палата, не сговариваясь, кричала, что свободных мест нет, и этот фокус несколько раз удавался; от пребывания Веры в палате больные имели и определенную практическую пользу: Вера выполняла их мелкие поручения — покупала кефир или минеральную воду, отправляла письма, иногда вино-

сила судно, если видела, что санитарка замешкалась. Конечно, в отделении быстро заметили неполадку, о нелегальном Верином пребывании в восьмой палате доложили. Липовцевская попыталась проявить служебное рвение, но Горбач посоветовал ей помолчать и не поднимать вокруг этого шум. Он понимал, что вытаскать с того света Кравца может теперь не искусство врача, не новейшие антибиотики, а жена, ее взгляд, ее присутствие — как постоянное напоминание о жизни, о доме, о дочках.

Постепенно, неделя за неделей, жизненные силы возвращались в истерзанное тело Кравца. Горбач, просматривая последние анализы крови, видел, что начался могучий процесс обновления, словно сквозь мерзлую землю весной уже пробивались первые, еще слабые ростки зелени.

Как-то зайдя в восьмую палату, Горбач почувствовал запах табака. Заметил, что Кравец держит правую руку в щели между кроватью и стеной, — оттуда выплывали синеватые нити дыма. Веры не было — побежала на рынок за курицей и яйцами, — и Кравец впервые не застался, а заговорил, попросив у хлопцев закурить, чем безмерно удивил палату: до сих пор он ни к кому не обращался. Случилось так, что вернулась Вера — забыла деньги. Она тоже почувствовала запах табака, вытаскила руку мужа со следами пепла (сигарету он все-таки успел кинуть под кровать) и начала ругаться, но бранила мужа с таким счастливым выражением лица, что руганье ее звучало, как радостная песня. А Кравец улыбнулся (что тоже произошло с ним впервые) и миролюбиво сказал: «Да закрути ты кран, а то, ей-богу, вот встану и поью». Ну, как увидели больные, что Кравец, этот феномен медицины, возвращается к жизни, сразу же начали болтать с ним о всякой всячине, а Вася, известный пустобрех, принялся подначивать Кравца: «Дядько Миколо, а расскажите, как вы тот поезд помолкали? В газетах писали, что от тепловоза ничего не осталось, как налетел на вас. Будете платить теперь штраф Министерству путей сообщения». Кравец, добродушно улыбаясь, рассказывал всем, что теперь он заживет настоящей жизнью, потому что пойдет в пасечники, это его давняя мечта — быть около пчел, слушать, как они гудят в июле, и ведь все ихние привычки знает, потому что его дядька был пасечником, научил Кравца всяким премудростям пчеловодства. И так убежденно он это рассказывал, что все в палате лежало тихо, а некоторым даже казалось, что слышат, как гудят пчелы в ульях, и только Вера не давала разговаривать мужу, цыкала на него, чтобы помолчал, потому что еще неизвестно, захочет ли Мирон Спиридонович поставить его пасечником, и вообще, Кравцу нужно отдыхать; каждое слово утомляло его, вгоняя в пот.

А сегодня, зайдя вместе с Таней делить Кравцу перевязку, Горбач увидел, что в палате полным-полно людей: сидели на краешке соседней кровати напряденно-торжественные две девочки — бенские и круглолицые, как Вера; возле Кравца стоял с виноватым видом мальчик лет четырех. На стульях у кровати сидели мужчина и женщина. Женщина всхлипывала, вытирая глаза кончиком платка, а мужчина смущенно мям в руках кепку. Позади, на третьей койке, словно на галерке, сидели Верина мать в халате, накинута задом наперед на плюшевую jacketку, и Вера. На тумбочке, на свободном стуле и на той кровати, где сидели девочки, лежали яблоки, сало и вяленая рыба на газете, добные булочки, мед в литровой банке. На тумбочке начата бутылка вермута, пустые бутылки из-под сидра.

— Пойдем, — сказал Горбач Тане, — Переведем после.

Шел второй час ночи, а Горбач все не мог уснуть.

Рядом спала уставшая жена. К портниче они не поехали, потому что Горбач вернулся поздно, и жена принялась гладить — в субботу была большая стирка, и кипа чистого белья лежала на диване, терея запах выстиженного, выхоленного полотна. Как и всегда, когда жена гладила, перегорели пробки, и маленький Михася очень обиделся и начал в темноте играть в футбол, а Горбач бродил по квартире, обжигая пальцы спичками, натываясь на мяч, и разыскивал запасные пробки. Как и всегда в таких случаях, Горбач произносил речь о том, что нужно, наконец, что-то делать с этим проклятым утюгом, а жена говорила, что электричество — мужское дело и на то время, когда она гладит, нужно было бы по крайней мере выключать телевизор, радиоприемник, магнитофон и десять ламп, которые неизменно для чего горят постоянно в квартире.

Перед тем, как лечь спать, Горбач вышел на балкон («Не протудись!» — крикнула жена.— Веди ты раздетый!) и долго стоял, прислушиваясь к порывам ветра, в котором уже чувствовалось дыхание первого снега. Он коснулся высохших цветов, легко, как когда-то касался мимозы. Но холодные стебли были жестки и неподвижны. Во дворе было пустынно. Над детской площадкой качалась и поскрипывала лампа, ее слабые лучи бродили по песочной яме. Горбачу почему-то припомнилась одна его больная, угасшая тридцативосьмилетняя женщина, которая рассказывала ему, что часто заходит в «Лилею», покупает цветы и потом идет по улице, торжественно неся их, чтобы все думали, будто эти цветы ей кто-то подарил. Замерзнув, Горбач ушел с балкона.

И вот теперь он не спал, хотя шел второй час ночи, а завтра предстоял тяжелый операционный день: лежал на спине с открытыми глазами и думал: что такое любовь?

Он впервые задумался над смыслом этих слов: ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? — до сих пор он привык размышлять над вещами более конкретными и осязаемыми; вся проблема показалась ему непонятной и запутанной, как вязь формул, набросанных мелом на доске торопливой рукой математика; можно ощутить на пальцах сухое поскальзывание мела, можно стереть эти кривые цифры влажной тряпкой, но нет решительно никакой возможности проникнуть в суть их холодного и абстрактного существования. Горбач тихо рассмеялся, представив любовь в виде аналитических весов, сверкающих сталью, одетых в стеклянный футляр, на одной чаше которых покоится ПРАЗДНИК, а на другой БУДНИ,— и колеблющуюся чуткую стрелку между ними. Но потом иронические рассуждения угасли, и что-то щемящее появилось в мыслях Горбача, грустная нота, словно кто-то неисклюшенный, но настойчивый руживал «Осеннюю песню». Прислушиваясь к дыханию жены, Горбач вспомнил первый их поцелуй, неумелый, застенчивый, тоже осенний,— это произошло на том романтическом мостике, что повис над парковой аллеей и Днепром. В их время это было модное место студенческих свиданий, таинственно украшенное старой киевской легендой о гимназисте, кинувшемся вниз от неразделенной любви. Снова это странное слово: ЛЮБОВЬ.

Почему-то Горбач вспомнил лицо жены за несколько часов до рождения Михася—ее усталый, но полный умиротворенного спокойствия взгляд, ее усмешку,—разговаривая с ним, она, казалось, была далеко, пребывая в ином измерении. Он так и не смог привыкнуть к мысли о том, что в ней бьются

два сердца, которые вот-вот разделятся навсегда, после чего маленькое отпочкованное сердечко начнет свой собственный бег. Это была тайна, не объяснимая никакими лекциями никаких профессоров. В тот вечер, еще не зная, что через несколько часов у него родится сын, Горбач сфотографировал жену. Никогда ни до, ни после того вечера не выходили у него такие фотографии — просветленное и прекрасное лицо жены, словно эти портреты были обработаны особым проявителем, способным высказывать лучше, что есть в человеке.

Горбач приподнялся и поцеловал жену в закрытые глаза.

— Что? Что? — испуганно и сонно спросила она.

— Ничего, ничего, спи.

Вздохнув, она повернулась на бок. А Горбач снова лежал на спине, чувствуя, что не заснет в эту ночь.

...Скакали в Закарпатье кони, да, это было год назад, в марте: еще снег, а вдали сине-сине светится волнистая линия гор. Их было двое, и снег, изорванный в клочья и перемешанный с землей, яростно летел из-под их копыт. Молодой конь, то становясь на дыбы, то вдруг замирая и напрягая шею, вытягивал к возлюбленной свою прекрасную, как будто вырезанную из черного камня голову, бросался затем внезапно в галоп, неся свое обезумевшее тело, словно шаровую молнию. Кони, не замечая никого, безумствовали от счастья, и лишь когда совсем близко подъезжала к ним «Волга», в которой сидели Горбач и профессор Томилин, влюбленные поспали по полю в направлении гор и развлеклись, среди снега, проталин и мартовской мглы, как странный сон.

Горбач, и Томилин, и шофер замерли от сознания чего-то редкостного, невыразимо прекрасного, чего-то такого, что можно увидеть лишь раз в жизни, и, глядя вслед коням, профессор Томилин вдруг заплакал—отчего? От радости? Или от печали? От прощания с собственной молодостью? Или от неосуществимости своих желаний? Или от чувства своей вины перед кем-то? От волнения? Или от произвольного счастья жизни? И слезы старого Томилина потрясли Горбача еще больше, чем то, что довелось увидеть в поле.

г. Киев.

Авторизованный перевод
с украинского
Н. ДАНГУЛОВИ

Ирина Кияшко



Ирине КИЯШКО 19 лет.
Она токарь,
живет и работает
в Магнитогорске.



Над Брестом густые закаты,
А небо хранит тишину.
Наш мир защитили солдаты
И в землю зарыли войну.
Но так это трудно —

поверить,
Что детский разносится смех,
А мальчики в пыльных шинелях
Всего лишь похожи на тех.



Нам так привычно — мир,
И столько лет Победе,
Но только ею наша жизнь полна.
Когда рождались мы,
Ходили в школы дети,
Которым колыбель была война.



В теплом небе полощутся голуби,
Взглядом долгим за ними слежу,
Я горда небывалой гордостью,
Что Магнитке принадлежу.
Мне не зря это счастье выдано —
Быть частицей живого огня.
Я б такое хотела выдумать,
Чтоб и город был горд за меня.
Ветры, ветры горячие, горькие,
Но других у судьбы не прошу.
Я горда небывалой гордостью,
Что Магнитке принадлежу.
Стая в дальнее небо ввинчена.
Мне б за ней полететь поскорей!..
Только сердце навек примагничено
К этой старой вихрастой горе.



Вся жизнь моя мне служит подтверждением,
Что я нужна моей родной земле.
А мир зовет весенним пробуждением,
И сто ветров у века на крыле!

И я явилась, дерзкая, неспрошенно,
С азартом и надеждою в глазах,
И то, что было кем-то предположено,
Мне предстоит всей жизнью доказать.



Посадили птицу за стекло.
Было птице сытно и тепло.
Не слепила пыль ее глаза,
Не ломала крылья ей гроза.

Сберегали птицу от ветров.
Подарили пищу ей и кров,
Спеленали лаской два крыла...
А наутро птица умерла.



Наверно, тучам грозы снятся,
Их мучит тишина.
А я живу, и мне семнадцать,
И жизнь чудес полна.

А люди все — немного тучи
С неясной жадной гроз.
И далеко простор могучий
Открыт до самых звезд.

Мы подросли, такое дело, —
Пришел и наш черед.
А кто-то все черкает мелом,
Напишет и сотрет.

Сотрет и снова нарисует
Себя, тропинку, дом
И небо в клеточку косую,
Где спит весенний гром.



Сотвори улыбку на земле —
Добрым людям так нужна она.
Посади березку на золе,
Той, что нам оставила война.

Помни: жизнь, всем сердцем возлюбя,
Защищать обязан человек,
Помни: на войне и за тебя
Кто-то пал, к земле приник навек...

Владимир Костров



☉

Ах, друзья мои, поэты,
что тоскуем и хандрим!
Вспоминаются конфеты
под названием ландрин.
Школьный компас намагничен
на две риски «Север — Юг»,
И на рынке курс привычен —
за полтинник двадцать штук.
Мне вовеки не просыпать,
так как склеены навек,
помнишь их, Владимир Цыбин,
помнишь, Дмитриев Олег!
Без убытку и обмана,
а с оттенком торжества
доставайте из кармана
разноцветные слова.
И покажется смешно
вся вселенская тоска,
и такою молодою
станет древняя Москва.
Только где, ландрин, найдешь его,
как чертовы рога.
То, что дорого, нам дешево,
а дешева дорога.
Сто монет на бочку выкаатишь,
ста целковыми сверкнешь,
только юности не купишь,
свое детство не вернешь.
Годы бедные, победные,
третьеклашки-сорванцы,
и, как счастье, разноцветные
смешные леденцы!

Сельский вальс

Напомнит время вдруг светло
и беспощадно
вращающийся круг районной танцплощадки.
Нам, первая любовь, давно пора
проститься,
но вновь играет, вновь затертая пластинка.
Нет, это не игра. На патефоне старом
спясть бежит игла по темным капиллярам.
Сюда, на край села, знакомую тропую
нас память привела, опять свела с тобою,
вела вновь запеть и в вальсе закрутила,
и хочется взлететь с дощатого настила,
и облако задеть, поднять свой первый
якорь,
и лет не разглядеть под лампочкой
неяркой.
Не так сбылись мечты, не та пришла удача.
И так смеешься ты, что я сейчас заплачу.

И верится сейчас, что ты меня простила...
Шуршит забытый вальс, возвращается

пластинка.

Но слишком широко, до боли и до стога,
по жизни разошлись круги от патефона.

Кросс

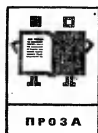
Покрывался наш путь ледяною коростой,
багрятели березы, ложились снега...
Но по-прежнему мы на дистанции красса,
и дистанция эта трудна и долга.
То поет соловей, то заушает Филин,
кое-кто уже кончил, с дорожки сойды,
где-то там, вдалеке, уже видится Финия,
и стоит в черно-белом, с часами судья.
Не скользят уже больше промокшие кеды,
осторожно и точно ступает нога.
А с боков возникают березы и кедры,
то пустыня, то тундра, то степь, то тайга.
И уже на висках серебрястые пряди,
на соперников больше глаза не кося,
этот кросс, обозначенный именем «Правды»,
если только смогу, пробегу до конца.

☉

Запахло свежестью лесной,
в корнях идет брожение,
и возбуждено весной
твое воображение.
Она вошла в тебя, смеясь,
заполнила квартиру,
установив прямую связь
с твоей моделью мира.
И умножится листва
по правилам дельней,
и меж собою говорят
друзья мои, деревья.
А ну, весенний дождь, лупи
по лицам и по рокам
и новый, свежий мир лепи,
а мы тебе поможем.
Веселой мудрости учи
серьезно и беспечно,
чтобы догматики учили,
что в мире все не вечно.
Чтоб с этой мудростью земной
считались непременно.
Весна — меж летом и зимой
большая перемена.

☉

Снова светлой тоской затумянило взор,
и цепляется слово за слово.
Над серебряной речкою бронзовый бор
и гуденье шмеля золотого.
Все приводит к тому, чтоб скорей за селом
по оврагам калина прогорела.
Словно древняя птица с подбитым крылом,
обветшалый ветряк на пригорке.
Лучше августа, может быть, нету поры.
нету чище и трепетней света.
И лежат на полях голубые пары,
голубые пары из вельвета.
Редкий, меланхолический стук топора,
да караковая кобыла,
да с прицепами тянущая трактора
керосина нечистая сила.
Мне уже не вернуться сюда молодым.
Отцвели и завяли герани.
Но отчества легки, березовый дым
чуть горчит и щекочет в гортани.



Александр КУЛЕШОВ

ОЛИМПИЙСКИЕ БЕСПОКОЙСТВА

Глава V

до скорого свидания

ПОВЕСТЬ

В день отъезда Алхимова из Мюнхена состоялась одна незапланированная встреча.

Он собирался на завтрак, когда в дверь тихо постучали.

— Войдите,— произнес Алхимов.

На пороге стояла Наташа.

— Ничего, что я предварительно не сделала звонка?

— Нет, конечно, входите. Но, знаете, здесь не убрано. Так что не взыщите. Сядьте.— Он пододвинул к ней единственное кресло.

— Я ненадолго,— сказала она, устраиваясь поудобней.— Вы ведь сегодня уезжаете, господин Алхимов?

— Да, в пятнадцать часов самолет.

— Мы еще увидимся. Я приду провожать.

— Буду рад, Наташа.

— Но мы увидимся не только там.— Она встала, подошла к нему.

Алхимов почувствовал непонятную тревогу, странную неловкость от близости этой молодой красивой женщины, стоявшей рядом и не мигая смотревшей на него. От нее веяло ароматом незнакомых духов и теплым, вкрадчивым запахом какого-то вина. Они одни в этой маленькой, неубранной комнате... Это их прощальная встреча.

Его охватило волнение. И почти сразу возникла досада. В самом деле, мальчишка он, что ли! Первый раз видит красивую девушку? Он старше ее в два раза, их разделяют многие годы, многие границы. И вообще... бесконечно многое.

— Спасибо за визит, Наташа.— Он повернулся к шкафу, достал оттуда коробку.— Я хочу вас поблагодарить за помощь и внимание.

Наташа молча приняла коробку, неторопливо открыла ее и достала часы-будильник в форме ключа, со стилизованной под старинную вязь надписью «Москва».

Некоторое время она внимательно рассматривала подарок, даже поднесла к уху проверить, тикают ли.

— Они такие же русые и круглые, как я,— заметила Наташа.

Сравнение Наташи с золотистым циферблатом заставило Алхимова улыбнуться. Но она продолжала серьезно:

— А с изнанки черные. Как я. Тело светлое, душа черная. А что значит ключ? От моего сердца или от моих мыслей? Первый уже давно в ваших руках, вы это отлично знаете, а второго никогда не будет...

Алхимов нахмурился. Что за чепуха? Наташа говорила очень тихо. Он приблизил к ней лицо, чтобы лучше слышать. Ах, вон что! Как же он сразу не сообразил? Этот теплый, вкрадчивый запах — это же «гран-марнье», коньячный ликер, который Наташа усильно расхваливала ему на одном из приемов.

— Или вы вручили мне ключ от Москвы?

— Конечно,— вежливо сказал Алхимов.— Приезжайте, мы всегда будем вам рады.

— А вы?

— Я же говорю — мы. И я лично.

— Спасибо, приеду.— Наташа снова села, на этот раз закинув ногу на ногу.— Я как раз хотела сказать, что поступила на новую службу. Я теперь переводчик-референт в Немецком спортивном союзе. Буду сопровождать наши делегации в Советский Союз и ваши, когда они будут приезжать сюда. Борцовские, тяжелоатлетические делегации. Я теперь специалист в этих спортах. Потому что обслуживала их в Мюнхене... Вы довольны? — неожиданно спросила она.

— Очень,— сказал Алхимов,— вы прекрасный работник.

— Может быть, господин Габерман будет брать меня на заседания исполкома. Он очень плохо знает английский, только немецкий.

— Повторяю, я рад. Вы и на исполкоме принесете большую пользу.

Алхимов посмотрел на часы.

— Вы торопитесь,— укоризненно сказала Наташа.— Я ухожу. Но мы будем встречаться.

— Несомненно.

— До свидания,— она протянула Алхимову руку,— до очень скорого свидания...

Через несколько часов самолет Аэрофлота уносил Алхимова в Москву.

Наташа на аэродром не пришла.

Глава VI

споры

Алхимов не мог пожаловаться на жизнь. Он немалого достиг.

Он любил свою работу, ее разнообразие: тренировки и соревнования, заседания ученых советов и комиссии спортивной федерации. У него были друзья, множество товарищей, коллег, учеников.

И только одну печаль носил он в сердце всегда. Память о рано умершей жене. Ему было двадцать пять лет, ей двадцать, когда они поженились. Они прожили счастливо семь лет. Тоже спортсменка, лыжница, она, казалось, могла раздвигать здоровье тем, кому не хватало. А вот поди ж ты — сгорела за один год... Ерундовое пятнышко, родинка, на которую и внимание-то обратила случайно... Недуг века. Алхимов был человеком сильной воли. Но боль осталась и порой давала о себе знать.

— Сорок лет, сынок, сорок лет! — сетовала Евгения Ивановна.— Такой, как Ирочка, может, и не встретишь, но разве мало девушек кругом?

— Перестань, мама,— ворчал Алхимов,— можно подумать, что я Казанова, сплошь дамы вокруг меня, а всех только соблазнию и ни на ком не жажду... Я себе пока спутницу не нашел. Но,— он многозначительно поднимал палец,— надеюсь. И ты не теряй надежды!

Евгения Ивановна недовольно качала головой и на некоторое время отступалась.

Настал наконец день, на который был назначен президиум федерации. Лукомский и Алхимов должны были доложить о работе конгресса АЛФИ.

Незадолго до заседания Лукомский позвонил Алхимову и сказал:

— Вот что, Сергей, теперь член исполкома ты, я думаю, будет правильно, если ты и сделаешь сообщение. Надо будет — добавлю. Так что любые справки, советы, данные — пожалуйста, но доклад за тобой.

— Ну что ж,— сказал Алхимов,— за мной, так за мной.

И принялся за работу.

Члены президиума федерации собирались одновременно: покуривая, обсуждали дела, делились новостями.

Наконец председатель федерации, секретарь и докладчик поднялись на сцену, сели за стол, накрытый красным сукном.

— Товарищи, — начал председатель, — прежде чем приступить к повестке дня, хочу поздравить товарища Алхимова с избранием в члены исполкома АЛФИ.

Все зааплодировали.

— А теперь мы попросим его рассказать нам о том, как проходил конгресс.

Алхимов подошел к трибуне.

Он говорил коротко и сухо. Он всегда так говорил, потому что считал: важны не слова, а дела, и, сколько его ни убеждали, что иной раз слова и есть дела, он с этим не соглашался. Он сообщил расстановку сил на конгрессе, основные проблемы, итоги голосования. Наибольшее внимание уделял деятельности в АЛФИ Лукомского, оценив ее очень высоко.

— Будут ли вопросы? — обратился председатель в зал, когда Алхимов закончил доклад. Некоторое время царил молчание.

Потом в первом ряду поднялся невысокий человек в очках. Это был Немсадзе, известный в прошлом борец, ныне старший преподаватель одного из институтов физической культуры. Кандидат наук, знаток фольклорной борьбы, он написал два учебника, вырастил трех чемпионов мира. При этом отличался крайне неуживчивым, желчным характером.

— У меня вопрос к товарищу Алхимову,— сказал Немсадзе.— Как он представляет себе дальнейшую работу в исполкоме? Что он собирается сделать для развития фольклорной борьбы?

— Во-первых,— ответил Алхимов после паузы,— я намерен продолжать в АЛФИ линию, которую проводил Федор Иванович, то есть советскую линию, и тем самым работать на благо нашего с вами вида спорта. Во-вторых, думаю активизировать деятельность комиссии пропаганды. Добиться принятия наших предложений в технической комиссии. Довести до конца вопрос об исключении ЮАР. Ну и другое. Впрочем, все это лишь конкретная реализация главной задачи.

Поджав губы, Немсадзе сел, но после того, как Алхимов ответил еще на два-три вопроса и председатель объявил прения по первому вопросу открытыми, Немсадзе сразу попросил слова. Он быстро прошел к трибуне, поправил очки и заговорил своим четким, высоким голосом:

— Да простит меня товарищ Алхимов, я отношу не разделяю его восторгов по поводу деятельности Федора Ивановича Лукомского в АЛФИ. Больше того, я считаю ее неудовлетворительной.

В зале зашумели.

— Да! Да! Неудовлетворительной! — продолжал Немсдазе еще громче. — Наш представитель в АЛФИ должен защищать интересы своей страны! Иначе ему там нечего делать. А что мы увидели на прошедшем чемпионате мира? Моего борца нашего борца явно засуживают, а он, будучи членом апелляционного жюри, при разборе советского протеста молчит. Исполком обсуждает списки судей высшей категории, а он вставляет в списки арбитров, которые неизменно топят советских борцов. Не думаю, что так должен действовать советский представитель в исполкоме!

После первых же слов Немсдазе Алхимов вскипел. Внешне это не было заметно, он только чуть побледнел, да губы совсем сжались в ниточку. Лукомский, наоборот, покраснел, он удивленно смотрел на оратора, изредка недоверчиво встряхивая массивной головой.

Сдерживая нетерпение, Алхимов прослушал еще четырех ораторов, высказавших различные пожелания новому члену исполкома.

Наконец Алхимову было предоставлено заключительное слово, и он ринулся в бой.

— Меня удивило выступление товарища Немсдазе, — заговорил он резко. — Я думал, давно миновало время, когда наши тренеры без конца бегали к советскому члену исполкома и морочили ему голову, вопя о справедливости. Когда наш борец проигрывал, то виноваты всегда были «тайные сговоры врагов», «необъективные судьи» и так далее и тому подобное. Все и вся, кроме самих тренеров. И ведь что интересно: чем хуже был тренер, тем больше он кричал. Лучшие занимались другим — искали корни неудач, работали и добивались успехов. Я думал, что все это в прошлом. Насколько мне известно, наши тренеры — я имею в виду лучших — давно уже винят в неудачах себя и своих воспитанников, а не мифических врагов и гадких судей. Но выступление товарища Немсдазе показывает, что я ошибся. Кстати, напоминаю, что не бывает «советского представителя» в исполкоме, есть член исполкома из Советского Союза, который по уставу отнюдь не представляет в исполкоме свою страну; он является международным деятелем, проводит нашу спортивную политику, тем самым защищая интересы СССР и поднимая авторитет нашего спорта, а не торгуется из-за каждой мелочи. Удивительно, что обо всем этом не ведет такой крупный спортивный теоретик и практик, как товарищ Немсдазе.

В зале нависла тяжелая тишина, и председатель потопорился перейти к следующим пунктам повестки дня.

Последним вопросом было утверждение состава сборной страны. Тренеры поработали на совесть и комплектовали действительно надежную дружину. Однако и здесь возник спор, на первый взгляд чисто технический.

Речь шла о Родимцеве.

Владимир Родимцев представлял собой даже в Советском Союзе — стране, богатой борцовскими талантами, — настоящий феномен. Он словно родился для борьбы. Начав заниматься ею еще в армии, быстро добился звания мастера спорта по самбо, овладел всем арсеналом борцов вольного и классического стиля, успешно испробовал силы в дзюдо, став чемпионом республики. Но полностью нашел себя в фольклорной борьбе, где в первый же год стал чемпионом страны, а в последующие два года — чемпионом Европы и мира. Он был бесспорным лидером сборной.

Но, к сожалению, заболел. Той болезнью, от которой не застрахован, увы, самый здоровый чемпи-

он, — болезнью, получившей образное и точное название «звездной».

Сначала заболевание проходило почти незаметно: как-то опоздал на тренировку, потом тренеру показалось, что его воспитанник выпил, однажды Родимцев отказался поехать на второстепенные соревнования, сказав, что он «выше этого». Признаки болезни стали множиться, привык кто-то не делал: тренер оказался плохим врачом и заболел лишь о том, чтоб никто ничего не узнал. Тем более, что на спортивных результатах Родимцева болезнь не отражалась, он по-прежнему оставался непобедимым.

А недавно Родимцев со своей девушкой и большой компанией приятелей отправился в ресторан отмечать очередную медаль. Он, конечно, пригласил и тренера. Тренер, как всегда, отказался, но и не стал препятствовать, хотя знал, что приятели наверняка доставляли домой после подобных празднеств своего кумира в невменяемом состоянии.

Торжества происходили в «Арагви», в отдельном кабинете. Поднимали тосты, восхваляли «величайшего борца всех времен и народов», пели. Потом Родимцев вдруг заявил, что если б захотел, то и в тяжелой атлетике стал бы чемпионом.

— Хотите, стол подниму? Одной рукой!

Кто-то из приятелей усомнился:

— Ну уж одной!

— Не веришь! Ха! Смотри! — вскричал Родимцев. И, схватив тяжелый стол за ножку своей могучей рукой, попытался его приподнять. Оглушительно грохоча, полетела посуда, на полу образовалась живописный натюрморт из шашлыков, цыплят-табака, кроваво-красных птен «Мукузани» и бледно-желтых «Гурджани». Причавшиеся официанты и метрдотель были выброшены Родимцевым в коридор. Он обвинил их во «вмешательстве во внутренние дела». Позвали милицию. Одного милиционера Родимцев, схватив за ремень, тоже выставил за дверь. Зато другой, хотя и не заслуженный мастер, но все же перворазрядник по самбо, после тяжелой схватки скрутил чемпиона — сказали несколько бутылочек вина и бутылка коньяка, выпитые Родимцевым за вечер.

Не успели дебошира увезти, как приятели развернули энергичную деятельность. Поднятый с постели среди ночи, тренер сел за телефон. Во все концы помчались ходатаи. Наутро подключилась тяжелая артиллерия. Никогда еще милиция не подвергалась такой осаде.

В конечном счете с помощью ходатаев и меценатов скандал был кое-как потушен.

А шло как раз комплектование сборной.

— Товарищи, — заявил Реутов, председатель судейской коллегии, — я не могу не высказаться своего возмущения подобными фактами. Родимцев подводит нас всех, он, видимо, воображает, что ему все позволено, поскольку он чемпион. Я категорически настаиваю на суровом наказании: предлагаю вызвать его на президиум, объявить порицание и дисквалифицировать на три месяца. Условно, — добавил Реутов после паузы.

— Да ты кто, шутник?! — вскричал Лукомский, когда ему предоставили слово. — Порицание! Может, его в угол поставить или лишить десерта? Родимцев должен отвечать за свои поступки. И его тренер, между прочим, тоже: не цапцался бы с ним, ничего бы не произошло. Это же позор! Чемпион страны, мира устраивает драку в ресторане!

— Вот именно — мира! — закричал с места Реутов. — У нас их единицы. Можно все-таки чуткость проявить!..

На трибуну поднялся Немсадзе.

— Поступок Родимцева, — заявил он, — бесспорно заслуживает осуждения. Я считаю, что это результат непростительных педагогических ошибок тренера. И думаю, что тренера следует наказать — он не может далее носить звание заслуженного тренера. Думаю, что и с Родимцева надо снять звание заслуженного мастера. Но в сборную включить. Самое главное, товарищи, для нас — престиж советского спорта, его победы, его успех. Дисквалифицировав Родимцева, мы ослабляем нашу сборную, снижаем ее шансы победить на предстоящем чемпионате. А этого допустить никто не имеет права. Победа — главное!

— Я поражаюсь, — начал свою речь Алхимов, — выступлению товарища Немсадзе, кандидата педагогических наук. Подчеркнуто — педагогических. Если б завтра на ковре один из борцов ударил другого в челюсть, вы бы, товарищ Немсадзе, наверное, возмутились...

— Особенно, если бы стукнули его воспитанника! — подал реплику кто-то из зала под общий смех.

— ...Почему же, — продолжал Алхимов, — вы считаете, что нарушать законы борьбы нельзя, а советские законы — можно? Ведь то, что сделал Родимцев, это преступление, злостное хулиганство, нападение на работников милиции во время исполнения ими служебных обязанностей! Ему за это положено сидеть в тюрьме.

— Он чемпион! — вскричал со своего места Реутов. — Чемпион! Он добыл славу нашему спорту! В его честь звучал наш гимн, флаг поднимался! Его знает весь мир!

— Вы слышали? — Алхимов сделал паузу. — Родимцев чемпион, а значит, может себя вести иначе, чем все. Всем драться нельзя, ему можно. Почему? Потому что он — чемпион... Что ж, победа — его награждали. Провинился — подлежит наказанию. У нас чемпионская медаль не индульгенция, не отпущение всех прошлых и будущих грехов. Если мы простим Родимцева, что подумают миллионы ребят-физкультурников и его болельщики? Раз, мол, ты чемпион, тебе все дозволено! А должно быть наоборот: чем выше твое звание, тем больше с тебя спрос.

— Я предлагаю компромисс, — опять взял слово Немсадзе. — Мы включим Родимцева в сборную, но снимем с него звание и потребуем, чтобы он написал в «Советский спорт» письмо с признанием своей вины.

Дискуссия продолжалась долго. В конце концов незначительным большинством было принято предложение Немсадзе.

Опустила стекло, подставив разгоряченное лицо свежему ветру, Алхимов вел машину по опустевшим в этот час улицам Москвы.

У него остался неприятный осадок. Он злился на Немсадзе за несправедливые нападки на Лукомского, а еще больше — за ханжеское решение, принятое в отношении Родимцева. Он вновь задумался о сложности стоящих перед ним задач. Да, быть членом исполкома большой международной ассоциации не пустяк. Тут придется столько ломать голову, столько сражаться...

Машина двигалась вдоль бульвара. Поредевшие по осени деревья слегка блестели в холодном свете фонарей, облитые мелким дождем.

Завтра предстоит новый день, полный хлопот, встреч. — Алхимов любил такие напряженные дни, считал их настоящей жизнью.

Каждое утро он отправлялся в институт. Даже когда не было занятий. Но сегодня его как раз ждал урок. Входя в зал и оглядывая заставший ряд красивых, стройных ребят и девчат (а в спортивных костюмах они все виделись ему красивыми), Алхимов испытывал чувство гордости за свою причастность к воспитанию этой замечательной молодежи. Он гордился их молодостью, свежестью, бодростью, их спортивными достижениями.

Успехи институтских команд на районных, городских соревнованиях или первенствах «Буревестника» он принимал очень близко к сердцу. А работников международного отдела Спорткомитета замучил требованиями, чтобы с делегациями за рубеж отправляли переводчиками лучших спортсменов-старшескурников.

Словом, работа на кафедре служила для Алхимова неизменным источником радости. Зато вторая половина нынешнего дня никаких причин для хорошего настроения не добавила.

Проделав долгий, сытный путь по дождливой Москве, Алхимов прибыл во Дворец спорта ЦСКА, где тренировалась сборная, — на него возложили контроль за подготовкой команды. И первое, что он увидел: ухмылявшийся Родимцев лениво слушал своего тренера, что-то горячо и просительно толковавшего ему.

Алхимов окинул взглядом большой светлый зал. На коврах, разбившись на пары, тренировались борцы. Старший тренер сборной Миношвили, высокий, сухой, неторопливо ходил, делая короткие замечания. Он был мрачен, и Алхимов сразу догадался, почему: в стороне, поджав губы, стоял Немсадзе. Он тоже контролировал подготовку сборной, но в отличие от Алхимова беспрестанно вмешивался,правлял, давал указания, советы. Причем, как правило, оказываясь прав — он действительно был первоклассным специалистом и — уж если откровенно — большим, чем Миношвили. Однако в старшие тренеры идти не хотел, предпочитая ограничиваться советами и критическими замечаниями. Разумеется, Миношвили это не нравилось!

К Алхимову подбежал тренер Родимцева и радостно сообщил:

— Согласился. Сегодня же напишет. Я сейчас ему проект подготовлю... — Но, поймав взгляд Алхимова, торопливо отошел.

Тем временем сам Родимцев приступил к тренировке, и Алхимов залюбовался, с какой паразитической чистотой, с какой виртуозностью проделывал он каскад сложнейших приемов, как готовил атаки, как молниеносно и экономно двигался. Он не делал ни одного лишнего движения, его чувство дистанции, его координация казались фантастическими. Алхимов вглядывался в лицо Родимцева и читал на нем вдохновение. Родимцев высказывался, чувствовалось, что он испытывает высокое наслаждение, что борьба для него — это песня, в момент схватки он словно несется на крыльях.

И, вспоминая наглую ухмылку Родимцева, которую видел несколько минут назад, Алхимов не мог поверить, что перед ним один и тот же человек. Какая жалость! И какое же ничтожество этот тренер... Самому лучшему тренеру, если он плохой педагог, грош цена.

Алхимов обратил внимание на сложнейший бросок, который провел Родимцев и который никак не удавался другим борцам.

— Ну как уважаемый член исполкома, — услышал он за спиной ехидный голос Немсадзе, — как вам нравится бросочек?

— Блестяще! — не мог удержаться Алхимов.

— Блестяще. Верно. А получит он за него сколько Три балла? Увы, два.

— За такой бросок? — удивился Алхимов. — Но это же, можно сказать, высшая трудность. Почему же только два?

— Согласно правилам АЛФИ, членом высокоавторитетного исполкома которой вы имеете честь состоять.

— Правила, между прочим, можно и изменить, — проворчал Алхимов.

— Конечно, конечно, — поддержал Немсадзе, — только трудно предлагать изменение правил, за которые только что проголосовал.

— Кто голосовал? — неуверенно, чувствуя подвох, спросил Алхимов.

— Вы голосовали, уважаемый делегат конгресса.

— Когда?

— Недавно, в Мюнхене. Вы ведь вместе со всеми делегатами конгресса подняли руку, когда утверждался доклад президента. Так?

— Ну так, но...

— А в докладе содержались предложения по правилам. Немного, конечно, но было, в частности, и то, о котором идет речь. Проголосовали за доклад, значит, и за правило. Так-то, — Немсадзе помолчал и зло добавил: — Не хотели президенту перепоручить — вдруг не выберут!

Выйдя из дворца, Алхимов некоторое время стоял, подставив голову мелкому, холодному дождю.

Прав Немсадзе, прав. На этом конгрессе главной задачей было пройти в исполком, не следовало накалять обстановку, сориться с президентом. А они, эти ребята? Которые изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год проливают пот на тренировочном ковре, получают порой травмы, мучаются, сгоняя вес, отказывают себе во многом, соблюдают драконский режим! У этих ребят он своей беспринципностью отнимает плоды их труда. Ведь один недобраный бал, недоцененный прием, возможно, лишил борца золотой медали, на завоевание которой уходят годы тренировок! Так для чего же он, Алхимов, сидит в исполкомском кресле! Разве не для того, чтобы лучшие из них заслужили награды?

Нет, он, наверное, все-таки непригоден для такого поста. Тут нужны другие люди, а не он...

Алхимов сел в машину, включил мотор и некоторое время ездил, задумчиво глядя, как «дворники» ритмично очищают ветровое стекло.

Теперь он ехал в Спорткомитет, куда их вместе с Лукомским вызвал заместитель председателя: познанили какие-то вопросы по отчету. В приемной Алхимов узнал, что Лукомский прибыть не сможет: у него неожиданное дело.

Настроение Алхимова, и без того не блестящее, при этом известии испортилось окончательно. Он ни минуты не сомневался в том, что Федор Иванович отсутствует не случайно. Может быть, он хочет подчеркнуть, что член исполкома теперь — Алхимов, с ним и разбирайтесь? Или предполагает, что у Алхимова есть о чем поговорить с зампредом наедине и нечего им мешать?

Зампред — молодой, энергичный, приветливый — встал из-за стола, пожал Алхимову руку, еще раз горячо поздравил с избранием, пересел в кресло напротив, показывая тем неофициальность беседы.

Он долго и подробно расспрашивал Алхимова об обстановке на конгрессе, выяснял его мнение о членах исполкома. Алхимов сразу понял, что зампред хорошо знает АЛФИ и расспрашивает не столько для того, чтоб узнать что-то новое, сколько для того, чтоб проверить, насколько эту обстановку знает сам Алхимов.

И Алхимов неожиданно для самого себя вдруг заявил:

— Знаете что, по-моему, я не гожусь для этой работы. Да, да! И час назад убедился в этом лишь один раз... Честно говоря, очень сожалею, что в свое время не отказался от вашего лестного предложения.

Лицо зампреда изменилось. Теперь в его глазах не было приветливости. Они смотрели на Алхимова с холодным удивлением.

— Простите, Сергей Сергеевич, — сухо сказал зампред, — вы не могли бы подробнее обосновать свой вывод? Я считаю вас серьезным человеком и полагаю, что вы тщательно подумали, раньше чем прийти к такому заключению.

И тогда Алхимов начал горячо излагать эпизод в борцовском зале. Рассказал о виденном, об упреке, справедливым упреке Немсадзе, о своих размышлениях, о своей трусливости, как он определил ее сам, позиции на конгрессе... Он чувствовал, что все это звучит несерьезно, даже немного истерично, злился на себя, а оттого говорил еще более горячо и сбивчиво.

В конце концов он замолчал, проклиная себя на чем свет стоит за то, что дал волю настроению, что опять не сумел сдержаться и что вообще ведет себя, как мальчишка.

«Что скажет зампред?» — с тревогой думал он.

Зампред не стал церемониться.

— Меня нелегко удивить, товарищ Алхимов, — сказал он, — но вам это удалось. Я моложе вас, и у меня меньше опыта, но мне никогда бы не пришло в голову рассуждать так, как вы. Конечно, методы работы в международных организациях могут быть разными у наших представителей. Одно у них общее — бескомпромиссность по принципиальным вопросам. Но нельзя же путать бескомпромиссность с упрямством... В АЛФИ надо проводить свою линию умно и искусно. Это же дипломатия! Возьмите хоть ваш пример. Ну, хорошо, вы там со всеми поссорились бы, ни в чем не уступили. И что? Предложение по правилам, о котором вы упоминали, не прошло бы? Все равно ведь прошло. А вот если бы не были бы избраны в исполком, это действительно имело бы для наших спортсменов отрицательные последствия. — Зампред улыбнулся, положив свою руку на руку Алхимова и веселым тоном закончил: — Будем считать, что поговорили, Сергей Сергеевич, учтите, мы много ждем от вас. Придет время, вы еще станете президентом АЛФИ, попомните мое слово.

Они поговорили несколько минут о перспективах предстоящего вскоре в Париже заседания исполкома. Кабинет зампреда Алхимов покинул успокоенным. Просто слишком много волнений: конгресс, президиум федерации; нужна была нервная разрядка. Теперь он опять в форме.

Глава VII

очередной исполком



Алхимов прилетел в Париж утром, устроился в небольшой, довольно скромном отеле в двух шагах от Больших бульваров и отправился гулять по городу. Заседание исполкома начиналось лишь завтра.

На аэродром его отвезла Тамара. Это стало традицией. Куда бы он ни улетал, Тамара, даже если

в это время они были в ссоре, заезжала за ним на своем «Москвиче» и отвозило на аэродром. Алхимов шутил, что, когда наступает час спортивных подиумов, смолкает зvon оружия.

Тамара презрительно фыркала, услышав заезженную шутку, но радовалась, как и он, что есть предлог помириться. Их отношения тянулись давно и никому, в том числе, наверное, и им самим, не были понятны.

Врач по специальности, Тамара работала в научно-исследовательском институте физической культуры. У нее самой был в свое время первый разряд по прыжкам в воду.

Алхимов не интересовался ее возрастом. «На полпути от тридцати к сорока, — как-то сказала она, — дальше, чем на полпути». Но выглядела она молодо и казалась бы еще моложе, если бы не держалась подчеркнуто строго. Редко улыбалась, тихо говорила, любила темные тона.

Они познакомились года два назад на каком-то симпозиуме, оказались в одной рабочей группе, подружились, начали встречаться и сами не заметили, как стали близки. Никто из них ни разу не сказал другому «люблю», не позволил себе спрашивать о личной жизни другого, а тем более хоть как-то распоряжаться этой личной жизнью. Они встречались раза два-три в неделю, бывали в театрах, на выставках, у ограниченного круга близких друзей, иногда он оставался ночевать у Тамары.

Евгения Ивановна, сначала живо заинтересовавшаяся новой подругой сына, обрадовалась: «Хорошая девочка, серьезная, вот бы вам с ней, Сереже...» Но непонятный для нее характер отношений Тамары и сына постепенно насторожил ее, потом разочаровал и, наконец, подвергся с ее стороны молчаливому осуждению. Она делала вид, что Тамара не существует, тем более что к Алхимову та заходила очень редко.

Ссорились Сергей и Тамара часто. У него характер был вспыльчивый, у нее, пожалуй, тоже. Оба любили самостоятельность, отличались резкостью и неуступчивостью. К счастью, оба были умны и честны. Поэтому неправый в конечном счете изыскивал предлог помириться, а правый делал вид, что победы не одержал. Так и тянулась эта связь, доставлявшая обоим много приятных и немало горьких минут. О перспективах ее они не задумывались или делали вид.

Лишь один раз, летом этого года, когда отправились вместе отдыхать в Прибалтику, произошел разговор об их отношениях.

Они лежали на юрмальском пляже, укрывшись от прохладного ветра шатким сооружением из ковьев и полотенец и устремив глаза в чистое синее небо. Ветер доносил слабый запах хвои.

Глядя на загорулую Тамару, Алхимов улыбнулся: — А что, Томка! Красивая мы пара! Кто ни пройдет — оборачивается.

И тогда, неожиданно не поддержав шутки, она заметила:

— Пара? Нет, мы с тобой две единицы, вот ты, а вот я.

— Но вместе-то мы пара, — возразил он.

— Ты думаешь?..

— А ты нет?

Она промолчала.

Тогда он приподнялся на локте и спросил уже с вызовом:

— По-моему, из двух единиц нельзя сделать пару?

— В математике можно.

— А в жизни?

— И в жизни можно. Только это уж твоя забота. Теперь промолчал он.

Тамара, легко вскочив на ноги, позвала:

— Пошли в воду. — И побежала к морю.

Алхимов побегал за ней.

Потом они еще долго лежали на пляже, купались в невозможной холодной балтийской воде, сидели на террасе пляжного буфета, попивая пиво с соевыми хлебцами.

Все было как обычно — весело, легко, и к разговору этому они больше не возвращались; казалось, Тамара забыла о нем. Но он не забыл. Пришло это на память и сейчас, вдалеке от золотистого юрмальского песка, гудящих высоких сосен и спокойного мелкого моря.

Алхимов понимал, что рано или поздно их отношения должны стать иными или прекратиться, понимал, что Тамара никогда не заговорит об этом первая, а просто уйдет из его жизни без сцен и трагедий, но твердо и окончательно.

Он все понимал, а решиться ни на что не хотел. При его характере это было непривычно, неприятно, мучительно.

Алхимов вздохнул. Вот придет на этот раз домой и все решит!

На следующее утро первым, кого он увидел, подходя к дому, где помещалась французская федерация фольклорной борьбы, оказалась Наташа.

Не рассчитав времени, он приехал чуть не за полчаса до начала заседания. Над городом, гонимые ветром, торопливо плыли равные облака, то и дело начинал лить дождь, потом затихал и снова начинался.

Алхимов не хотел являться первым, ему казалось, что это будет выглядеть нелепо. Он заскочил в небольшой магазин стандартных цен и некоторое время бесцельно бродил мимо полок, уставленных хозяйственными товарами, дешевыми сумками, посудой, автомобильными принадлежностями... И неожиданно увидел ее.

Наташа стояла под аркой дома напротив, засунув руки в карманы короткого белого дождевика, расставив ноги в черных, сверкающих сапогах выше колен. Она стояла с непокрытой головой, русые волосы блестели от дождевых капель. Она упрямо наклонила голову, прислушиваясь к тому, что ей настойчиво внушал широкоплечий человек в серой шляпе. Алхимову показалось, что Наташа не соглашается со своим собеседником, но почему-то не хочет спорить, а просто упрямо, по-детски надувшись, молчит.

Наконец человек посмотрел на часы, что-то совсем уже резко сказал Наташе и ушел. Она осталась стоять под аркой, не меняя позы, не глядя вслед уходившему. В какой-то момент тот поправил шляпу, и тогда на мгновение стали видны его волосы огненно-рыжего цвета...

Алхимов нахмурился. Где он видел этого человека?..

Наташа покинула наконец арку и медленно направилась к дому федерации. Алхимов нагнал ее.

— Здравствуй, Наташа, — сказал он шепотом, беря ее под руку.

Она вырвала руку, обернулась, а глаза отразили страх. Потом лицо ее просияло.

— О господи, как вы меня напугали!

Неожиданно она прильнула к нему. И тут же отстранилась.

— Простите, — сказала тихо. — Вот мы и увиделись снова. Это потому, что я работаю у господина Габер-

мана. Как хорошо, что он не знает иностранных языков и имеет нуждальность в переводчике. Да?

— Да, конечно.— Алхимов улыбнулся.— А где он сам-то?

— Уже там. Они все уже там,— объяснила Наташа,— просто я выбегала за сигаретами.

— За сигаретами?

— Да, а что? — В глазах ее мелькнула тревога.

— Ничего,— успокоил ее Алхимов,— пойдите. Выходит, они тут давно, а я думал, раньше всех придут...

В старинном тесном лифте они поднялись на пятый этаж.

Члены исполкома уже сидели за большим столом, уставленным бутылками воды, стаканами и пепельницами. В комнате горел свет: оба окна выходили на застроенный двор.

До начала заседания было еще целых три минуты, и Алхимов стал обходить стол, здороваясь с присутствующими.

Первым вопросом, который надлежало рассмотреть исполкому, был Кубок мира.

Его историю Алхимов подробно рассказывал Лукомский.

Кубок придумал Рот. Президент, понимая, что ничто не вечно под луной, что настанет день, когда он в лучшем случае покинет по старости свой пост, а в худшем случае вообще — бренный мир, решил еще при жизни поставить себе памятник. Сначала будут проводить Кубок мира, а потом, по настоятельному предложению очередного конгресса — разумеется, против желания скромного президента, — Кубок получит наименование Кубок Рота. И увековечит его имя.

— Мы-то за,— объяснял Лукомский.— Кубок мира, Рота, Лукомского, черта-дьявола, не в этом дело. Важно, что будет утверждено всемирное, так сказать, состязание, во-первых, интересное само по себе, во-вторых, уж наверняка способствующее пропаганде нашего спорта.

— Ну, так за чем же дело стало? — спросил Алхимов.— Из документов видно, что мы возражаем.

— Возражаем. Верно,— продолжал свои объяснения Лукомский,— потому что в том виде, в каком Рот предлагает проводить этот Кубок, получается полный бред!..

— То есть как бред?

— Рот хочет, чтобы в розыгрыше Кубка участвовали сборные команды континентов! Представляешь картину: сборная Европы против сборной Австралии! Вся встреча — пять минут. Ну, сколько потребуется самому слабому в европейской сборной, что положить первого номера австралийской — пять секунд, десять? Да и несправедливо это: по существу, сильнейшие фольклористы мира пока сосредоточены в Европе. Заметь — пока! Если настает время и сборные континентов окажутся равноценными,— пожалуйста. Но когда это еще будет! А сейчас такая формула Куба сведет на нет всякий интерес к нему, вызовет справедливое недовольство спортсменов и недовольство болельщиков.

— А мы что предлагаем?

— А мы — и не только мы — предлагаем, что Кубок разыгрывали, скажем, четыре или пять сильнейших команд, которые определяются по предстоящему первенству мира. Логично?

— Логично,— раздумчиво произнес Алхимов.

И вот теперь, изучив досконально вопрос, собрав материал и солидно подготовившись, он излагал аргументы, некогда подсказанные ему Лукомским.

— Кто еще хочет выступить? — спросил Рот. Он

сидел, нахмурившись, глядя на бумаги, разложенные перед ним.

Слово взял чех Поспишил. Он поддержал Алхимова.

Больше никто говорить не пожелал. И тогда заговорил сам президент.

— Выступление моего русского коллеги меня немного удивило,— сказал Рот, устремив на Алхимова взыскательный взгляд.— Если я правильно понял, его формула Куба исключает участие в нем представителей всех континентов, кроме Европы. Я почему-то думал, что советский представитель против дискриминации...

— Господин Алхимов, господа Поспишил,— взял слово Лундквист,— вы же отлично понимаете, что только при континентальной формуле розыгрыша Куба в нем смогут участвовать африканские или, скажем, латиноамериканские команды. Иначе Кубок превратится в привилегию европейцев, станет, по существу, чисто европейским мероприятием, да и проводиться будет всегда в Европе. Где же пропаганде нашего спорта на других континентах?

— Во-первых, господа Лундквист,— возразил Алхимов,— вы, что же, считаете, что, если африканских или латиноамериканских спортсменов европейские борцы будут в два счета класть на лопатки где-нибудь в Найроби или Лиме, это будет хорошей пропагандой нашего спорта в Африке или Латинской Америке? А, во-вторых, что касается дискриминации, то я действительно против. Во всех видах. Не только расовой, но и спортивной. И не вижу оснований ради малооправданных рекламных целей лишать лучших спортсменов мира возможности бороться за почетный трофей.

Кончилось тем, что обсуждение перенесли на следующее заседание. Ряд вопросов был решен очень быстро: утверждена прибавка к жалованью технического секретарю в связи с общей инфляцией, утвержден новый образец нагрудного знака для судей международной категории, в список допингов внесено новое (большинство доселе неизвестное) стимулирующее средство, получившее широкое распространение в США.

Президент сообщил, что в январе по приглашению национальных олимпийских комитетов, побывает в Чехословакии, Советском Союзе и Монголии. Затем был устроен перерыв. Остался один вопрос — ЮАР.

Первым заговорил Алхимов.

— Господин президент,— сказал он и встал, подчеркивая тем самым важность предстоящего заявления,— вы сегодня обвинили меня в том, что я не борюсь против дискриминации. Постараюсь вас разубедить — вновь предлагаю исключить ЮАР из нашей ассоциации. По-моему, ясно, что действия федерации этой страны находятся в кричащем противоречии с нашим уставом.

— А из чего это видно? — неожиданно спросил Лусак.

— Мы имеем письма от спортивных деятелей ЮАР, между прочим, и от белых, от африканских борцовских клубов этой страны, из которых яствует, что небелых борцов не допускают к соревнованиям национального масштаба, не включают в национальные команды и так далее.

— Да не занимайтесь у них черные борьбой,— вновь перебил Лусак.

— Не занимайтесь — может быть,— возразил Алхимов.— Действительно, классическая и вольная борьба там не особенно распространена. Но в фольклорной борьбе коренные жители посылать белых. Это же факт.

— Господа,— заговорил Рот,— я тщательно иссле-



давал эту проблему. Мне понятна тревога нашего друга Алхимова. Но, поверьте, нет никаких оснований для беспокойства. Президент федерации борьбы в ЮАР — а у них, как вы знаете, все виды борьбы объединены в одну федерацию — заверил меня, что черное... простите, коренное население не занимается борьбой, никакой, в том числе и фольклорной...

— А вы читали устав этой федерации? — спросил болгарин Дончев.

— При чем тут устав? — Рот пожал плечами.

— Почитайте, почитайте... И потом, почему у них все виды борьбы объединены? — настаивал Дончев.

— Ну, это уж их дело... недовольно поморщился Рот, — объединены же борьба, бокс, тяжелая атлетика в Италии... Продолжаю. Вы, господин Алхимов, справедливо заметили сегодня, что возражаете против всякой дискриминации, не только расовой, но и спортивной. Я тоже. Почему ради надуманного пункта о включении в национальные команды ЮАР черных, которые не занимаются, как мы все знаем, фольклорной борьбой, нужно исключить из спортивной жизни белых борцов этой страны? Они-то в чем виноваты?

Рот торжествующе посмотрел на Алхимова. Так смотрит боксер, отправивший противника в нокаунт и уверенный, что нокаунт превратится в нокаут.

Все молчали, молчал и Алхимов. Он оценил силу удара.

Неожиданно Дончев предложил:

— Господин президент, надо послать туда представителей исполкома и на месте убедиться. А то их президент, с которым вы беседовали, мне не внушает большого доверия...

— Так же, как их «спортивные деятели», на которых ссылался Алхимов, — перебил Лусак. — Я согласен — надо создать комиссию. Готов войти в нее.

— Ну что ж, — подхватил Рот, — это правильно... У нас есть предложение Дончева и Лусака о создании комиссии. Предлагаю и включить в комиссию. А третьим... третьим... пожалуй, нашего генерального секретаря. Вы не возражаете, Лундквист? Ну, вот и отлично! Пусть комиссия свяжется с Национальной федерацией ЮАР, съездит туда и представит отчет на следующий исполком. Все согласны? Возражений нет? Итак, решено. Последний вопрос — время и место очередного заседания. Предлагаю Алжир, в дни чемпионата мира будущего года, который там состоится.

— Господин Алхимов, подошел к нему Лусак после заседания, — исполком разъезжается, гостеприимство остается. Завтра я устраиваю в честь президента, вас и Габермана обед на Эйфелевой башне. Остальные уезжают. Заодно и поговорим. — Он многозначительно сжал Алхимову локоть.

Верный себе, Алхимов дошел до отеля пешком и лег спать. А в пять часов утра его разбудил телефонный звонок.

Звонила Тамара.

— Спишь, небось, — сказала она ясным, четким голосом, словно говорила из соседней комнаты. — Прости, другого часа не давали, у нас сбежало, у тебя пята.

— Молодец, — стараясь сделать вид, что прснулся, преувеличенно бодро закричал в трубку Алхимов, — считать умеешь! У вас сбежало, у нас пята.

— Как дела? — спросила Тамара светским тоном.

— Отлично. Деловая программа закончена. Культурно прожужжало.

— Правильно. — Она помолчала. — Когда обратно?

— В пятницу. Ты встретишь?

— Не задерживайся, Сережа! — Теперь она говорила очень тихо, он еле слышал ее, или это что-то на линии?

— Алло! Алло! — кричал он. — В пятницу буду. Что-нибудь случилось? Тебя плохо слышно.

— Ничего не случилось, — снова прозвучал ее близкий, четкий голос. — Давай скорей приезжай, — она опять помолчала, — а то случится.

— В чем дело, Тамара? Что ты говоришь? Повторяю, буду в пятницу. Ты встретишь?

— Встречу, встречу, не беспокойся! И вообще не обращай внимания. У меня хандра. Ты мне нужен, вот и валяю дурака.

— Три минуты, — раздался безликий, металлический голос телефонистки, — заканчивайте разговор!

И, как всегда бывает в таких случаях, они оба заговорили сразу, пребывая друг друга, спеша. Потом в трубке щелкнуло, и наступила тишина. Алхимов посмотрел на часы — пятнадцать минут шестого. Звонок расстроил его. Странно как-то говорила Тамара. Не похоже на нее. Что там произошло? Он вдруг остро почувствовал, как ему не хватает Тамары. С ее невозмутимостью, даже сухостью, в одни минуты, с ее легкой насмешливостью, весельем — в другие, с безудержной, всегда радостно удивлявшей его страстью — в третьи, столь редкие...

Он понял, что больше не заснет. Очень медленно встал, сделал зарядку, принял душ, поспирялся. Спустился вниз, где уже вкусно пахло кофе. Позавтракал в одиночестве, перекинувшись парой фраз с ночным портье.

...Обед состоялся в знаменитом ресторане на первом этаже Эйфелевой башни. Никто не спешил, как, впрочем, и официанты. Лусак расхваливал вина, блюда, Париж, мудрость Рота, характер Габермана, эрудицию Алхимова, красоту Наташи.

Рот наклонился к Алхимову и стал жаловаться на тяжелые обязанности президента. Потом перешли к последнему заседанию, заговорили о Кубке мира, о ЮАР, приводили вновь и вновь каждый свои аргументы.

Неожиданно Рот сказал:

— Но, дорогой Алхимов, нельзя же всегда оказываться правым: это не дано ни вам, ни мне. Так стоит ли спорить без конца? Знаете, в древние века существовал хороший обычай: сходились две армии, а дрались только их вожди. Сбросил я вас с седла — моя армия победила, вы меня — победила ваша. И кровопролития меньше, и время зря не надо тратить.

— Обычай удобный, — усмехнулся Алхимов, — только вот насколько он отражал объективную правоту сторон?

— Ну, знаете, — в свою очередь, усмехнулся Рот, — объективная правота всегда относительна.

— Вы так думаете? — Алхимов иронически посмотрел на своего собеседника.

— Уверен. Да не в этом дело... Рот вдруг стал серьезным. — Знаете, чем оканчивается миссия наших коллег в ЮАР, что они предложат исполкому?

— Наденю, предложат исключить ЮАР из АЛФИ.

— Возможно... а возможно, и нет. Но я берусь предсказать их ответ со стопроцентной точностью... — Рот налил себе вина.

— Ну, господин президент, вы, оказывается, еще и ясновидец! — перебил Алхимов.

— Я убежден, — без улыбки продолжал Рот, — что они-таки предложат исключить ЮАР, если... — Он замолчал и не спеша стал пить вино.

— ...если! — поторопил его Алхимов.

— если, — твердо сказал Гот, ставя на стол заветный бокал, — если вы поддержите мою формулу Кубка мира. Гарантирую вам это.

Алхимов молчал, устремив взгляд в широкое окно, за которым сияло небо. Теперь понятно, к чему весь этот обед.

— Если я вас правильно понял, господин президент, — заговорил он, — вы предлагаете вернуться в древние века. Зачем вовлекать в борьбу целые армии, когда все могут решить в единоборстве их вожди?

— В единоборстве или в разумном соглашении, — произнес Рот.

— Не получится. И знаете, почему? Потому, что есть вопросы, в которых компромиссы невозможны...

— Есть такие вопросы? — насмешливо спросил Рот.

— Есть, господин президент, представьте себе. Ну, и потом, — Алхимов сделал паузу, — и потом для меня-то в чем здесь смысл? Я ведь в обоих случаях одержу победу.

— Ну, знаете, дорогой Алхимов! — Рот улыбался, но чувствовалось, что он с трудом сдерживается. — Вы очень уверены в себе!

— Это тоже. Но прежде всего, господин президент, я верю в здравый смысл. И еще в справедливость. И, конечно же... — он вежливо улыбнулся, — в вашу мудрость.

Рот хотел что-то сказать, но в это время к ним повернулся Лусак.

— Я чувствую, что вы опять спорите, наверное, продолжаете заседание исполкома!

— Каждый из нас старается доказать другому, что тот ошибается, — вяло откликнулся Рот.

— Великолепно! Вы знаете, что по этому поводу сказал Марсель Ашар? Он сказал: «Лучше ошибаться со всеми, чем оказаться правым в одиночку!» Прощаясь, теперь уже до следующего исполкома, Лусак крепко обнял Алхимова.

— Вы хороший парень, Алхимов, честное слово, вы мне нравитесь! Чувствую, мы подружimsя, хоть еще не раз расквасим друг другу носы!

Лусак выпил больше, чем следовало, слегка опьянел, а потому легко умилялся.

Рот попрощался с Алхимовым сухо; несмотря на все выпитое, он был совершенно трезв и явно недоволен разговором. Излишне раскрылся. Не считал...

Габерман, раздумавшийся, улыбающийся, долго ждал Алхимову руку, словно горячо за что-то благодарил. Наташа, прощаясь, сказала по-русски:

— Сергей Сергеевич, если я смогу приехать до следующего исполкома в Москву, туристкой, мы сможем увидеться?

— Конечно, Наташа, я покажу вам...

— Не надо мне ничего показывать! — Она досадливо отмахнулась. — Я спрашиваю: сможем ли мы увидеться по-настоящему?

— Что вы имеете в виду? — не понял Алхимов.

— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду.

Алхимов не успел ответить: Габерман потянул Наташу за рукав. Она нужна была ему, чтобы попрощаться с Ротом.

Утром Алхимов улетал в Москву.

Париж снова принакрылся дождливой пеленой, серыми, пухлыми облаками. Зажуткая в синий дождевик стюардесса распахнула дверь в стеклянную стену, и пассажиры суеулыной толпой, словно им

могло не хватить места в самолете, устремились к огромным синим автобусам.

Поднявшись по трапу, Алхимов обернулся последним раз.

И вдруг в конце террасы он увидел знакомую фигуру. Наташа стояла неподвижно, черные, сверкающие, выше колен сапоги плотно облегали ноги, ветер прилепил к телу короткий дождевик; русые волосы, четко очертив силуэт виска и щеки, образовали с другой стороны головы трепещущий золотой шлейф...

Глава VIII

в Москве

Машина Тамары стояла у подъезда аэровокзала. Алхимов торопливо перебежал тротуар и забрался в машину.

— Ну, как? — спросила Тамара, включая зажигание.

Алхимов подробно рассказал о том, что произошло за эти дни.

У них была такая привычка: не виделись ли они день или неделю — подробно докладывали друг другу обо всем.

— Эдакие устные дневники, — шутила Тамара. Алхимов ценил, что она искренне интересовалась его делами, переживала, возмущалась, радовалась, огорчалась.

А вот ее дела интересовали его значительно меньше, и он делал над собой усилие, чтобы внимательно слушать ее рассказы. Пока что ему удавалось обмануть ее — она ничего не замечала. Вот и сейчас, выслушав и прокомментировав его рассказ, она сама с увлечением повествовала о какой-то своей работе в лаборатории.

Он удивимо кивал головой, цокал языком, иногда прерывал вопросом или возгласом, а сам, полностью отключившись, думал совсем о другом.

— Ага, — услышал он ее голос, пробившийся сквозь его мысли, — теперь ты внимательно слушаешь, теперь ты заинтересовался. Да! Вот так!

— Что так? — растерянно спросил Алхимов.

— Ах, ты-таки ничего не слышал, — Тамара метнула на него быстрый взгляд. — Что ж повторяю — я уезжаю.

— Уезжаешь?

— Слушай, Сережа, я не выношу, когда у дорогого мне человека глупый вид. Как у тебя сейчас. Я же сказала тебе и повторяю — мне предложили очень интересное, а главное — перспективное место в Сибирском академгородке. И я уезжаю туда совсем.

— Ты что, с ума сошла? — вскричал Алхимов.

— Почему? — Тамара говорила деловито, не отрывая взгляд от вечерней улицы. Она хорошо водила машину, быстро, но внимательно и осторожно.

— Я делаю тебе другое предложение — выходи за меня замуж. — Он сказал это так спокойно, словно предложил вместо цирка поехать в театр.

— Надо подумать, — так же серьезно ответила Тамара, продолжая внимательно следить за дорогой, — выбрать, что перспективнее.

Теперь в ее голосе звучала откровенная ирония.

— Мы не поедем в цирк, мы поедем к тебе, — потребовал он. — Поворачивай!

— Уже повернула, — сказала она тихо.

Они приехали к ней, поднялись в квартиру, сняли пальто. И за все время не произнесли ни слова.

Продолжая молчать, прошли в комнату. Тамара накрыла стол, принесла чайник. Но за стол так и не сели.

Тамара опустилась в кресло, устремила задумчивый взгляд в беззвучно полыхавший электрический камин, не оборачиваясь, пошарила по стене рукой, включила магнитофон, погасила верхний свет. И так в полумраке большой комнаты, освещенной лишь алыми всполохами камина, они надолго застыли, погруженные каждый в свои мысли.

Внезапно Тамара стремительно выпрямилась, встала, сделала музыку громче.

Она подошла к Алхимову и заговорила, как всегда неторопливо, деловито.

— Вот что, Сергей, я подумала над твоим предложением. И решила подождать. Не спорь! Пока подождать. Ты еще не созрел его делать, а я принимать. Мы оба еще не созрели. Давай подождем. Нам и сейчас неплохо, да? Когда-нибудь, может быть, скоро, вернемся к этому разговору. Если тебе трудно, я сама это сделаю. Договорились?

— А как же Академгородок? Или ты все придумала?

— Я не придумала, Сергей. Это правда.

— Ты должна отказаться!

— Я сразу отказалась.— Она невесело улыбнулась.— Неужели ты думаешь, что если б я согласилась, то стала бы советовать? Я бы просто уехала...

Он подошел к ней, обнял за плечи...

Вскоре он уехал в командировку в Ленинград.

Вернулся Алхимов через два дня.

«Красная стрела» приходила все-таки довольно рано. Тамарин «Москвич», разумеется, ждал на привокзальной площади. Как всегда, Тамара отвезла Алхимова домой.

— У нас сегодня собрание,— сказала она, прощаясь,— так что вряд ли увидимся, но я позвоню. Ты ведь будешь дома?

Алхимов действительно собирался провести этот день дома и уже предвкушал, как займется делом, которое его сейчас очень увлекало. Он работал над новым спортивным словарем. Работал, к сожалению, лишь урывками: свободного времени оставалось все меньше. Он отчаянно боролся за это свободное время, урывал от сна, отказывался от рецензий и мелких статей, уплотнял, как мог, рабочий день... а времени становилось все меньше.

— Изводишь ты себя, сынок,— неодобрительно качала головой Евгения Ивановна,— выбери главное и занимайся, а все остальное — прочь.

— Эх, мама,— вздыхал Алхимов,— если бы всегда знать, что главное... Да и главных-то много. Ничего, мы сдюжим! Верно?

— Верно, верно,— соглашалась Евгения Ивановна, но в голосе ее уверенности не было.

Приняв душ, позавтракав, Алхимов с наслаждением уселся за письменный стол и погрузился в работу.

— Меня нет. Только если Тамара,— попросил он мать, указывая на телефон.

Время близилось к обеду, когда Евгения Ивановна, приоткрыв дверь, неторопливо сказала:

— Тебя женщина, по-моему, Тамара.

Это была единственная форма неодобрения, которую мать позволяла себе в отношении Тамары. Когда та звонила и говорила: «Здравствуйте, Сережу, пожалуйста»,— Евгения Ивановна сухо отвечала на приветствие и звала сына: «Тебя женщина, по-моему, Тамара»,— подчеркивая тем самым, что Тамара не более, чем любая другая женщина, которая мо-

жет ему звонить. Иногда она даже ошибалась — звонила вовсе не Тамара, а кто-то другой, и Алхимов так никогда и не мог понять, действительно ли она спутала или хотела показать, что Тамарин голос ей не очень-то знаком.

Идя к телефону, Алхимов недовольно поморщился. В конце концов Тамара отлично знала его планы на сегодня, свидание им не предстояло, так чего звонить? Однако он сдержался и, взяв трубку, спросил ласково:

— Я слушаю, Тома. Соскучилась?

— Соскучилась,— услышал он низкий голос,— но я не Тома. Я Наташа. Вы уже забыли, как меня зовут?

Алхимов не сразу пришел в себя от удивления. Вот уж кого он меньше всего ожидал услышать! — Наташа?

— Да. Почему вы удивлены? Я же предупреждала, что приеду.— И вдруг заговорила быстро, словно боясь, что их прервут: — Я завтра уезжаю, Сергей Сергеевич, у меня только этот день. Пожалуйста, увидимся, я вас очень прошу. Пожалуйста. Я уже три дня в Москве, но мне сказали, что вы уехали. Я не телеграфила, хотела сделать сюрприз. Пожалуйста!

— Конечно, конечно, Наташа.— Алхимов вздохнул, он понял, что рабочий день не состоится, словарь снова в сторону. Но не мог же он Наташе, прилетевшей впервые в Москву за тридевять земель, отказать в свидании, которое она так просит. И потом... честно говоря, ему совсем не было в тягость это свидание.

— Вы где остановились? — спросил он.

— Мы в отеле «Россия».— Она опять затормозилась.— Мы уже все посмотрели, все применительно. Все видели. Я хочу просто повидать вас. Не надо мне ничего показывать. Можно мы пойдем пообедать? Потом погуляем? Можно? — Наташа запнулась, но все же нерешительно добавила: — У меня есть свои деньги и...

Алхимов весело рассмеялся:

— Ах, есть! Ну тогда другое дело, тогда можно увидеться, а то я боялся, что мне придется платить за обед. Но раз у вас есть деньги...

Наташа спросила:

— Когда мы можем увидеться?

— Я заеду к вам в гостиницу через час и позвоню снизу. Вы в каком номере?

Наташа назвала номер и добавила:

— Я жду, Сергей Сергеевич. Только, пожалуйста, приезжайте. Вы не обманете?

— У меня нет такой привычки,— он нахмурился,— ждите.

Через час он звонил Наташе из вестибюля гостиницы. А еще через пять минут она выбежала из лифта и бросилась ему на шею. Алхимов смущенно огляделся. Он не ожидал столь горячих приветствий.

Алхимов не сразу почувствовал какую-то неуловимую перемену в ее облике. Наконец сообразил. Он привык воспринимать Наташу юной девушкой, без косметики на лице, с безыскусной прической. А сейчас перед ним стояла красивая молодая женщина, с небрежной лишь на первый взгляд, а в действительности тщательно продуманной прической, с чуть тронутыми синевой веками и ресницами. И вяло от нее зрелой волнующей женственности.

Наташа слегка покраснела под его внимательным взглядом.

— Пошли,— сказала она и взяла его под руку.

За обедом Алхимов поинтересовался, что она будет пить. Наташа спросила:

— А что любят русские?
— Русские любят Россию, а вот что любите вы?
— А я люблю русских,— ответила Наташа и с восторгом посмотрела на него.

Алхимов смутно припомнил, что когда-то уже был подобный разговор. Его начала раздражать несколько искусственная, как ему показалось, преувеличенная веселость Наташи, будто она выполняла заранее наметенную программу, с предусмотренными шутками, смехом, репликами, даже жестами и взглядами. Впрочем, это было вполне объяснимо: она впервые в России, с человеком, который ей нравится (смешно закрывать на это глаза), впервые она с ним не в роли девочки-переводчицы, а в качестве приглашенной им дамы, за которой не грех и поухаживать.

Наташа рассказала ему, что приехала по «туру» — четыре дня в Ленинграде, четыре в Москве — и ужасно жалко, что он только сегодня вернулся, у них всего один этот день и — она замыслась — вечер. При этом Наташа бросила на него многозначительный взгляд, заставивший Алхимова задуматься.

Она бегло перечислила все, что успела повидать в Ленинграде за четыре и в Москве за три дня (иные ленинградцы и москвичи успевают увидеть столько за всю жизнь), очень подробно изложила, сколько ей стоили различные статьи этой поездки, и снова намекнула, что у нее есть «свои» деньги. Затем не менее подробно рассказала о работе у господина Габермана.

И все время Алхимова не покидало ощущение, что Наташу совсем не интересует то, о чем она говорит: он чувствовал, что за всем скрыт некий второй смысл.

Закончив долгий обед, они вышли на свежий воздух. То, что они увидели, оказалось неожиданным. Над Москвой разрылся обильный снегопад. Вся улица укрывалась белым ковром, на котором машины оставляли черный сыпучий след. Медленный, мягкий, невесомый снег безостановочно, неслышно опускался с небес, размывая контуры домов, скрывая прохожих...

Наташа замерла, очарованная. Она вдруг перестала болтать и смеяться, притихла и восторженно смотрела, не могла насмотреться.

— Я хочу за город, в лес,— тихо сказала она.— Можно?

Ненадолго она опять превратилась в девочку. Алхимов медленно повел машину по заснеженным улицам Москвы, выехал на кольцевую дорогу, свернул на широкое шоссе.

Остановились у березовой рощи и, не заглушив мотора, вышли из машины. Последние лучи холодного зимнего солнца пробили где-то за лесом снежные тучи и пронзили березняк, окрасили его в золотистые, медные, бронзовые тона; протянулись синие тени. Внезапно, как по команде, снег идти перестал, и на несколько минут все засверкало, заискрилось, застыло в сказочной неподвижности. И тогда Наташа, бовшавшаяся, наверное, словом нарушить чарующую, тугую тишину, неожиданно тихо заплакала.

Она плакала почти беззвучно, лишь изредка негромко шмыгая носом; слезы медленно скатывались по ее побледневшим круглым щекам.

Алхимов не мешал ей плакать. Ему делалось грустно. Он представил себе Наташину тоску, ее мечты, желания, раздвоенность... А может быть, он ошибался?

— Если б я захотела остаться, я бы могла! — спросила Наташа.

Он понял ее.

— Почему же нет...

— Мне надо было бы просить политического убежища?

Алхимов улыбнулся.

— Да нет, Наташа, не надо, захотели бы — и остались. — Он обнял ее за плечи, и она тяжело прижалась к нему.

— А что б я делала, как жила?

— Как все. Работали бы, наверное, вышли замуж.

— За кого?

Он опять улыбнулся.

— Не знаю, но надеюсь, что за хорошего человека.

— Я ведь никого не знаю здесь... только вас.

— У вас быстро завелись бы и друзья, и подруги, и наверняка поклонники. У такой-то красавицы.

Он посмотрел на нее. В Наташиных зрачках отражались белые березы, белые сугробы, белое небо, оттого, наверное, ее серые глаза казались печальными.

— Мне холодно, поедем? — Наташа зябко поежилась и торопливо направилась к машине.

Они еще некоторое время катились по загородным дорогам, потом по вечерней Москве, полюбовались ее огнями со смотровой площадки на Ленинских горах и наконец отправились в гостиный.

Алхимов довел ее до двери номера и хотел попроститься. Неожиданно Наташа сильным движением потянула его за собой и закрыла дверь. Сбросив на пол шубу, она крепко обняла его.

— Не уходите,— бормотала она,— пожалуйста, не уходите... останьтесь... Ну, останьтесь до завтра. Я ведь уеду... Мы, может быть, никогда не увидимся... Пожалуйста, останьтесь...

Алхимов с усилием развел ее руки, зажег свет и усадил в кресло.

— Вот что, Наташа, если хотите приехать сюда навсегда, я буду вам другом и во всем помогу. И на испуках мы будем встречаться и, конечно же, дружить. Но, хотя вы очаровательная женщина, к которой не может остаться равнодушным ни один мужчина, и я в том числе, никаких иных отношений у нас быть не может. Давайте раз и навсегда поймем это. Договорились?

Наташа сидела в кресле, подобрав ноги, вся сжавшись, и с тоской смотрела на Алхимова.

Когда он замолчал, она спросила вновь:

— Вы не можете остаться?

— Зачем? — спросил Алхимов холодно.

— Вы же понимаете... — Наташа горько улыбнулась. — Вы даже не представляете, что вы делаете, пробормотала она, словно разговаривала сама с собой, — не представляете. Я умру из-за вас, умру...

Он ехал домой в отвратительном настроении. Как-то бред! Эта девочка, приехавшая ради него в Москву... И он тоже хорош! Не пресек все это в самом начале. Не видел он, что ли, не замечал? Ему, видите ли, lystило, приятно было ее внимание, ее детская влюбленность. Стыд! Просто стыд! Девочка — она и есть девочка. Да еще впервые здесь, одна.

Казня себя, ругая, испытывая к Наташе тоскливую жалость, ехал Алхимов домой по сыпучим улицам.

Рано утром его разбудил телефонный звонок. Стрелки на часах показывали семь.

— Простите, что так рано, Сергей Сергеевич, — услышал он низкий, но ясный и четкий голос Наташи. — Я звоню с аэродрома, уже зовут в самолет. Я хотела попросить у вас прощенья за вчерашнее. Вы во всем правы, и вы джентльмен. — Ему показалось, что в голосе ее прозвучала насмешка. — Но вы еще не все знаете. Я ужасная женщина. Подлая. Пожа-

луиста, Сергей Сергеевич, не перебивайте, я тороплюсь. Простите меня. Придет время, вы поймете, и уж не знаю, тогда простите ли. А сейчас, прошу вас, постарайтесь. Спасибо вам за все. Прощайте.

Алхимов протер глаза, посмотрел в окно, где чернею зимнее утро. Нет, с Наташей не соскучишься, это определенно. Такие, между прочим, и кончают самоубийством. Тьфу, черт, что за дуряцкие мысли!

Он вскочил, открыл окно, схватился за гантели...

Тамара позвонила в девять.

— Ты же не хотел вчера выходить. Евгения Ивановна сказала, что тебя вызвали в институт. Случилось что-нибудь?

Ох, эта мама!

— Да так, чепе местного значения, — пробормотал Алхимов. — Как у тебя-то дела? Сегодня вечером увидимся?

— Конечно.

Тамара, когда у него бывали волнения, заботы, неприятности, действовала на него всегда успокаивающе. Не ахала, не охала, не сюсюкала, была деловой и бодрой, сразу переводила все из сферы эмоций на рельсы практических действий. Что как раз и требовалось таким людям, как Алхимов.

Как хорошо все-таки, что есть у него Тамара!

Глава IX

обычные хлопоты

В Алжире советские борцы, как и все другие участники первенства мира, поселились возле стадиона, а Алхимов в отеле «Урасия», где жили члены исполкома.

Когда заканчивалась утренняя программа соревнований и все разъезжались на отдых, исполком начинал главную работу.

Накануне вечером у Алхимова состоялся разговор с Дончевым.

Высокий, со впалыми щеками, редко улыбающийся, Дончев был одним из наиболее работоспособных членов исполкома.

— Так вот, — начал он без предисловий, — комиссия наша съездила в ЮАР, была там десять дней. Выводы не ясны.

— То есть как — не ясны? — удивился Алхимов. — Вы что же, за все это время ничего не узнали?

— Узнали. Собрали много фактов, даже написали отчет, а вот выводов нет.

— Почему?

— Потому что, как в вашей крыловской басне — шука, лебедь, кто там еще? Каждый тянет в свою сторону. Я категорически за исключение ЮАР, Лундквист категорически против, а Лусак — неизвестно. Так что нет мнения большинства.

— Странно.

— Да, для тех, кто не знает Лусака. А для меня все ясно. Он свой голос хочет обменять. Но вот на что и с кем, неизвестно.

— И какой же вы представите доклад?

— Такой и представим, если в последнюю минуту Лусак не присоединится к той или иной стороне.

— Да, — Алхимов покачал головой, — интересно, что он задумал...

Об этом он узнал следующим утром, в день заседания. Лусак сам пришел к нему.

— Доброе утро, Алхимов! — вскричал Лусак и продолжал по-французски: — Так? А? Как мои успехи в

русском языке? Теперь вы понимаете, почему я за то, чтобы его приняли в АЛФИ? — Он громко захохотал и тут же стал серьезным. — Так вот, Алхимов... — Лусак присел на край стола, хотя в номере было много кресел. — Сегодня рассматривается вопрос об исключении ЮАР. Комиссия подготовила доклад, но не вывод...

— Знаю, — перебил Алхимов.

— Знаете? — удивился Лусак. — Откуда? Ах, ну да... Впрочем, тем лучше. Значит, вы знаете и то, что официальное решение комиссии об исключении зависит от моего голоса?

— Допустим, — сказал Алхимов.

— Допустить тут нечего. Это ясно. Так вот, на исполком я препишу вам подарок — проголосую за исключение ЮАР. Это будет бомба!

— Господин Лусак! — Алхимов, улыбаясь, смотрел на своего собеседника, но в его светлых глазах таился обычный холодок. — У меня ведь день рождения не скоро. За что ж подарок?

— Ну, во-первых, я искренне считаю, — но это страшная тайна, и я делюсь ею только с вами, — что этих мерзавцев надо гнать из АЛФИ, они действительно фашисты, а мы с вами не для того воевали против фашизма в Европе, чтобы он оставался в Африке. И, во-вторых...

— Вот-вот, — усмехнулся Алхимов, — во-вторых?..

— Во-вторых, — Лусак стал серьезным, — я надеюсь, что вы вспомните мой скромный дар, когда речь пойдет о поисках нового президента АЛФИ. — Он помолчал. — Не вижу причин не быть с вами кровными.

— Господин Лусак, — так же серьезно сказал Алхимов, — вы же делаете подарок не мне, а АЛФИ этим вашим разумным поступком. И это значит, когда пойдет речь об оценке деятельности членов исполкома...

— И все же хочу вам сказать, — проворчал Лусак, — что я делаю это прежде всего из-за вас... — Он помолчал. — Не р а д и вас, а именно и з-з а а с...

— Спасибо, — сказал Алхимов.

Но Лусак уже затворил за собой дверь.

Обсуждение вопроса о ЮАР, который многие считали самым главным и острым на этом заседании исполкома, неожиданно заняло очень мало времени.

Сначала слово предоставили председателю специальной комиссии АЛФИ Лундквисту, который начал короткий, как всегда, но исчерпывающий доклад о поездке, где приводились и аргументы Дончева.

— Третий член комиссии, вице-президент АЛФИ Лусак, своего мнения пока не высказал, потому и нет официального мнения комиссии, — закончил свое выступление Лундквист.

Рот восторженно посмотрел на Лусака.

— Позже, — сказал Лусак.

Затем слово взяли Поспишил и Алхимов. Они тоже говорили недолго. По существу, лишь ознакомили присутствующих со своими досье. Очень резко говорил Бутака, потребовавший от имени африканских стран немедленного исключения ЮАР. Против высказался Дельфорж.

— Мы слышали мнения и за и против, — подытожил дискуссии Рот, — нет смысла голосовать. Тем более, что у нас нет принципиального мнения комиссии, к которому, будь оно, мы бы, разумеется, все присоединились...

— Такое мнение есть, — неожиданно громко произнес Лусак, — я считаю, что ЮАР следует исключить за расовую дискриминацию. — Выдержав паузу, он продолжал: — Теперь вам известно мнение ко-

миссии, господин президент. Поскольку вы сами сейчас сказали, что к мнению комиссии присоединились бы все, и вы в том числе, думаю, вопрос решен. Остается утвердить решение на конгрессе.

Наступила тишина.
Лицо президента медленно наливалось краской. Лундквист с подчеркнутой старательностью записывал слова Лусака в протокол. Дельфорт возмущенно фыркнул...

— Господин президент,— нарушил молчание Попшиил,— все ясно, я предлагаю перейти к следующему вопросу, у нас впереди большая повестка дня.

Рот с неавидностью посмотрел на Лусака, небрежно открывавшего бутылку минеральной воды.

— Итак,— сказал он глухим голосом,— исполком представит на следующий конгресс предложение об исключении ЮАР. Господин генеральный секретарь, оформите решение в протоколе.

На следующий день, в короткий обеденный перерыв, к Алхимову явился Коля, прилетевший в качестве переводчика команды. Он принес документы от руководителя советской спортивной делегации.

— Шикарно живете! — Коля с восхищением осматривал номер. — И в уборной телефон, во дают! — Он вышел на балкон. — Два бассейна в отеле, а море в пяти шагах!

— Два? — рассеянно спросил Алхимов (он разбирает присланные документы). — Я не видел второго.

— Есть, там, где маленький бар. Я туда случайно попал, заблудился. Наташа эта — помните, переводчица габермановская? — чуть в воду не свалилась! — Он захохотал.

— Наташа? — Алхимов отложил бумаги. — Разве она приехала? Ведь Габерман запаздывает.

— Приехала, приехала,— продолжал Коля,— забрел я в этот закуток — ни души, бармен — и тот спит, только она и еще какой-то рыжий паренёк сидят у бассейна, шепчутся. Я как гаркнул: «Товарищ Ванц, физкультуривте!» Поверите, Сергей Сергеевич, она вскопчила, стул опрокинула и чуть в бассейн не хлопнулась. Аж побелела вся! Умора.

Алхимов задумчиво смотрел в окно. Странно! Наташа приехала раньше Габермана, отдельно; не позноила, как обычно. Может быть, обиделась после Москвы...

Он вновь принялся за бумаги.

Встретились они на следующий день, на заседании. Наташа подошла к Алхимову, пока Габерман был занят разговором с Лундквистом.

Она была в коротком сером — под цвет глаз — платье без рукавов, и сочетание загорелого лица с молочной белизной рук, шеи, ног выглядело забавно.

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич, почему вы улыбаетесь? Ах, это! Я каталась две недели на лыжах, в горах. Вот лицо и загорело. Надеюсь, здесь загорит остальное.

Она говорила необычно сдержанно и ровно, и в глазах ее Алхимов почувствовал обреченность.

Алхимов не мог знать о разговоре, который произошел накануне.

— «Кончай валять дурака, ясно?» — раздраженно говорил Наташа рыжий человек, крепко сжимая ее колено. — Тебя никто не уговаривал, сама наприсилась, больше заработать хотела. А мы зря денег не платим. Ты его уже сколько времени знаешь! А где результат?»

«Я же не виновата, если он...» — вяло оправдывалась Наташа. — Ну не нравилась я ему!»

«А ты сама-то случайно не влюбилась? А?» — Мужчина еще сильнее сжал ей колено.

«Больно...» — вырвалось у Наташи.

«Словом, так,— сказал рыжий.— У тебя еще пара исполкомов впереди. А потом пеняй на себя. У меня тоже сначала есть, и я неприятностей не хочу.»

«А нельзя другого кого-нибудь?»

«Нельзя! — резко перебил он.— Они выбрали именно АЛФИ. Может, потому что Алхимов — новичок, может, из-за Рота. Он ведь бывший полицейский. Так что давай работай. Ясно?»

Поднимаясь к себе в номер, Алхимов оказался в лифте вместе с рыжим мужчиной, лицо которого показало ему смутно знакомым. Рыжий вышел раньше и через минуту звонил в номер Рота.

Рот открыл дверь не скоро. На столе стояла полупустая бутылка виски, ведро со льдом, сифон.

— Ну, что надо? — проворчал Рот.

— Слушайте, господин Рот.— Рыжего не смutil прием, он расположился в кресле, закурил.— Вы нам плохо помогаете. Ведь ЮАР-то исключили. Это же удар по вас, по вашему престижу.

— А что я мог сделать?

— Не понимаю! — возмутился рыжий.— Приходит в исполком новый человек, ничего еще в этом деле не понимает. Неужели нельзя его изолировать, скомпрометировать, наконец!.. Когда вы работали в полиции, господин Рот, вы действовали решительнее.

Рот неторопливо налил виски в стакан, залпом выпил, непослушными пальцами застегнул воротник рубашки. Повернулся к рыжему.

— Вот что, вы! Я президент всемирной ассоциации! Всемирной! Я согласен, президент — прежде всего политик, а в политике одними белыми перчатками не обойдешься. Но я не бандит с большой дороги, подобно вам!.. Не перебивайте! Я согласен с тем, что в чем помочь вам, а вы мне. У нас есть общие интересы. Но эти ваши русские дела — уж не знаю, какие... Может, вам не нравится, что они вас выкинули к чертовой матери из своей страны, — вы и решайте с ними сами. Но не забывайтесь! Вы кто? Шваль безродная! А я, я... президент всемирной ассоциации. Вот так!

Рыжий растерянно молчал.

— Так что, пока наши интересы совпадают, — уже спокойно закончил Рот, — мы союзники. Добровольные. Но никто ничего требовать не может. Как вы действуете — ваше дело. А я президент всемирной ассоциации. — Он с удовольствием повторял эти слова. — И главное для меня в конце концов спорт.

— Вы меня не так поняли, господин Рот... — Рыжий изменил тон.

— Я вас отлично понял. Мне рекомендовали вас мои старые друзья из полиции, верно. Я их рекомендации не мог не верить. Но, боюсь, они обиделись. И с этого момента прошу меня больше не беспокоить...

Рот тяжело опустился в кресло.

Рыжий еще минуту смотрел на этого грузного человека, на его пуговичный нос, могучие, рассеченные вспухшими венами руки, на стакан виски, который тот держал в руке. Он слышал его хриплое, тяжелое дыхание.

Президент... Рыжий стремительно вышел из номера, яростно хлопнув дверью.

Южная тяжелая звездная ночь опустилась над Алжиром, над морем, портом, над общежитием, где спали борцы, съехавшиеся из многих стран на этот чемпионат, — кто победивший, кто проигравший, кто полный радости и надежд, а кто досады и сожаления, но все одинаково далекие от отеля «Ура-си», влюбленные в свой спорт и убежденные, что единственное мерило побед и поражений — честная и бескомпромиссная борьба на ковре...

Глава X

неприятности

В Москве Алхимов энергично принялся за новое дело. Ему, председателю вновь созданной комиссии пропаганды АЛФИ, предстояло наметить ее состав, структуру, обязанности, планы... Алхимов предложил создать музей истории фольклорной борьбы, рассказать о ее разновидностях во всех странах. В музее могли бы разместиться картины, скульптуры, рисунки.

Алхимов в качестве председателя комиссии разослал во все национальные федерации фольклорной борьбы письма с просьбой прислать в штаб-квартиру АЛФИ литературу, фильмы, экспонаты и фото для музея. Он сделал это еще до утверждения плана исполкомом АЛФИ, уверенный во всеобщей заинтересованности. И даже не мог предполагать, какие неприятности на него навлекут эта бурная и, как казалось ему, полезная деятельность.

Новый, 1975 год он с Тамарой по давней традиции встречали на даче, в маленькой компании.

Алхимов находился в блаженном состоянии. Словно полсотни снежных километров, протянувшиеся между городом и дачей, освободили его от забот и дел. Потрескивание дров в камине, причудливая пляска огненных язычков, слабый смолотый запах, разлитый в комнате, и, наконец, предвкушение уютного застолья создавали ощущение покоя и легкости.

Алхимов по характеру не был ни пессимистом, ни бездумным оптимистом. Когда речь шла о делах, он тщательно все продумывал и, приняв решение, действовал энергично и целеустремленно. Подобное отношение к жизни гарантировало от малодушия, растерянности и паники, хотя оставляло не слишком много места для веселья и беззаботности.

Однако сегодня все виделось в радужном свете. И последние недоразумения с Тамарой казались ему нелепыми. У Тамары что-то не ладилось с научной работой. Она стала раздражительной, похудела и все чаще жаловалась на усталость.

«Мне наша жизнь с тобой, Сергей, надоела. Может быть, сейчас так кажется, потом пройдет. Но, честно говоря, я не получаю от нее радости», — сказала она однажды. «Мы можем ее изменить!», — ответил Алхимов, глядя ей в глаза. «Не можем. Ты сам отлично знаешь, что не можем. Пока, во всяком случае. Или уже...»

Алхимову это казалось странным. Они же любят и понимают друг друга; в конце концов им вместе хорошо. Чего же еще! Ну, есть у каждого работа, неприятности, настроения, но все это чехура, два умных и чутких человека всегда могут наладить отношения, избежать всего, что может их поссорить.

Тихо звучала музыка, тихо разговаривали мужчины в гостиной, женщины — на кухне, было покойно на душе. Так бы сидеть и сидеть в этом мягком кресле, в этой теплой комнате...

Новый год прошел хорошо.

Далеко за полночь решили прогуляться. Зимняя ночь была не холодной или так показалось им, разгоряченным, чуть опьяневшим...

Алхимов с Тамарой углубились в лес. Они шли в валенках, проваливаясь в снег. Поскрипывали деревья, пахло хвоей. Из дальнего далека доносились песни, порой гудок электрички, лай собак.

Они шли в затылок друг другу. Тамара впереди. Не оборачиваясь, она заговорила совсем негром-

ко, но слова ее были хорошо слышны в этой ночной снежной тишине.

— Так как будем дальше, Сережа?

— Не знаю, Тамара. — Он ответил не сразу. — У нас трудное время сейчас.

— Оно всегда будет таким.

— Почему?

— Потому что дело не во времени, а в нас, в наших характерах, вернее, твоём.

— Чем же он плох?

— Я не говорю, что плох, Сережа. Ты очень хороший человек для людей; делаю для их блага ты отдаешь всего себя. Поэтому у тебя не остается ни сил, ни времени, а может, и желания отдавать себя одному человеку... — Она помолчала. — Мне в данном случае.

— Разве это нельзя совместить?

— Видимо, нет. Я раньше тоже думала, что можно. Я ведь не бездельница, не измененная барышня. Я сама была деловой, ты знаешь. Но и мне иногда надо невозможно... ну, нежности, что ли... Не знаю, даже как-то стыдно говорить об этом. Сам подумай, как мы видимся? В перерывах между двумя твоими заседаниями, а много их, таких перерывов?

— Но это же временно...

— Да нет, не временно... С тех пор, как мы знакомы, Сережа, у тебя все новые посты, новые обязанности, ты еще станешь президентом этой твоей ассоциации, предсказываю тебе. Ты готовишь новую учебники... И это прекрасно, я рада за тебя...

— Так живут сотни людей, Тамара!

— Возможно. Но я-то не с этими сотнями, а с тобой. И мне наплевать на эти сотни, но не на тебя.

— Ну зачем так!

— А как?

Тамара повернулась, к нему, подошла вплотную. Ее черные волосы, туго стянутые на затылке, сверкали в ночной близости — она откинула кашпо; темные, казавшиеся огромными от залегающих теней глаза были устремлены на него.

— Я очень много думала последнее время. Ты, наверное, и сам понимаешь, что так продолжаться не может. А как изменить, не знаю. Замуж я за тебя не пойду, Сережа. Мы не уживемся. Я не уживусь с тобой таким, а ты не изменишься. Продолжать, как сейчас, — только нервы трепать. Что делать? — Она горестно пожала плечами, замолчала.

Молчал и он. А что сказать? Что все эти заседания, собрания, поездки, уроки, книги, словари играют в его жизни столь важную роль, что ничто и никто заменить их не может? Что, по существу, это и есть его жизнь? И что иначе он жить не сможет?

Наверное, ему нужна другая жена — задавая домашнюю клуха, которая будет утром готовить ему завтрак, а вечером, когда бы он ни пришел, ждать с ужином. И не возвращать на это, а заниматься без него своим делом: убирать, готовить, воспитывать детей, вязать, наконец. И радоваться спокойной радостью редким его свободным минутам. Только вот сможет ли он жить с такой женой? Наконец Тамара вздохнула и произнесла решительно:

— Вот что, Сергей, дадим себе последний срок — до весны. Почему до весны? Не знаю... И тогда все решим. А за это время подумаем, можем ли друг ради друга что-либо изменить... — Она помолчала. — И так ли уж мы нужны друг другу. Стоп! Ничего не говори! У нас сегодня праздник... Догоняй!

Она неуклюже, утопая в снегу, побегала к даче, но он не стал ее догонять, и она исчезла вскоре за поворотом лесной дороги.

Он шел медленно, с наслаждением вдыхая зимний воздух; подобрал снег, смял в комоч, откусил...



Впереди засияли огни дачи, послышались голоса, музыка. Программа новогоднего праздника продолжалась...

С тех пор в их отношениях наступила новая полоса. У Тамары исчезла раздражительность, она перестала его в чем-либо упрекать, ссориться с ним. Но появилась еле уловимая отчужденность, эдакая грустная, чуть равнодушная нежность.

Сначала он пытался вернуть все в прежнее русло, потом приносившись, даже почувствовал облегчение, а затем вихрь будней снова подхватил его, не оставляя времени для размышлений и самоанализа.

Вот тогда-то и случилась неожиданная неприятность, очень чувствительная, поскольку первая серьезная по линии АЛФИ.

Пришло официальное письмо от Рота. Президент спрашивал, на каком основании председатель комиссии пропаганды ассоциации господин Алхимов рассылал в национальные федерации письма за своей подписью с различными сообщениями и просьбами о присылке материалов—до того, как исполком утвердит программу деятельности комиссии. Президент, усматривая в этом нарушение устава, просил приготовить объяснения к следующему исполкому, который намечался во время чемпионата мира в Токио, в начале лета.

Письмо это и обеспокоило и расстроило Алхимова. Обеспокоило, потому что он прекрасно понимал: устраивать скандалы из-за такой ерунды Рот мог лишь с определенной целью—подорвать авторитет Алхимова, дискредитировать его, обвинить в самоволии и пренебрежении к исполкому, а следовательно, и восстановить против него коллег. Огорчило, так как показало, что Алхимов недостаточно осмотрителен и осторожен в своих действиях, недостаточно изучил устав, еще не овладел в нужной мере дипломатическими гонимостями.

Он посоветовался с Лукомским и, заранее предвидя критические замечания и недовольство, честно вынес вопрос на заседание президиума своей федерации.

Однако на президиуме обсуждение вопроса приняло неожиданный оборот. Было и возмущение, и осуждение, и критика, но все в адрес... Рота. Президиум единогласно поддержал Алхимова и предложил написать президенту АЛФИ официальный ответ, обвиняя его в бюрократизме, в архаизме, в стремлении защищать «букву» устава, а не способствовать прогрессивной деятельности АЛФИ.

Впрочем, посоветовавшись с международным отделом Спорткомитета, решили письмо пока не посылать. Там работали осторожные и опытные дипломаты, хорошо изучившие сложную обстановку и практику международных объединений. Они несколько охладили воинственный пыл алхимовских коллег. Следовало подумать, подготовиться к следующему исполкому.

И Алхимов стал думать и готовиться.

Глава XI

Алхимов против Алхимова

Ил-62» совершает свой рейс Москва—Токио без посадки. Запертый в нем, летящий навстречу времени пассажир теряет представление о привычных вещах: когда завтрак, а когда ужин, когда утро, а когда вечер. Поэтому Алхимов пытался просто уснуть и не просыпаться до посадки. Но вскоре, поняв, что не заснет, погрузился в свои

мысли. Они не были радостными. Предстоял трудный исполком. Алхимов понимал: его необдуманные действия—эти письма, которые он рассылал,—послужат предлогом для Рота, Лундквиста, а возможно, и некоторых других, чтобы дать ему бой. Президент снова поднимет вопрос о Кубке. А может, и о ЮАР, кто знает, ведь до решения конгресса исполком имеет право менять свои собственные решения.

Беспокойила Алхимова и советская команда. Отсутствие в ней дисквалифицированного Родимцева и еще одного фольклориста, верного кандидата на золотую медаль, заболевшего буквально накануне отъезда, могло повлиять на результаты сборной.

В личной жизни тоже все складывалось как-то нерадостно. Тамара, по заведенной традиции, отъезжала его на аэродром.

Она была молчалива. Попытки Алхимова шутить, втянуть ее в разговор разбивались об это сосредоточенное молчание.

Уже подъезжая к Шереметьеву, Тамара наконец спросила:

- Когда ты должен вернуться?
- Я же говорил тебе—в первых числах. А что?
- Да нет, ничего...

— Это лето будет псовободней, Тома. В институте у меня сейчас очень сильный заместитель. Он потянет всю анеклассную работу, лагерь. Следующий исполком только осенью. Так что, я думаю, мы сможем поехать отдохнуть. В Прибалтику, как тогда. А?

— В Прибалтику? — Тамара иронически улыбнулась.—Как тогда? Как тогда мы уже не поедим, мы можем поехать только как теперь. А это не одно и то же. И потом, ты убежден, что смогу я? — Но тебе же легче взять отпуск летом. Что тебе мешает?

— Конечно! Мне легче, мне всегда легче! Мои дела—так, пустяки! Это твои важные, необходимые, неотъемлемые. Но—вот удача! Иногда, изредка а них может оказаться просвет—не наверняка, разумеется, но может,—и тогда «фью-фью, к ногам!», Тамара все бросает, мчит со всех ног и, ослепленная, убывает со своим повелителем в Прибалтику!

Тамара не смотрела ему в лицо, а внимательно следила за дорогой, и оттого ее слова казались еще злее.

- Перестань, Тамара! Смешной разговор.

Он начал сердиться. В конце концов он загружен работой по горло, естественно, что общественное, государственное дело он ставит на первый план, а личное на второй. Конечно, у женщин к этим вопросам свой подход, но Тамара—с ее умом, сама занятая серьезным делом,—почему же не понимает его?

— Да, ты прав, смешной разговор,—сказала она неожиданно спокойно.—А главное, бесполезный. Ну, мы приехали...

- Тамара...

— Не надо, Сережа. Счастливого пути.—Она наклонилась к нему, поцеловала. Но из машины не вышла.

Он вышел, забрал с заднего сиденья чемодан, помазал ей рукой...

Воспоминание об этом не улучшило его настроения, но как-то быстро исчезло, снова уступив место мыслям о предстоящем исполкоме.

Прилете, Алхимов решил брать быка за рога и первым делом отправился к Луску. Однако в холле его перехватил Габерман, как всегда румяный и улыбающийся. Его сопровождала Наташа. Алхимов

показалось, что Наташа выглядит усталой и печальной, ее круглые щеки были бледные, русые волосы не блестели.

Увидев Алхимова, Габерман заулыбался еще шире.

— Наташа, — сказал Алхимов после традиционных приветствий, — спросите господина Габермана, известно ли ему что-нибудь о письме Рота мне.

Выяснилось, что неизвестно. Тогда Алхимов подробно рассказал о том, что сделал за это время как председатель комиссии пропаганды, о разошедших им письмах и о том, как отнесся к этому Рот. Он хотел знать мнение Габермана.

Лицо немца приняло огорченное выражение. Габерман не любил щекотливых ситуаций. Некоторое время он молчал.

Наконец Габерман заговорил, Наташа синхронно переводила.

— Конечно, может, и стоило подождать с письмами, господин Алхимов. Наш президент, а особенно генеральный секретарь очень щепетильны, когда речь идет о прерогативах исполкома. Но я не вижу ничего криминального. В конце концов вы же не давали приказов. И потом, никаких финансовых уронов АЛФИ в результате ваших действий не несет. — Для казначея Габермана, видимо, это было главным. — Наоборот, ее имущество может возрасти. Такова моя точка зрения.

Алхимов поблагодарил и поспешил к Лусаку.

— А, преступник Алхимов! — вскричал Лусак. — Посылаешь на президентскую корону! Я все знаю, вы совершили чудовищное преступление — Рот уже звонил мне в Париж. На заседании Рот поднимет шум, формально он прав. Кроме того, представит дело так, что вы хотели наплеватель на весь исполком. Поспишил и Дончев пусть поддержат вас на исполкоме. Я тоже поддержу: этому... Роту надо дать по рукам. Теперь вы видите, что Рота пора заметить?

— Наверное, — задумчиво сказал Алхимов. — Спасибо, во всяком случае, за поддержку.

— Его надо заметить, — настойчиво повторил Лусак. — Президентом должен быть человек широких взглядов... Не сомневаюсь, — он подмигнул Алхимову, — новый президент с вами прекрасно сработается.

Алхимов улыбнулся и еще раз поблагодарил Лусака.

Теперь к Гарсия.

Испанец радостно встретил его. Тут же бросил важное дело — развешивал дюжину костюмов и галстуков, которые неизменно привозил с собой в огромных, дорогой кожи чемоданах. Гарсия был тщательно набриллинов, в номере чувствовался аромат дорогого одеколона. Он покопался в чемодане и торжественно вручил Алхимову подарок — бронзовый барельеф борца на подставке, покрытой красным бархатом. На пластинке была выгравирована фамилия Алхимова.

Гарсия быстро и точно изложил свою мысль, после того как выслушал Алхимова. Умный, энергичный, предприимчивый юрист, он сделал блестящую карьеру как раз благодаря своей работоспособности и умению глубоко проникать в суть явления.

— Нас всех заботит наш спорт, — сказал он. — Вы сделали доброе дело именно с этой целью. Возможно, и нарушили при этом какой-то юридический параграф. Но если полезное дело вступает в противоречие с параграфом — значит, надо менять параграф. Я хочу вам сказать, господин Алхимов, что давно пора, на мой взгляд, дать большую свободу

председателям комиссий. И, как председатель юридической комиссии, я подготовил кое-какие предложения. Как вы на это смотрите?

— Я всегда за демократизацию спортивного движения, — ответил Алхимов. — Расширение прав комиссий — тоже демократизация. Так что я — за.

— Очень рад, — Гарсия похлопал Алхимова по плечу. — Значит, в этом деле мы союзники. Сейчас президент АЛФИ по уставу — безотностительно, Рот это или кто-то другой, — подлинный диктатор. Я против диктатуры. Может, потому, что я испанец? — Подмигнув, он весело рассмеялся.

Настроение Алхимова заметно поднялось, он чувствовал себя увереннее. Следующий визит был к Поспишлу.

Увидев входящего Алхимова, Поспишил приветственно помахал рукой и, открыв холодильник, вынул несколько банок пива. Алхимов пить отказался.

— Нет, японско пивочко не чешско... — Осушив одну банку, Поспишил поморщился. — Зачем письма рассылаю? На исполкоме большой будет спор. Большой.

Алхимов изложил ему свои переговоры с Габерманом, Лусакон, Гарсия.

— Тогда хорошо, — решил Поспишил, — тогда нас много. Я говорил с Бутака. Он сильно сердит: Рот блатает много, делает мало. Только обещает, обещает. Рот к тому же расист. Поэтому Бутака тебя тоже поддержит.

Поспишил залпом осушил еще одну банку и неодобрительно пожевал толстыми губами.

В это время melodично зазвонил телефон.

— Хэлло! — сказал Поспишил, сняв трубку, и удивленно вскинул брови: — Тебя. Женщина...

Алхимов взял трубку.

— Извините, господин Алхимов. Это Наташа. Я в холле возле портье. Когда освободитесь, может быть, пойдете ко мне? Есть для вас приятные известия... И она повесила трубку.

— Это Наташа? — спросил Поспишил. — Она странная. Влюбилась в тебя.

— Ну уж! — отмахнулся Алхимов.

— Влюбилась, — убежденно повторил Поспишил. — Но она странная. Ты ей не доверяй.

— Что значит — не доверяй? — Алхимов пожал плечами. — Она мне не жена, не друг, не секретарь. В чем доверять-то?

Попрошавшись, Алхимов спустился вниз.

Наташа сидела, провалившись в подушки мягкого дивана, закинув ногу на ногу, и курила. У нее был уставший взгляд, но круглые щеки порозовели, возможно, от косметики, волосы она заплела в косу, уложенную на затылке.

— Рад вас видеть, Наташа. Как вы нашли меня у Поспишила? Следите за мной? — Он улыбнулся. — Ну ладно. Что за приятные новости вы хотели мне сообщить? — Алхимову почему-то вдруг стало жалко ее, и он захотел сделать ей приятно. — Давно не видел вас, соскучился.

На мгновение в ее серых глазах засверкал огонек, она с улыбкой повернулась к нему. Но тут же огонек погас, лицо приняло прежнее усталое выражение.

— Я слышала, как господин Габерман звонил господину Лундквисту и сказал ему, что считает нежелательной дискуссию о каких-то письмах, которые вы писали.

— Да? — Алхимов оживился. — И что же Лундквист?

— Он, наверное, другого мнения... Спорили долго. Мне кажется, Габерман уговорил господина Лундквиста.

— Ну что ж, Наташа, это действительно приятная новость. Вы прямо мой тайный агент. Мата Хари. Буду оплачивать вашу деятельность в шоколадных рублках.— Он снова улыбнулся.

— Мата Хари? — Наташа печально покачала головой.— Я читала про нее. Нет, я просто дура. Очень крупная дура. А вот кончу, как она.

— Слушайте, Наташа.— Алхимов нахмурился.— Почему вы все время болтаете ерунду? Что вы каркаете на свою судьбу? — Он нарочно говорил резко.— Вы изменились. Я вас знаю уже много времени, вы стали какой-то мрачной, грустной. Или это только, когда мы видимся?

— Да, только тогда я такая, как сейчас.— Наташа подняла голову, она смотрела на него с вызовом.— А без вас еще мрачнее. В десять раз. Вы даже не знаете, как я живу. Как горько мне.— Она снова опустила глаза.— Мне горько жить. Сергей Сергеевич,— продолжала она почти шепотом,— вы ведь хорошо понимаете, как я к вам чувствую... Вы все понимаете. И я не хочу, чтоб у вас случилось плохо. Я хочу вам счастья. А так получается...

— Как получается? — Алхимов наклонился к ней, взял ее теплую, влажную руку, его охватила непонятная тревога.— Ну в чем дело, Наташа? Что вас мучает?

В глазах ее стояли слезы, губы как-то сразу вспухли.

— Не надо, Сергей Сергеевич, все это бесполезно. Вы только знаете, я никогда не сделаю вам плохо!..

Она поднялась и чуть не бегом направилась к лифту.

Как и предполагалось, исполком проходил, по выражению Поспишила, «то есть очень оживленно».

Первым шел вопрос о континентальном Кубке. Рот выступил с горячие речью в защиту своей идеи, его поддержал Лундквист. Затем слово взял Холмер. Он читал текст, явно заранее для него написанный. Дельфорт тоже высказался за континентальный Кубок. Мексиканец Рамирес, который почти никогда не бывал на исполкомах, а если бывал, то молчал, вдруг произнес довольно демагогическую речь об ущемлении интересов других континентов, о борцовских «сверхдержавках» и т. д.

Возражали Алхимов, Дончев, Поспишил. С ними согласился Лусак, Габерман и Гарсия. И тогда Рот неожиданно предложил голосовать. За континентальную формулу Кубка проголосовали семь членов исполкома, против — шесть, двое воздержались. Рот не мог скрыть торжества.

— Итак, господа, мы выносим на монреальский конгресс предложение исполкома о проведении ежегодного Кубка АЛФИ, который будет разыгрываться между командами четырех континентов. Пока четырех,— добавил он,— в дальнейшем к ним, надеюсь, присоединится и Австралия. Переходим к следующему пункту повестки дня — планы комиссий. Прошу вас, господин Арипинар,— техническая комиссия.

Алхимов не слушал. Он знал, что Арипинар проборочет по бумажке то, что написал для него секретарь комиссии. Потом выступят председатели тренерской, медицинской комиссий, казначей. А под конец дойдет очередь и до него, Алхимова: «Каковы планы новой комиссии пропаганды и, кстати, что себе позволяет председатель этой комиссии!». Вот тут-то все и начнется.

Один минус в свой актив он уже может засчитать: исполком — а значит, и он, Алхимов,— принял решение о континентальной формуле Кубка. Так оно и

будет представлено конгрессу. Вот и вышло: Алхимов против Алхимова! Интересно получается! И тогда воевать против этого решения будет уже не он, а советский делегат на конгрессе. А Алхимов будет сидеть, набрав в рот воды, своим молчаливым поддерживая то самое решение, против которого боролся все это время. Но почему, собственно! Почему он не может встать и высказать свое мнение? Надо поговорить с Гарсией: есть такая статья устава, по которой член исполкома, оставшийся в меньшинстве, не имеет права отстаивать свою точку зрения на конгрессе! Да, но если он будет выступать против Кубка, несмотря на решение большинства исполкома, то Рот имеет право выступить против решения об исключении ЮАР. Ситуация-то аналогичная...

Как же быть? С кем посоветоваться? Как тяжело порой принимать решение в одиночку. Принимать и не иметь право ошибиться.

Он настолько углубился в свои мысли, что не сразу услышал, когда президент назвал его фамилию.

— Итак, слово председателю комиссии пропаганды господину Алхимову. Ее планы нас особенно интересуют, так как комиссия новая, начинает работать, так сказать, на ровном месте... Как вы все знаете,— словно между прочим напомнил Рот,— все планы и действия комиссий подлежат утверждению исполкомом и лишь после этого приобретают законную силу. Мы с нетерпением ждем сообщения господина Алхимова, в котором, я не сомневаюсь, содержится много полезного и интересного.

Алхимов встал.

— Господин президент, господа,— начал он.— Прежде всего разрешите предложить на ваше рассмотрение структуру и план деятельности комиссии, как я их себе представляю. Считаю нужным добавить, что некоторые шаги по осуществлению плана я уже предпринял, поскольку не сомневался, что они будут одобрены исполкомом и президентом. Я уверен, что выигрыш во времени здесь значительно важнее, чем пустая формальность.

Алхимов подробно изложил свои соображения и планы.

— Кто хочет высказаться, у кого есть вопросы? — спросил Рот, когда Алхимов сел.

Первым в атаку ринулся Лундквист.

— Думаем, мы все можем поздравить нового председателя комиссии с той большой работой, которую он уже осуществил. Однако меня смущает одно обстоятельство, названное господином Алхимовым — на мой взгляд, неправомерно — пустыми формальностями. Мы-то здесь все прекрасно понимаем, но во многих национальных федерациях, привходящих к определенной системе работы АЛФИ, получение писем, пожеланий и запросов непосредственно от председателя комиссии, минуя президента, может создать неправильное впечатление о некоем особом положении комиссии. Не люблю произносить громких слов, и господин Алхимов знает, как я уважаю его, но, видимо, независимо от его воли здесь имеет место подрыв авторитета исполкома.

Те же доводы, но более резким тоном, повторили и Холмер, и Арипинар, и Дельфорт.

Тогда слово взял Гарсия.

— Возможно, инициатива господина Алхимова была не из самых удачных,— сказал он,— но она натолкнула меня на мысль, что наш устав несовершенно. Если уж мы, и я хочу подчеркнуть большую роль президента в этом,— поклон в сторону Рота,— создали комиссию, то надо всемерно помогать им в работе. Такую помощь, в частности, я вижу в предоставлении комиссиям больших прав. Ведь их

возглавляют авторитетные члены исполкома, в комиссии входят ведущие специалисты. Зачем же стеснять их инициативу? Как президент юридической комиссии, я выношу на исполком предложение по изменению устава, чтобы предоставить комиссиям более широкие права и полномочия. Кроме того, предлагаю создать финансовую комиссию, подчинив ее казначею.

Выступление Гарсия сразу изменило положение. Теперь Рот уже не думал о нападении, влору было обороняться. Из-за предложения Гарсия он сразу терял двух союзников — Арипинара и Дельфоржа. Будучи сами председателями комиссий, они, естественно, готовы были поддержать любое предложение, расширяющее их права, не говоря уж о Габермане, который получал в свое ведение новую комиссию.

Что же касается Лусака, то он на этот раз молчал. Он бы рад был нанести удар Роту, но, надеясь сам стать президентом, не очень-то стремился к усилению комиссий за счет президентских прав.

После долгих споров предложение Гарсия было передано членам исполкома на изучение. Решение отложили до следующего заседания, которое должно было состояться в Москве. В этой ситуации осуждая Алхимова за его заполучные письма становилось для Рота бессмысленным. Он скороговоркой поздравил председателя комиссии пропаганды и предложил утвердить его сообщение, что и было сделано.

Тем временем на первенстве мира шли соревнования.

Ход чемпионата складывался для советских спортсменов неплохо. Несмотря на отсутствие двух лидеров, а быть может, именно поэтому, борцы, в том числе двое-трое новичков сборной, сражались на редкость самоотверженно и пока имели все шансы на первое место. Главными соперниками, как выяснилось, оказались испанцы.

Во время схватки между испанскими и японскими средневесами произошел неприятный инцидент. Оба набрали по равному количеству технических очков, оба имели по два предупреждения. Все явно шло к ничьей. В этом случае испанский боец имел возможность выйти в полуфинал, если б победил в утешительной встрече. Его победа там не вызывала сомнений. В случае же проигрыша испанец выбывал из дальнейших соревнований, серьезно снизив шансы своей команды. Советская сборная могла заранее праздновать победу.

Зал, затая дыхание, следил за борцами. До конца оставалось двенадцать секунд, когда советский арбитр остановил схватку и объявил испанскому борцу третье предупреждение за пассивность.

Зал взорвался аплодисментами, приветствуя победу своего спортсмена. Японец запрыгал от радости, бросился обнимать тренера. Испанец некоторое время в недоумении оглядывался, он не мог понять, что произошло. Наконец бросился что-то яростно доказывать арбитрам, прибежал тренер, руководитель испанской делегации: с расстроенным лицом по ступеням быстро спускался Гарсия. Руководитель ковра — румын — отбивался, как мог, от наседавших на него испанцев, показывая в сторону советского арбитра. Судейский столлик плотным кольцом обступили японские тренеры и руководители. Фоторепортеры, толкая друг друга, щелкали затворами.

Внизу у ковра возникли Лундаквист, работники оргкомитета. Они быстро восстановили порядок.

Соревнования продолжались.

Через некоторое время в ложе исполкома появился растерянный Арипинар, обычно проводивший

время в специально отведенном для начальства буфете.

— Испанцы подали протест,— жалобным голосом сообщил он,— теперь придется собирать апелляционное жюри.

— Так соберите, черт возьми! — огрызнулся Рот. Апелляционное жюри, в которое входили Арипинар, Лусак, Холмер, Алхимов и Шибата, собралось в комнате для совещаний. Поскольку один из борцов был японцем, Шибату заменил запасной член жюри иранец Тахтари.

Первым вызвали руководителя ковра. Румын, вытирая платком вспотевшую лысину, начал оправдываться:

— Я не видел, я в этот момент отходил...

— А другие судьи? — спросил Арипинар.

— Какое это имеет значение! — махнул рукой руководитель ковра. — Было же правило, что последнее предупреждение можно объявлять только с согласия большинства судейской бригады. Отменили! Дали всю власть арбитру, как в дзю-до. Вот вам и результат.

Двое других судей разошлись во мнениях. Один без особой уверенности сказал, что можно было дать предупреждение, другой, что, пожалуй, давать не следовало.

Арбитр категорически настаивал на своем.

Алхимов хорошо знал этого молодого, способного судью, впервые допущенного к первенству мира. Он редко ошибался, но имел один недостаток: совершая ошибку, упрямо настаивал на своем. А между тем Алхимов был убежден, что оснований для предупреждения испанскому борцу не было. Во всяком случае, не больше, чем японскому.

Когда члены жюри остались одни, Арипинар сказал:

— Прошу высказываться. Я лично считаю, что арбитр ошибся. Была ничья. Протест испанской делегации надо удовлетворить.

Лусак, сидевший рядом с Алхимовым, подтолкнул его в бок и прошептал: «Получайте еще один подарок, Алхимов, на этот раз золотой», — и громко произнес:

— А мне думается, протест нельзя удовлетворить... у нас уже давно нет протестов. Теперь снова создадим прецедент, и начнут нас заваливать этими клеветами! К тому же оба участника особенной борьбы не показали.

— Я тоже так считаю,— поддержал Тахтари,— и потому, мы все-таки в Японии. Мы же видели, как зал встретил решение арбитра. Что же мы сейчас объявим этим пятнадцати тысячам японских болельщиков, что лишаем победы их борца? Да нас на части разорвут!

— Странная аргументация,— проворчал Холмер,— а если б не японец, а швед или перуанец, что можно и перешерстить? И потом, здесь зрители умеют себя вести. Протест следует отклонить.

— Ну что же,— сказал Арипинар, вставая,— тогда картина ясная.— Он даже не взглянул в сторону Алхимова. — Большинство голосов протест отклонил. Схватку выиграл японец.

— Большинство голосов,— спокойно сказал Алхимов,— протест удовлетворен. Ничья.

Все присутствующие с изумлением уставились на Алхимова.

— Я вас правильно понял? — переспросил Арипинар. — Вы поддерживаете протест испанцев на решение вашего арбитра?

— Это не мой арбитр, господин Арипинар, а советский арбитр. Я же сейчас член международного апелляционного жюри. Арбитр совершил ошибку: оснований для предупреждения испанскому борцу

не было. Уж если предупреждать, так следовало обих. Повторю, я за удовлетворение протеста.

Некоторое время царил молчание, потом так же молча члены жюри покинули комнату.

Когда Алхимов вернулся в ложу, к нему торопливо подошел Гарсия. Он схватил руку Алхимова и долго тряс ее.

— Я этого не забуду, господин Алхимов, не забуду! Вы честный человек, вы очень честный, замечательный человек!

— Да нет,— улыбнулся Алхимов,— человек как человек. Просто неплохой, наверное, специалист. И потом, внимательно следил за схваткой.

— Но ведь поражение нашего борца,—уже спокойной продолжал Гарсия, с любопытством глядя на Алхимова,—по существу, предопределяло командную победу ваших борцов!

— Дорогой Гарсия.—Алхимов похлопал испанца по руке.—Наши борцы не нуждаются в таких методах, чтобы добиться победы. Поверьте, они и без того ее завоевуют.

Соревнования продолжались, но Алхимов погрузился в свои мысли. Правильно ли он поступил? Опять «Алхимов против Алхимова»? Эти вот ребята с советским гербом на груди... Кто-то, а Алхимов-то знал, чего стоила им подготовка к такому соревнованию. Вправе ли он был, раз уж так сложилось, лишать их дополнительного шанса на победу? Ведь не он в конце концов объявил предупреждение испанцу. Честно говоря, тот его и заслуживал.

Да, спорил Алхимов сам с собой, но и японец заслуживал предупреждения. Ну, а если б не советский арбитр так поступил и не испанцу, представителю главной соперничающей команды, засчитали поражение, стал бы он возражать? Не жест ли это? Не потому ли он так поступил, что в противном случае мог вызвать неприязнь у других членов исполкома? Нет, твердо говорил он себе, я высказал то решение, которое считаю единственно правильным. Все остальное не имеет значения. И меня должны понять в команде.

Алхимов твердым шагом направился к раздевалкам, подошел к двери, на которой был приклеен маленький советский флажок, и решительно открыл ее.

Почти вся команда была в сборе, руководитель делегации проводил, видимо, собрание. На скамеечке сидели и советские судьи.

На минуту воцарилась тишина. Тогда со своего места поднялся Немсадзе, подошел к Алхимову и молча пожал ему руку.

— Товарищ Алхимов,—сказал руководитель делегации,—вы вовремя. Мы, конечно, не имеем права ни обсуждать вас, ни указывать вам. У вас есть президиум федерации, Спорткомитет, вы здесь официально являетесь не представителем нашей страны, а членом международной организации. Но мы все здесь товарищи, советские люди и вправе открыто высказать мнение о любом из нас. Так вот я хочу вам сообщить, что ни один человек, включая и арбитра,—руководитель делегации кивнул в его сторону—вас не осудил. Кое-кто считает, что арбитр прав, другие, что неправ. Это технический вопрос. Вам, вероятно, казалось, что предупреждение давать не следовало. Это ваша точка зрения, и никто здесь, обсуждая эту проблему, не считает возможным предполагать какие-либо иные обстоятельства, кроме чисто спортивных. Команда наша выигрывает. Мы здесь так решили,—он улыбнулся,—а раз решили, то и будет.

Возвращаясь в отель, Алхимов испытывал радостное чувство: значит, он прав. Он не ошибся в расчетах, как и они не ошиблись в нем.

Позднее он заметил, что отношение многих людей—членов исполкома, комиссий, тренеров, судей из разных стран—к нему изменилось, словно что-то открыли в нем, словно по-иному стали смотреть на него: с возросшим уважением, доверием, а некоторые с нескрываемым восхищением. И это заставило о многом задуматься. О том в первую очередь, что надо всегда быть неприкосновенно честным, бескомпромиссным с самим собой.

Конечно, каждый знает, что надо быть таким, но как же это трудно...

На заключительном заседании исполкома Бутака высказал президенту упрек в том, что помощь АЛФИ развивающимся африканским странам в основном ограничивается разговорами. Его поддержали Шибата и Дончев. Потом выступил Алхимов.

— Господин президент, мне кажется, наши коллеги правы, ведь африканский континент— неисчерпаемый резерв для фольклорной борьбы. Там есть страны, где эта борьба имеет вековые, чтобы не сказать тысячелетние, традиции. Мы не можем стоять в стороне. Мы должны помочь.

— Вот что, господин Алхимов,—неожиданно предложил Рот,—давайте создадим временную комиссию, пусть она подготовит конкретные предложения. Председателем комиссии предлагаю назначить вас. Свершите поездку по нескольким африканским странам—вместе с господином Бутака, разумеется, за счет АЛФИ. Посмотрите и составьте проект плана помощи.

Алхимов не успел опомниться, как исполком проголосовал за предложение.

Позже к нему подошел Поспишил.

— Плохо согласился. Провокация.

— Какая провокация?—не понял Алхимов.

— Рот как думает? Тебе поручили «изучение вопроса», значит, поедешь в Африку, тебя все увидят—приехал советский человек изучать, чтобы помогать. Вернешься. Доложишь. Рот положит дело в большой ящик, так у вас говорят? Или в длинный ящик... Результатов не будет, а валить все станут на тебя. Понятия помощи у африканцев будет связано с тобой, а ты—пшик! Вот тебя и дискредитировали! Ясно?

— Ясно,—задумчиво произнес Алхимов,—но можно исправить дело.

— Как?—спросил Поспишил.

— Добиться, чтобы исполком по-настоящему помог. Тогда все будет в порядке.

— Ну что ж, только нелегко будет добиться этого от Рота.

— Ничего. Добьюсь,—заверил Алхимов.

Ту же мысль, что и Поспишил, высказал Лусак:

— Будьте осторожней,—заметил он,—не случайно Рот заснул вас в эту лживую комиссию. Учтите, она бесплодна. Так что вы должны этих черных убедить, что ничего для них не делается и не будет, между прочим, делаться не по вашей вине, а по вине Рота.

В тот же день Алхимов потребовал у Рота письменное распоряжение председателю временной комиссии по изучению вопроса о помощи АЛФИ африканским странам (так теперь звучал его титул) проводить опросы, анкеты, переговоры с африканскими и другими национальными федерациями, но не разрешающее давать какие-либо конкретные обещания до утверждения исполкомом.

Подписывая распоряжение, Рот иронически улыбался: он понимал, что во время поездки по африканским странам Алхимов не удержится от обеща-

ний, а вот даст ли ему исполком возможность их выполнить, будет видно...

На пункт, позволяющий Алхимову вести от имени АЛФИ переговоры с любыми национальными федерациями, Рот не обратил внимания.

Алхимов возвращался в Москву с хорошим настроением. Команда все же заняла первое место, оторвавшись от испанцев на четыре очка. Авторитет председателя комиссии пропаганды из-за этого столь незначительного вроде бы эпизода с жюри сильно вырос. Алхимов приобрел много друзей и сторонников.

...Выйдя в зал для встречающих, он весело огляделся, ища глазами Тамару. Сейчас все расскажет ей, поделится удачами.

Но где же она? Алхимов нахмурился. Он поискал знакомый «Москвич», вновь и вновь прошелся по длинному холлу Шереметьевского аэропорта, наконец позвонил ей домой из автомата. Тамары не было, номер ее не отвечал.

Такое случилось впервые за время их знакомства. Алхимов дождался на остановке такси и поехал в город. Хорошее настроение его улетучилось без остатка.

Глава XII

весна

Письмо Тамары он нашел среди десятка других писем, телеграмм и бандеролей, которые пришли за время его отсутствия и, как всегда, были тщательно сложены Евгенией Ивановной на его письменном столе.

Его не вскрыв конверта, он знал, что найдет в нем.

«Я все же уехала,— писала Тамара своим твердым хорошо знакомым ему, мужским почерком,— здесь, в Академгородке, действительно интересная и перспективная работа. Здесь только нет тебя. Но тебя нет для меня и в Москве. Пока думала, что есть,— оставалась, когда убедилась в своей ошибке окончательно,— вот уехала. Продолжать бессмысленно. Я тебя ни в чем не виню. Требовать, чтобы ты стал иным, изменил свой характер или образ жизни,— то же, что требовать сменить цвет глаз или волос.

Я многим восхищаюсь в тебе, бесконечно уважаю и ценю. Всего этого достаточно, чтоб быть друзьями, для большего нужны иные чувства. У тебя, мне кажется, их нет. Ко мне, во всяком случае. Хотела написать, что желаю тебе обрести их к другой, но врать не стану — не хочу; уж извини, я не ангел, а просто баба с обычными нашими недостатками и ревностью в том числе. А вот в делах желаю тебе счастья. Ведь они, к сожалению, главное в твоей жизни.

Прости за сухое письмо. Но мы с тобой оба романтичностью не грешим. Быть может, в этом моя главная беда... Прощай...»

Алхимов распахнул окно. Вечерние запахи и шумы города ворвались в комнату. Свежий ветерок колыхал занавески.

Алхимов долго смотрел на океан крыш, на светлячки окон, на желтое небо. На следующий день его с отчетом о поездке ждал зампред Спорткомитета. Во второй половине дня предстояло заседание кафедры, а в шесть вечера — партийное бюро. Это завтра. Так. А что послезавтра? Он взглянул в ка-

лендарь. Утром два урока в институте, совещание в международном отделе Спорткомитета, в два часа педсовет, это надоело. Вечером юбилей у председателя автоклуба — надо пойти. Что еще на неделе? Ага, вот свободное утро! Можно будет наконец написать статью в журнал «Теория и практика физической культуры» о новых тенденциях в американском университетском физическом воспитании. Подготовить проекты писем спортивным руководителям африканских стран, составить смету и выслать ее Габерману — поездку-то оплачивает АЛФИ. Тут утра, пожалуй, не хватит, придется просидеть полночи, поскольку вторая половина дня и вечер заняты: надо провести урок, он обещал выступить с рассказом о Токио в устном журнале...

Он закрыл окно. Сел за письменный стол. Позвонить Тамаре? Послать телеграмму? Да нет, зачем? Она оказалась решительней, чем он. И честней.

Посидел еще немного. Потом достал бумагу, начал набрасывать план отчета...

И все пошло своим чередом.

В поездку по Африке он отправился в самое неподходящее время: летом, в жару. Но до каникул институтские дела не отпускали его. Теперь же, когда студенты разъехались, появились, наконец, возможность. Он не лгал Тамаре, у него на кафедре действительно был теперь очень энергичный заместитель, работяга и энтузиаст. Он снял с Алхимова весь груз забот о спортивно-оздоровительном лагере, о многих соревнованиях, в которых участвовали спортивные команды института. Алхимов со вздохом подумал, что освободившееся время он все равно не смог бы потратить на обещанную Тамаре поездку в Прибалтику. И тут же улыбнулся про себя: как он подумал — «потратить»? Вот именно, для него «потратить время» — это поехать в отпуск с любимой женщиной, а не колесить по каким-то дальним жарким краям. Нет, она права, конечно, во всем права...

Его никто не прождал. Попытки Евгении Ивановны он решительно отклонил — нечего мотаться в такую рань.

Заняло сердце. Первый раз за эти годы он улетал и Тамара не помахала ему рукой на прощание. Сколько раз на какое-то время он уносил с собой воспоминание о ее силуэте, о поднятой в прощальном приветствии руке.

Когда он вернулся в Москву, то неделю до глубокой ночи готовил для исполкома подробный отчет о поездке. Пять раз переписывал отчет, пока не превратил его в аргументированный, точный и в то же время яркий документ. Сам перевел на английский и французский. Приложил цветные, наиболее убедительные фото. И разослал во все страны, входящие в АЛФИ.

Как дико, как нелепо, что и сегодня на этом богатом, прекрасном континенте есть заповедники, где все осталось, как тогда, во времена рабства! Привезти бы сюда весь исполком, весь конгресс АЛФИ, показать им, что происходит в Южно-Африканской республике и Родезии. А потом решать вопрос об исключении ЮАР. Хотел бы он посмотреть, кто проголосует против!

Что ж, он не нарушил указаний президента. Он никому ничего не обещал во время своей поездки. Кроме одного — что сделает все возможное, чтоб помочь. Но никто не запрещал ему рассылать свой отчет. Он имел право вступать в переговоры не

только ведь с африканскими федерациями, но с любими. Именно этот пункт, по замыслу Алхимова, был главным в том документе, который он давал на подпись Роту, и именно на этот пункт Рот не обратил внимания.

Алхимов написал несколько статей и разослал их в зарубежные спортивные, да и неспортивные издания. Он призвал помочь африканскому спорту вообще и фольклорной борьбе в частности. Многие были опубликованы.

И тогда он «вступил в переговоры» со всеми национальными федерациями АЛФИ: какую хоть самую малую помощь могут они оказать? Откликнулись три четверти федераций. Алхимов пригласил в Москву Бутака и составил с ним сложный план: что дает та или иная федерация и в какую именно африканскую страну идет помощь.

Популярность Алхимова среди африканских и других федераций возросла неизменно.

Рот долгое время ничего не ведал. Он со злорадством представлял себе Алхимова, раздающего бесчисленные обещания. Черта с два хоть одно из них будет выполнено!

Когда же встревоженный Лундквист, поняв наконец, в чем дело, примчался к президенту, было поздно. Объявлять, что вся проделанная работа выполнена по указанию исполкома, не годилось — ведь Алхимов еще ничего официально не доложил, исполком ничего не постановил, а следовательно, стоял пока в стороне, ждал, чем кончится «изучение вопроса». А ничего не говорил, никак себя не проявлял было не лучше — работа-то шла, помощь поступала, выезжали тренеры. Кто же все это делал, если исполком молчит? Ясно, кто — Алхимов, ему вся честь и слава.

Рот и Лундквист долго совещались в поисках выхода, но выхода не было. Не удавалось даже привлечь Алхимова к ответственности. Он ничего себе не позволял, не нарушал никаких решений исполкома, никаких указаний президента.

Судя по всему, вопрос о помощи развивающимся странам мог стать центральным на исполкоме в Москве.

На Шереметьевском аэродроме Рота встречали председатель советской федерации фольклорной борьбы, Лукомский и, конечно, Алхимов.

Они давно не виделись, и Алхимов показало, что президент сильно сдал за эти месяцы. Седой ежик волос пожелтел, под глазами набрякли тяжелые мешки, усы поредели, а лицо приняло устойчивый пунцовый цвет.

Работа исполкома вопреки ожиданиям проходила спокойно, даже скучно. Видимо, все копилки силы для морального конгресса и не хотели обнаруживать свои «огневые точки».

Особое внимание вызвал лишь доклад комиссии пропаганды, к которому Алхимов готовился очень тщательно.

Бутака зачитал десятки писем от национальных африканских федераций, на все лады расхваливавших Алхимова. В большинстве из них АЛФИ даже не упоминалась.

Наконец и московское заседание исполкома осталось позади. Завтра начинался разезд.

Алхимов устал за эти дни: постоянное нервное напряжение, недосыпание, тысячи забот, ответственность.

Он медленно шел по ночной улице, вдыхая свежий апрельский воздух, ощущая на лице дуновение наступившей весны.

Улицы были пустыны, бесполезно мигали на без-

людных перекрестках светофоры. Алхимов миновал желтый особняк Интуриста и шел вдоль старого здания университета, когда позади раздались торопливые шаги. Кто-то подхватил его под руку. Он услышал утраченное дыхание, ощутил легкий запах алкоголя.

— Это я,— переводя дыхание, сказала Наташа. — Вижу, что вы,— ответил Алхимов. О спокойной прогулке теперь думать не приходилось.

— Можно я вас немного провожу? — спросила Наташа.

— Нет, давайте уж я вас провожу обратно. Все равно ведь пришлось бы.

Ответ звучал не очень любезно, но Наташа не заметила этого.

— Хорошо,— покорно согласилась она,— только пойдете вон там.— Она указала на Александровский сад.

Алхимову захотелось исправить свою бестактность.

— Сад, наверное, уже закрыт,— заметил он,— но, если хотите прогуляться, мы можем спуститься к набережной... А вы, случайно, не выпили лишнего, а?

— Нет,— Наташа еще крепче вцепилась в его руку.— То есть я выпила много, но я полностью трезвая. Не качусь.

Они спустились к реке и медленно пошли вдоль набережной. Наташа остановилась у влажного каменного парапета, внимательно всматриваясь в тягучую черную воду.

— Сергей Сергеевич,— заговорила она, не отводя взгляда от реки,— мы с вами виделись сегодня последний раз. Я хотела попрощаться.

— Вы уходите от Габермана?

— Дело не в этом,— досадливо отмахнулась Наташа.— Мы больше не увидимся, вот главное.— Она помолчала.— По крайней мере для меня.

Наташа медленно повернулась к нему, прислонившись к парапету. Капюшон накидки скрывал глаза, набрасывая тень на лицо.

— Я хочу вам сказать одну вещь. А потом уйду, и вы не провожайте меня — тут рядом.

— Слушаю вас, Наташа.— Алхимов почувствовал, как его охватывает тоскливая тревога.

— Я очень глупая... Вся жизнь барахтаюсь, шаркаюсь и без толку, все равно иду на дно... Все, что делала в жизни,— не так, наоборот получалось. Плохо. Только одно я сделала хорошее — постаралась уберечь вас от беды. Не перебивайте меня! Я понимаю: наверное, и без меня вы бы сумели от этой беды защититься. Но это неважно. Я сделала, что могла. И это, вероятно, единственное, что я хорошего сделала в жизни. Вы отлично знаете, почему я так поступила. А теперь надо распрощаться. Но я хочу, чтоб вы знали, Сергей Сергеевич: я ни о чем жалеть не буду. Пусть я совсем мало сделала хорошего вам, но что бы ни было, мне будет радость это знать. Прощайте. Мы больше не увидимся. Вспоминайте меня.— И, быстро прильнув к нему, неловко поцеловала его холодными губами, отшатнулась и торопливо зашагала через дорогу.

Алхимов смотрел ей вслед, пока она не скрылась в тени высоких стен. Он испытывал щемящую жалость к этой девочке с такой неловой и горькой судьбой. Ему хотелось крикнуть ей, вернуть, посоветовать навсегда остаться на земле своих дедов, где она, наверное, обрела бы и покой, и счастье, и смысл жизни.

Но он чувствовал, что ее жизнь, судьбу отделяют от его жизни, от его страны стены, пусть невидимые, но для Наташи непреодолимые.

Глава XIII

каждому да воздастся

Спустя два месяца Алхимов пригласил заместителя председателя Спорткомитета.

— Сергей Сергеевич, — сказал он без лишнего предисловия, — выдвигаю вашу кандидатуру на пост первого вице-президента АЛФИ. Ваше мнение? — А ваше? — улыбнулся Алхимов.

Зампред рассмеялся.

— Наше мнение и мнение международной спортивной общественности — надо выдвигать.

Алхимов искренне удивился. Ну, мнение своей федерации и Спорткомитета он, если отбросить ложную скромность, конечно, знал, а вот «международной спортивной общественности...»

— Чему вы удивляетесь? — словно прочел его мысли зампред. — О вашей деятельности во многих федерациях и МОКе слышаны.

— Ну что ж, — сказал Алхимов, вставая, — спасибо за доверие. Постараюсь оправдать.

— Но работать будете еще больше, — предупредил зампред.

В первые числа июля Алхимов прилетел в Монреаль. И сразу узнал, что будут его главные соперники на выборах.

Лусак и Лундквист!

— А я думал, мы с вами схватимся позже, — подейдя к Алхимову и весело пожимая ему руку, сказал Лусак, — когда я стану президентом, а вы лидером оппозиции!

— Господин Лусак, — Алхимов вежливо улыбнулся. — Какое значение имеет, кто на каком посту? Важно, что оба мы любим наш спорт и заботимся о его процветании.

— Верно, верно. А вы не можете, вдохновляясь этой мыслью, снять свою кандидатуру? А?

— Могу, конечно, — ответил Алхимов, — но это будет несолидно. Вы же первый обвините меня в непоследовательности и легкомыслии.

— Если это единственное, что вас беспокоит, то не обиную, обещаю...

— ...Мой совет вам, Алхимов, — сказал Рот, когда Алхимов расстался с Лусаком, — поддержите Лундквиста. Я знаю, вы его не очень любите, но он порядочный человек, не то, что этот интриган Лусак, который спит и видит, как бы сесть на мое место. Простите за резкость, но у вас нет никаких шансов пройти, так пусть лучше первым вице-президентом станет Лундквист, чем Лусак. Поверьте, с Лусаком вы еще наплачетесь. Такому месту за решеткой.

Алхимов разговорился с Габерманом. С ним был конюша в очках, заменивший, видимо, Наташу на посту переводчика.

Алхимов спросил Габермана, так ли это.

Не стесняйся своего нового переводчика, Габерман рассказал, что вскоре после возвращения из Москвы его пригласил шеф персонала спортивного союза и смущенно сообщил, что есть ряд конфиденциальных, крайне неблагоприятных отзывов о «поведении и высказываниях фрау Шанц». Принято решение ее уволить.

— Наташа, — продолжал Габерман, — как-то заходила ко мне за рекомендациями. Она почему-то нигде не может устроиться. Странно, такая способная и милая девушка.

Настал торжественный день конгресса АЛФИ.

Перед заседанием к Алхимову подошел Гарсна.

— Сейчас будут отчеты комиссий. Я намерен внести вопрос о расширении их прав. Поддержите?

— Безусловно, — пообещал Алхимов. — А что вы думаете о Кубке?

— Кубок нужен, но для национальных команд, а не континентов.

Испанд сменил Поспишил.

— Был когда-то такой журнал «Пате». У него девиз: «Все вижу, все знаю». Это я — Поспишил! — Его толстые губы раздвинула веселая улыбка. — Так, докладываю: за тебя большое большинство.

— Да ну? — удивился Алхимов. — Честно говоря, надеюсь, но на «небольшое большинство».

— Африканские делегаты все, азиатские почти все, социалистические тоже все...

— А за Лусака?

— За Лусака и Лундквиста половина.

— Вот те на, — встревожился Алхимов. — А говоришь большинство.

— Так ведь половина половины за Лусака, половина половины за Лундквиста. За каждого по четверти.

— Кто за Лундквиста?

— Все, кто за Рота.

Когда начались доклады комиссий, Рот потерпел первое поражение. Его попытки сохранить статус комиссий в прежнем виде не встретили поддержки. На следующий день с утра Рот говорил о Кубке. В глазах его светилось торжество.

Первым возразил советский делегат на конгрессе. Потом румынский, чешский. Большинство европейцев не соглашалось с формулой президента. Рот наливался краской, его редкие усики топорщились. Делегат Монголии внес предложение прекратить дискуссию и провести тайное голосование. После недолгих процедурных препирательств голосование состоялось. 45 проголосовали за соревнование между национальными командами, 10 — между континентальными, 5 воздержались.

Рот покинул зал, сославшись на недомогание. Его обязанности взял на себя вице-президент Лусак.

Третий, последний удар, был нанесен Роту в его отсутствие. Лундквист изложил от имени исполкома решение об исключении ЮАР. При этом он долго рассказывал о поездке комиссии. Из его доклада получалось, что ЮАР исключать нельзя, и совершенно непонятно, почему исполком сделал это.

После выступления Лундквиста полемика приняла столь острый характер, что порой граничила с оскорблениями.

Первым обрушился на ЮАР Бутака. В пламенной речи он обвинял белых расистов в прямых преступлениях — убийствах, арестах, преследованиях черных спортсменов в ЮАР.

— При чем тут фольклорная борьба? — выкрикнул с места английский делегат. — Все ваши примеры из других видов спорта!

— Ах, вам этого мало! Вам жаль, что еще не уничтожили всех фольклористов! Так вот, сообщайте...

Новозеландский делегат заявил, что все это демагогия, что примеры Бутака приятны за уши и что сами африканцы не желают заниматься спортом вообще и борьбой в частности.

Это заявление вызвало бурю негодования.

А затем произошло сенсационное событие. Слово попросил второй новозеландский делегат. Ему хорошо известно, сказал он, что каждая делегация имеет на конгрессе один голос, его только что выступивший коллега — глава делегации; он не желает утверждать конгресс рассказом о внутренних делах своей федерации, но категорически настаивает на исключении ЮАР.

— Это мнение подавляющего большинства новозеландских спортивных организаций и спортсменов. И как бы ни голосовал здесь мой коллега от имени делегации, я хочу, чтобы вы об этом знали,— заключил он свою речь.

Слово взял Алхимов. Он привел выдержки из уставов спортивных организаций ЮАР, письма, цитаты из газет — словом, самые убедительные аргументы, собранные им и Дончевым во время их поездки.

— Рот что,— заявил Лусак,— картина для всех ясна. Прекращая прения, приступаю к голосованию.

Результат был ошеломляющим: лишь шесть голосов было подано против исключения ЮАР.

Последний, наиболее волновавший всех вопрос — выборы — решался на следующий день.

— Послушай меня, старого воробья,— сказал Алхимов Лукомский, зайдя к нему в номер,— уезжай в эту ночь к нам в отель, спать не дадут.

— Только трус покидает поле боя! — весело воскликнул Алхимов.

Лукомский оказался прав. Спать в эту ночь почти не пришлось. Сначала зашел Лусак. Он сделал последнюю попытку договориться. Что Алхимову нужно? Лусак во всем ему поможет, став президентом, пусть Алхимов сейчас снимет свою кандидатуру. Нет? Не пойдет? Ужаль, а они так хорошо сотрудничали...

Потом попросил зайти прихворнувший Рот.

— Я старый человек,— заговорил он, глядя на Алхимова,— но я люблю фольклорную борьбу. А он погубит ее, погубит! — Глаза Рота налились кровью, он стукнул кулаком по столу.— Вы знаете, Алхимов,— Рот доверительно наклонился к нему,— я бы предпочел, чтоб первым вице-президентом стали вы. Да, да. Лучше вы, чем Лусак! Но вы не пройдете. Так помогите Лундквисту. Он честный, он работает.

Но больше всех позабавил Алхимова Габерман. Он пришел, уселся в кресло и долго говорил на разные темы — о комиссиях, о Наташе, о погоде, о чем пошло. Потом как бы вскользь поинтересовался, не считает ли Алхимов нужным увеличить ежегодные взносы. Нет? А плату за проведение первенств мира? Тоже нет? А увеличить технический секретариат АЛФИ, что увеличило бы расходы? И это нет? Словом, если он правильно понял, Алхимов против транжирства и против дополнительного финансового бремени для национальных федераций.

— Этими вопросами,— обронил Габерман,— интересуются многие делегаты, в частности скандинавы, голландцы, бельгийцы. Хорошо, чтоб такого же мнения, как вы, придерживались и будущие руководители АЛФИ, кто бы они ни были.

Алхимов с трудом скрыл улыбку. Габерман был плохим дипломатом, но в конце концов ему нужно было знать хотя бы как казначею, за кого голосовать!

Габерман распроцался и продолжал свой вояж — он наверняка в ту же ночь побывает у Лусака и Лундквиста, а потом решит, кого поддержать — он и его друзья скандинавы.

Выборы начались в напряженном молчании. Один за другим делегаты получали бюллетени, заполняли их и опускали в урну, стоящую на небольшом столике перед счетной комиссией.

Поскольку на пост президента других кандидатур, кроме Рота, не было, его выбрали без голосования, как принято говорить, «аплодисментами». В разгар аплодисментов Рот появился в зале. Он выглядел

бодрым и отдохнувшим. Коротко поблагодарив конгресс, он сел на председательское место.

Наконец результаты голосования были готовы. Когда Рот взглянул в протокол, на лице его выразилось крайнее удивление, даже растерянность. Однако он сразу справился с собой, лишь бросил в сторону Лусака быстрый, зловещий взгляд.

— Объявляю результаты выборов,— негромко начал Рот, но голос его был хорошо слышен в самом отдаленном конце зала.— Участвовал в голосовании семьдесят один делегат. Голоса распределились следующим образом.— Рот сделал эффективную паузу.— Господин Алхимов — сорок семь голосов, господин Лусак — шестнадцать, господин Лундквист — восемь. Поздравляю господина Алхимова с избранием первым вице-президентом АЛФИ! Делегаты дружно зааплодировали.

— Вице-президентами вновь избраны господа Лусак и Холмер... Членами исполкома в порядке набранных голосов...

Но Алхимов не слушал. Вот и все. Окончились напряженные часы ожидания. Часы? Да нет, дни, недели, месяцы. Четыре года позади! Четыре года: страны, города, события, люди... Постоянная борьба за будущее любимого спорта, его процветание, за то, чтобы сотням тысяч спортсменов было желанно состязаться, радостнее побеждать. Что слушал этот спорт не крикливой рекламе, не наклейке, а мирному объединению людей. Словно гора с плеч! Но это лишь видимость. В действительности новая гора навалилась на него, во сто крат умножив обязанности, увеличив ответственность...

На следующее утро квялый исполком собрался на традиционное заседание. Члены исполкома нетерпеливо поглядывали на часы, ожидая появления президента и генерального секретаря. Наконец Лундквист, как всегда с непроницаемым лицом, вошел в зал. Он сухо поздоровался с присутствующими, достал из папки какую-то бумагу и начал читать по-английски, затем по-французски и испански.

Когда он кончил читать, в зале воцарилась тишина. Президент АЛФИ своим письмом официально уведомлял исполком и вообще Международную ассоциацию фольклорной борьбы, что в связи с ухудшившимся состоянием берет отпуск на ближайший год и, если за это время не почувствует себя лучше, вынужден будет уйти в отставку. Он не сомневается, что высокая компетентность членов исполкома, их преданность делу, их энтузиазм послужат залогом тому, что и впредь фольклорная борьба в мире будет расцветать и крепнуть, и прочее.

Лундквист объявил:

— По совету докторов господин президент еще вчера ночью вылетел домой, так как ему необходим срочный и длительный больничный режим. Учитывая письмо господина Рота и согласно уставу АЛФИ, обязанности президента будет выполнять первый вице-президент АЛФИ.— Он помолчал.— Желает ли кто-нибудь из членов исполкома оспорить это положение? Нет? Господин первый вице-президент Алхимов, прошу вас занять председательское место и впредь возглавлять АЛФИ.

Нельзя сказать, чтоб происшедшее явилось для большинства полной неожиданностью. В общем-то все предполагали, что, сделав свою правую руку — Лундквиста — первым вице-президентом, Рот уйдет на покой. Но теперь, когда первым вице-президентом стал Алхимов, многие думали, что Рот останется и будет по-прежнему руководить ассоциацией.

Алхимов спокойно пересел в соседнее кресло, удерживая по столу молоточком и провозгласил:

— Заседание открыто, господа!

Григорий

Глазов



О, как завидно что-то не уметь,
жить, ожидая светлого наитья,
и радостно предчувствием владеть,
не предвкушая всей цены открытья.
Так, в полночь в одиночестве пустом,
когда снегами замело дорогу,
ты ждешь,
что кто-то постучится в дом,
помчишься к двери, крикнув:

«Слава богу!»

Предвкушение парада

Одним достается в наследство
запомнить стожок на лугу...
Неглубокую память о детстве
я тоже в душе берегу.

Та память особого склада:
живет в ней с мальчишеских лет
мое предвкушение парада,
мое предвкушение отряда,
которому возраста нет.

Бывало, еще накануне
хотелось мне загадою знать
то место на скромной трибуне,
где буду с отцом я стоять.

Боясь, что просплю ненароком,
счастливым от взрослых похвал,
я в том предвкушении высоким
еще до рассвета вставал.

Я помню: пуста еще площадь.
Тревога моя все сильней.
Но вот она, в яблоках лошадь,
и с шашкой военный на ней.

Украшены флагами здания.
Как громко удар тишины!
Сквозит ветерок ожиданья.
За сквером шинели видны.

Я знал, что меня не обманут.
Я знал: состоится парад.
Не зря же по нитке натянут
линейных негнущийся ряд!..

Ах, сколько их было, парадов,
в честь самых больших годовщин,
пока под отеческим взглядом
мы выросли сами в мужчин!

Я памятью движусь по следу
далеких военных дорог:

шеренги парада Победы,
где вражьи знамена у ног.

А то предвкушение, что с детства
хранилось, как чистый родник,
мы отдали детям в наследство,
чтоб верой умножилось в них.

Нам символов лучших не надо!
Труби же, трубач, свою весть!
Пусть движется время парадом —
он символ того, кто мы есть!

Торжеств подошедших предвестник
в движении строгом един,
седин наших давний ровесник,
четающих наших седин.

Взросление

Еще стоят синоптики у карт
и стерегут последние метели.
Еще в саду бело.

Но тихий март
привстал с осевшей за зиму постели.

Так, значит, март!!

Пора иных забот.
Картофель начал прорастать в подвале.
Вчера последний допили компот —
пятнадцать банок с осени держали.

Но в том, что повторится сейчас,
идет игра невидимых смещений,
есть новый смысл у надоевших фраз
и острота неведомых смущений.

В ручей кораблик опустить — азарт!
Но из подъезда девочка выходит,
и мальчик руку за спину заводит:
стыдятся, кораблик прячет...

Новый март!

Облака

Нет, не забывчивость — иное...
Я шел с баклагой молока
и вдруг увидел: надо мною
плывут дымами облака

Тянулись к ним — окликнуть — сосны,
но обдирали им бока,
и плелся я в жаре несносной
с баклагой, полной молока.

Иду за ними — влево, вправо,
Меня толкают и ворчат:
«С утра хватило».
«Эй, ты, раззява!» —
шоферы мне вослед кричат.

Но вспомнить я уж был не в силах,
что дома ждут меня давно,
что теща тесто замесила,
что собрались с женой в кино...

В тех облаках навек осталась
прядь неслучайной седины —
так мне казалось.

Мне казалось,
что я их видел в дни войны.

Михаил Гусаров



✱

За поселком вновь пила запела,
Заплясал по бревнышку топор.
Золотое плотницкое дело
Веселит мне душу с давних пор.
Помню, в тесноте и полумраке
Лет двенадцать мы после войны
В довоенном, временном бараче
Маялись с дождем и до весны.
Наконец, помалу-понекому
Подкопили денег, как могли;
Плотников позвали на подмогу
Ставить дом,
И плотники пришли.
В гимнастерках, в сапогах армейских,
Бурные от ветра и жары,
Были с ними пила и стамески,
Молотки, рубанки, топоры.
И пошло веселье, как по нотам:
До заката с раннего утра
Молотки стучали по доскам,
Пели пила, пели мастера.
И под эту песню постепенно,
Облекая плотью каждый звук,
Летним лесом пахнущие стены
Поднимались — окнами на юг.
Та же песня ставила стропила,
Стружечкой тесовую вылила.
Дело не гнала, но торопила,
И навеки по сердцу пришлась.

✱

Спроси нас нынче —
Разве скажем,
Зачем тревожит сердце тот
Далекий край,
Где солнце в каждом
Цветке раскрывшемся живет,
Где ловит зорька
В парус алый
Тугие, дальние ветра,
Где стройной мачтой
Стать мечтала
Сосна кривая у двора,
Где каждый новый шаг,
Что века,
Где ярко верилось в мечту,
И было сердце,

словно эхо,
Отзывчивым на доброту...

✱

Парным теплом
Дышало бабье лето.
Темнела в речке
Тихая вода.
И, сердцем чьим-то в сумерках согрета,
Негромкая,
Как первая звезда,
Возникла песня
Над речной осокой,
Прошелестела по ветвям берез,
И голос чистый, молодой, высокий
Ее к деревне бережно понес...
Спроси, о чем она! —
И не отвечу.
Плыла себе
Живой волной с реки.
И мне казалось:

это ей навстречу
В деревне зажигались огоньки.

✱

Он неожиданно пошел
И, чистый, лег —
светло и грустно
На луговой шуршащий шелк,
На ветви, согнутые грузно;
На крыши дач, на провода,
На стог...
На влажный сруб колодца...
Такое утро навсегда
Тревожить душу остается.
Знать, первый снег, что первый свет,
Которым щедро жизнь согрета,
Не наши ль десять лучших лет
В себя вместило утро это!

Лесорубы

Почти весь день —
От зорьки до заката
Гревели пила, ухали стволы.
Азартные, сезонные ребята
По всем статьям
В работе были злы.
Стонали сучья.
Сосны, ели, кедры
Великим гулом наполнили тайгу
И с треском превращались в кубометры
И в честную рабочую деньгу.
А к ночи,
Повидавшись с кашеваром
И разомлев с устатку от еды,
В бараче парни падали по нарам
И засыпали, сделанным горды.
Лишь бригадир,
Мушкет в руках, из местных,
Неслышно выбирался за порог.
И под навесом, возле пил железных,
Пыхтел подолгу красный огонек.
Першила в горле крепкая махорка.
А в тишине унылой —

до реки,
Сивозь дым и темь,
Кругом белели горько
Еще живые, теплые пеньки.
И чудилось бывалому вояке,
Что над барачным, временным жильем
Седой кедрач задумался во мраке
И тяжело вздыхает о своем...

Сергей Минацканин



Юный-юный, не ради успеха
я историю делал, как мог:
в кинохронике нашего века
отразился сквозной свитерок.

Дождь прошел. И на улицах мокрых
в черно-белой густой синеве
сигаретку дымящую отрок
осторожно сокрыл в рукаве...

После были любовь и мученья...
Что превыше минуты святой
и божественного ощущения
быть толпою и быть собой!

Снежная книга

...И я ее листал,
ощупывал ладонью
снег, белый на бетоне,
и серый, где металл...

Листал, но не устал
от жизни горемычной,—
здесь грубый дым витал
над родиной кирпичной.

Недаром сердце радо,
что в сумерках летит
ночного снегопада
застенчивый петит.

По деревьям — курсивом,
по крышам — прописным,
был снег над домом — синим,
у окон — золотым...

Был розовым — над красным
подфарником такси,
а в общем — был прекрасным
от века на Руси!

Зима сырую верстку
оттиснет нам свою,
а я без шапки просто
под выюгой постою.

И в этой книге снежной
вычитываю я
о снах любви нежной,
о власти бытия...

Прозрение и навек,
безмерность и предел,
и парочку поправок
к той книге углядел.

И сейчас листаю
ее, объемом в жизнь,—
все тоньше мгла ночная
сквозных ее страниц...

Массовка

Свет «юпитера» льется в потемки
и звездой сияет во лбу:
за пятерку на массовой съемке
я усердно «работал» толпу...

Авария

О чем вы думали, когда
шофер не удержал машину,
и «газ» скользнул по кромке льда,
сжимая сумрак, как пружину!!

Железом стиснутая тьма
сработала, как будто выстрел,—
и «газ», как конь, почти стоймя,
завис над гибельною высотой...

Глотая зимний воздух ртом,
вы начинали жизнь сначала,
исполняя счастья и печали,
и так подумали — потом:

— Люблю, страдаю и ревную,
благодарю судьбу земную,
ее небесные законы,
ее земные тупики,
ее чугунные заводы,
ее ночные сквозняки,

принемля жизнь без оговорок
и чувствуя ее насквозь,

за все аварии, в которых
нащупать Время довелось...

Романс

Я ревную тебя, я ревную в дороге и дома,
и порою взгрустнется среди января,

что кому-то на плечи
прекрасные
вскинешь ладони,
чтобы губы открыть,
поцелуй
безразличный дая.

Отгорели кручины — вроде дыминой
старинной лучины,
заметает снегами зима небосвод голубой...

Я ревную тебя безо всякой на это
причины...

Я ревную тебя — мы давно
разминулись с тобой.

«Осталось работать в совхозе.»



«10-чость», знаешь, иногда бывают такие минуты, когда хочешь с кем-то поделиться, рассказать о себе, о своих товарищах.

Я хочу написать о нашем 10«а», который почти весь остался работать в родном совхозе.

Многих наше решение очень удивило. Как это мы, десятиклассники, да к тому же многие закапчивающие школу на «четверки» и «пятерки», остаемся работать в совхозе. Много было ссор и споров, приходилось переубеждать родителей. И все же мы остались верны своему решению. Мы работаем и гордимся этим! Было очень обидно за нескольких наших товарищей, которые испугались трудностей и ушли, а трое просто-напросто сбежали. Сейчас нас в совхозе работает 22 человека. Мальчишки — помощниками комбайнеров, рабочими на заводе по приготовлению сеной муки, а мы, девочки, создали молодечную животноводческую бригаду.

Смешно вспомнить первый день работы, когда мы впервые встретились со своими подопечными. Коровы боялись нас, а мы их. Сначала было стыдно за то, что у тебя ничего не получается. (После первой дойки я весь вечер проплакала — думала, не смогу работать.) Вспоминаю одну мою буренку. В первый день она не хотела стоять в станке, то и дело скидывала аппарат, который с таким трудом был надет. Ее пришлось даже привязывать — может быть, от перемены хозяйки она так себя вела? Но на второй день я решила взять ее лаской. Гладила битых полчаса. Теперь, как я подхожу к станку, она начинает мне руки лизать.

Сейчас уже мы втянулись в работу и не очень устаем, ну а в первые дни... Да и непривычно было вставать в 4 часа утра и бегом на работу. И все же это здорово — своим трудом радовать других. Когда занимаешься любимым делом, легко работается. Ведь главное для нас, молодых, найти такое дело, чтобы удовлетворяло тебя и приносило пользу людям.

Если бы вы знали, какой у нас бригадир — Слава Александрович! Окончил культурно-просветительный техникум, работал завклубом в селе и вел у нас в школе уроки пения; очень любил свою работу. Его когда узнал о нашем решении, то вместе с нами пошел в животноводы. Правда, недавно признался, что поначалу «дрейфил», думал, испугаемся, разбежимся, не сможем. До сих пор придирчиво осматривает доильные аппараты — хорошо ли мы их вымыли. А вечером в «красном уголке» Слава ставит каждой оценку за рабочий день.

Руководство совхоза отнеслось к нашему почину серьезно. Не только наши наставники, но и директор совхоза — все они в первые дни были с нами, помогали нам. Для нас не жалеют ничего: купили холодильник, стиральную машину, радиоприемник, телевизор.

И нам, конечно, хочется отблагодарить их, своим трудом возместить все расходы. Живем мы в общении, живем дружно и весело. Времени хватает и на то, чтобы почитать, сходить в кино, на танцы. Танцуем под магнитофон, а когда приезжает из города ансамбль, для нас праздник. Конечно, очень жаль, что у нас в клубе нет своего оркестра. Но это дело поправимое.

Главное, оставшись работать на селе, мы поняли цену своего хлеба, поняли, как нелегко добывать эти капли молока. Иногда вспоминаешь, как в школе спрашивали друг друга: «Ну, куда думаешь дальше?» и многие шутили отвечали: «Буду дояркой». А сейчас эти слова сбылись. Мне нравится работа на ферме, хотя, честно, я никогда не думала выбрать себе именно эту профессию. Раньше я готовилась поступить в Калининградский университет на филологический факультет, но теперь в моей жизни переворот. Буду поступать на заочное отделение в сельскохозяйственный институт. Хочу, чтобы вся жизнь была связана с селом, где я родилась и выросла!

с. Прохладное,
Калининградской области.

Вера ГАРМАЙТЕ

ЖИЗНЬ ПОДСКАЗАЛА РЕШЕНИЕ

Многие наши читатели, вероятно, помнят очередное заседание «Клуба 20-летних», где рассказывалось о ребятах, пожелавших остаться работать на заводе.

В разговоре сверстников выяснилось, что кое-кто из них пошел в выбор профессии, не продумав своего первого шага во взрослую жизнь.

И вот перед нами еще один 10 класс и та же проблема — выбор жизненного пути.

Ехала я в Калининградскую область с некоторым опасением, боялась, что может получиться так же: разочаруются ребята, не найдут своего места и будут жалеть о том, что поспешили.

Но, поговорив с директором совхоза М. К. Бородиным, познакомившись с автором письма и ее подругами (а все они — почти мои ровесники), подумала, что здесь о случайности говорить не придется.

Настоящую привязанность к земле, уважение к сельскому труду привили им школа, совхоз, комсомольская организация.

С восьмого класса ребята работали в производственно-учебнических бригадах на опытном поле, ухаживали за животными, изучали технику. Причем совхоз давал для практики новые машины, а не развалюхи — знали, затраты окупятся.

Все это исподволь и подготовило решение ребят. Они поняли, осознали свою нужность и приняли твердое решение.

Их решение было самостоятельным. Сами решили остаться в селе, сами обратились через газету к выпускникам области с предложением поработать после школы в своих совхозах и колхозах. Развернули такую деятельность, что и взрослым пришлось беспокоиться.

«Ну и работу задали нам ребята — уж эти их почины!» — с плохо скрытой гордостью сказал Виктор Казенов, первый секретарь Славского райкома комсомола.

Ребята действительно по-взрослому поняли нужды своего хозяйства. К ним вполне можно отнести слова Леонида Ильича Брежнева, обращенные к участникам слета выпускников школ Костромской области, изъявившим желание работать в сельскохозяйственном производстве: «Теперь от результатов вашего труда во многом зависит достаток народа, богатство страны».

Когда я приехала в село Прохладное, было пять часов вечера — вечерняя дойка.

Недавно прошел дождь, и на выгоне чавкала грязь. Мне немного страшновато было в этом «коровьем царстве», а девочки хоть бы что. Весело похлопывая своих подопечных по бокам, загоняли их в станки. Все делали быстро, ловко, так, как будто уже давно работают на ферме.

Труднее было познакомиться с мальчишками, которые работали на тракторах, убрали сено. Чумазы, счастливые тем, что им доверили машины, они говорили со мной мимоходом, в перерывах между рейсами. Говорили сдержанно — как будто не произошло никаких перемен в их жизни. Они давно были готовы к своему выбору. Тракторист Леня Сергеев обосновал его так:

— У нас в совхозе есть еще старые фермы, где труд тяжел, но если мы уедем туда, где работать легче, кто же здесь сделает это дело за нас?

Вечером приехал директор совхоза, расспрашивал, как прошел трудовой день, не было ли каких неполадок с техникой.

Понятно, что при заботливом отношении руководства совхоза, ребятам вряд ли придется жалеть о потраченном времени — ведь здесь они могут при-

смотреться к настоящей трудовой жизни, научиться работать в большом коллективе.

В этом году многие мальчишки и девочки из бывшего 10-го «а» будут заниматься на подготовительных курсах, а в следующем те, кто захочет, пойдут по рекомендации совхоза учиться в сельскохозяйственные вузы и, естественно, вернутся в свое село уже специалистами.

В таком хозяйстве, в таком коллективе у ребят есть возможность выбрать целью своей жизни настоящее дело.

Вскоре после моей поездки в редакцию пришло письмо из Саратова от десятиклассника Гены Тернопольского.

Он рассказывает о том, как вместе с классом работал на уборке урожая: «...И знаете, со мной случилось чудо — я, коренной городской житель, влюбился в деревню. Возможно, это звучит напыщенно, но это так. У меня просто дух захватывает, когда смотрю на поля. Конечно, мы не смотрели, а работали: пололи свеклу, капусту, дергали, вязали в пучки морковки и редиску. Выполнять норму было трудно, но все равно приятно, оглянувшись, увидеть за собой чистое, обработанное поле. Или вяжу пучки, а сам представляю, как женщины в магазине их будут перебирать, искать, какой получше.

Запомнилось выступление старшего агронома. Он рассказал, как нужны люди в сельском хозяйстве, приглашал работать. В общем, хочу после школы поехать в село.

А что делать с родителями? Когда сказал им о своем намерении, то их чуть инфаркт не хватил. И отец и мать у меня с высшим образованием, папа даже доцент, а тут сын будет механизатором. В крайнем случае, они согласятся на Тимирязевскую академию. Ну и мальчишки в классе подняли меня на смех, решили, что все это несерьезно.

Что же делать с родителями и с друзьями? Сейчас ведь многие ребята после школы остаются работать в совхозе. Они, так же как я, привязались к селу.

Расскажите о них, быть может, тогда родители и друзья поймут меня».

В выборе профессии, жизненного пути для кого-то главным ориентиром оказывается мода, советы товарищей, традиции семьи. В решении же других проявляется собственный вкус, свое понимание общественной необходимости.

Наверное, рассказ о прохладненских ребятах будет ответом и Гене Тернопольскому и другим ребятам-горожанам, которых привлекает сельский труд.

А. ПУГАЧ



«СТРЕМЯСЬ ДУШОЮ ВВЫСЬ...»

С этого номера мы вводим
новую рубрику —
«Твой ровесник».

Это разговор о молодых авторах
написанных и ненаписанных книг,
картин, песен; о судьбах, запечатлевших
типические черты советской жизни
20-х — 70-х годов нашего века;

о творческих судьбах людей
разных национальностей,
чей пример — даже если жизнь
их оборвалась — остается ярким светом
чистой совести, гражданского подвига,
красиво прожитых дней.

Читатель!

В рубрике «Жизнь — песня»
мы писали о Муссе Джалиле,

Оскаре Лецинском,
Эйжене Веверисе и других писателях,
проявивших героизм и личное

бесстрашие в исключительных обстоятельствах.

Но есть судьбы, есть художники,
которые и в обычных условиях
своим духовным горением,
прекрасным озарением души.

бескорыстием и благородством служения людям
заслуживают памяти потомков.

Им и посвящаем
мы нашу новую рубрику.

Удивительное поколение!
«Я должен чувствовать свое дви-
жение... Я должен чувствовать свой рост,
свой бег, чувствовать ветер времени, свистящий во-
круг меня, бьющий меня, сваливающий меня с ног,
обессиливающий, возбуждающий и неизбежный...
Так хочу я жить — задыхаясь, сложно, тяжело, по-
рывисто, неровно, глубоко, стремительно, крупно.
Да, так хочу жить я, так буду жить я».

И стихи:

Мы горели,
порой забывая о личном,
Потому что
величие
твое и мое
Лишь в общей победе,
лишь в общем величье
Мы открываем
и познаем.

Василий Кубанев, которому принадлежат эти стро-
ки, ушел добровольцем на фронт Великой Отечест-
венной войны в первый же день ее. Он не успел
совершить воинского подвига. В 1942 году В. Куба-
нев умер от тяжелой болезни...

Но этот юноша относится к числу тех мальчишек
тридцатых годов, которые обнаженным чувством,
чистым сердцем и ясным взором вбирали в себя ве-
ликие понятия нашего века: марксизм, революция,
коммунизм, братство, равенство и свобода. Души их
были воспламенены ярким и ярым пламенем Октяб-
ря. Эмоции их были искренни, энтузиазм — беско-
рыстен, вера — сильна до наивности, порывы — па-
менны, желания — возвышенны, гуманизм — всечело-
вечен, масштабы мышления — мировые.

«Многие из тех, кому сегодня пятьдесят... в свое время всеми правдами и неправдами прибавляли себе год, а то и два-три, чтобы быстрее попасть на завод, поступить на рабфак, в аэроклуб, в Красную Армию, Молодежь... составляла основную массу бойцов Вооруженных Сил, встретивших грубую вражеские орды в июне 1941 года», — это свидетельствует очевидца жизни В. Кубанева и его сверстника Б. Стукалина. И еще: «Бесстрастная статистика свидетельствует: граждан рождения 1920—1924 годов насчитывается ныне меньше, чем любых других «соседей» возрастных групп...»

Удивительное поколение!

Сегодня с дистанции лет поэзия В. Кубанева, быть может, не воспринимается как явление яркое и самобытное. К тому же дневники его, письма и статьи¹ порою более глубоко отражают время. Нас в первую очередь интересует личность. Ее особость. Потому что в ней, через нее отразилась эпоха, система ценностей, которую мы, люди семидесятых, наследуем, продолжаем, развиваем.

Василий Кубанев торопился жить и чувствовать спеша, торопился вчерашний свой шаг во всеобщий марш энтузиастов. «Радостное нетерпение вечно мучило меня», — записал в эти годы старший современник В. Кубанева, поэт Владимир Луговской. Радостное нетерпение всю жизнь мучило Василия Кубанева.

Можно с уверенностью сказать: все, что было лучшего в его поколении, в одухотворенности эпохи, воплотилось в эмоциональных строчках стихов, очерков, статей и писем Василия Кубанева. Владимир Ильич Ленин был для него образцом Человека. Ленину он хотел посвятить большой роман-эпопею. «Сегодня моей душой овладел один огромный замысел...» — читаем мы в одном из писем шестнадцатилетнего Кубанева... Ритмы и рифмы трибуна революции «гудят» в строчках начинающего поэта Василия Кубанева, а лозунговые стихи Маяковского были для него руководством к действию: «Скоро всем нам счет предьявят: дни свои ерундой не мельча, кто и как в обыденной яви воплотил слова Ильича!»

И Кубанев не мелочил дни пустяками. Вспоминается в связи с этим дискуссия старшеклассников в одном из выпусков «Алого паруса» в «Комсомольской правде» в 1974 году. Спорили на тему «Можно ли думать о великом?». «Я раньше считала, что до окончания школы ничего не надо делать и не думать о том, что не касается учебы», — пишет одна старшеклассница. О чем думал до окончания школы шестнадцатилетний юноша тридцатых годов Вася Кубанев, достаточно убедительно свидетельствуют его дневники. А думалось вот о чем: «Много, невыносимо много надо сделать нам, поколению второго двадцатилетия XX века. На наших плечах возлежит история». Вот так-то: возлежит история! Это ли не убедительный ответ нынешним шестнадцатилетним, выбирающим, о чем думать?

И Кубанев спешит овладеть культурой, которую выработало человечество.

«Сегодняшний вечер и ночь запяты! — нужно учиться на письмах. Все остальное время отдам философии и психологии».

«Книгу (одну) я прочитываю каждый день. И читаю с подчеркиваниями и с выписками».

«Год тому назад я начал самостоятельно изучать французский язык — не по учебникам, а по романам. Через девять месяцев я уже прочел на французском языке две книжки».

«Читаю Цезаря по-латыни».

«По-немецки... иногда пишу двум из друзей своих».

«Очень много мыслей. Строк четыреста в день записываю в своих заметках. И, как всегда в таких случаях, чувствую хороший подъем».

Все приведенное — записи ученика десятого класса, живущего отнюдь не в столице, а в Мичуринске, затем Острогожске. Строчки эти, как и вся жизнь Василия Кубанева, — убедительный ответ тем юношам и девушкам, которые жалуются на бедность «захолустной» жизни. Видимо, независимо от географии, можно взрастить в себе и «захолустье» и «столицу духовного счастья». И вот как это становление «столицы в себе» происходило, как накапливались духовный потенциал одаренного юноши вопреки обстоятельствам (а именно так всегда и бывает), как «шли, стремясь душою высь», интересно и поучительно нам, живущим в годах семидесятых.

Радость должна иметь имя. Для Кубанева это была жажда познания. «Разве не стоит отдать жизнь на то, чтобы узн а в а т ь. Стоит, конечно, стоит. И та же жмесь, стихами оформленная:

Я — как и все, но я хочу быть выше,
Взмыть над собой...

И хотя в сборниках Кубанева есть лишь ссылка на роман Н. Островского, читателя не оставляет ощущение духовного родства литературного героя с его младшим современником. Роднит Кубанева с Павкой Корчагиным та же бескомпромиссность, та же одержимость жаждой знания, та же колоссальная работоспособность, тот же классовый подход к оценке явлений, то же стремление посвятить свою жизнь главному делу, ради которого стоит жить, — духовному раскрепощению человека.

Кубанев ценен и интересен нам прежде всего потому, что он был сыном своего времени, потому что формула его личности: максимализм эпохи, множенный на личную духовную одаренность. Конечно, он был сыном своего времени. Но он был в числе лучших сыновей. Ведь среди его поколения были люди всякие, потому так многолики проявления добра и зла. Ведь вырвалось же однажды у Кубанева недвусмысленное признание: «Меня удивляет и возмущает в моем поколении дьявольская самолюбивость и легкомыслие». Слова подобные можно нередко услышать и о сегодняшней молодежи из уст старших наставников. Личный пример Кубанева — еще одно подтверждение непрочности легкомысленных обобщений. И пример Кубанева, самоотверженно осваивающего ценности жизни, — пример поучительный.

Лучше всего Василий Кубанев, мечтавший жить так, чтобы «ни словом не наглатать потомкам», беседует с нами сам, своими строчками, поэтому позволю себе еще привести отрывок «из Кубанева»:

«Пусть даже я никогда не научусь писать хорошие книги — не беда! У меня остается жизнь, которая, как бы ни была она мала и как бы ни казалась бедна, всегда сильнее книг, потому что она вечна и сверкающая, а книги — только слабые и краткие отблески ее».

Николай ТИМОФЕЕВ

¹ В издательстве «Молодая гвардия» в 1973 году вышел сборник: литературного наследия В. Кубанева «Если за плечами только восемнадцать...».



Эрнст ГЕНРИ

СЕМЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

Это не о календаре и не о погоде, а об одной странице одной газеты. Каждую среду в «Литературной газете» так примерно озаглавлена 9-я полоса.

Страничка эта полностью посвящена международным делам. Это и побуждает меня писать о ней.

В нашу эпоху нельзя жить, не интересуясь международной политикой: она слишком активно интересуется нами самими. Это не фраза, а точный факт. Отцы и деды нынешней молодежи могут во всех подробностях рассказать о том, что это значило в их собственной жизни. Считать, что современного молодого поколения в отличие от старшего это уже меньше касается, наивно. То, что происходит за рубежом, и в связи с этим наша собственная внешняя политика становятся теперь для ВСЕХ важнее с каждым днем.

9-я полоса «Литературки» хороша тем, что она в какой-то мере — пусть и не всегда — динамична. Нет длинных, скучноватых статей. Нет нудных, не очень существенных рассуждений. Особенность полосы — публицистическая острота. Идет живая артиллерийская перестрелка с противниками — с теми, что на Западе, и с теми, что на Востоке.

Сегодня — атака на беснующихся расистов, через неделю — дуэль с западногерманским реваншистом, через месяц — разгадка какого-то секрета НАТО. Временами — повторяю, не всегда — кажется, что сидишь в кино и смотришь документальный фильм с довольно дерзким сценарием.

Вот постоянные рубрики 9-й полосы «Литературки»: «С места события», «За кулисами события», «Актуальное интервью», «Сообщаем подробности», «Реплика», «Совершенно секретно», «Китай сегодня», «Летопись разрядки» и другие. Пестро? Но разве не таков современный мир, где бури одна за другой чередуются на всех пяти континентах, где «тихий» уголков уже нет и не будет?

Подсчитываю: в четырех номерах, с 18 августа по 8 сентября 1976 года, на полосе напечатано 28 материалов (кроме фотоснимков). Тематика охватывает 12 зарубежных стран. Читатель примет не просто информируется, а получает политическую зарядку.

Вот полоса от 8 сентября. Интервью с Анджелой Дэвис в городе Роли в США, корреспонденция из Лиссабона о португальских правах, корреспонденция из Бонна «Не прыгнет Штрауса», статья обозревателя о смене правительства во Франции, коротенькие рубрики «Сопоставим» о ЮАР и «Дополнительный штрих» о предстоящих президентских выборах в США.

Конечно, это не исчерпывающие тему материалы. Они скорее возбуждают интерес, чем по-настоящему его удовлетворяют. Но для того, кто хочет быстро ориентироваться в сверхающем калейдоскопе международных событий, полоса в «Литературке» бывает неплохим помощником, пусть и помощником, а не учителем.

Ее авторы обычно идут в атаку, что-то раскрывают, кого-то расширяют, с кем-то спорят, тем самым побуждая вдумчивого читателя обратиться к более подробному чтению. Уже сказано, что все материалы отличаются краткостью. Но ведь писать скато несравнимо труднее, чем писать длинно. Хочет ли автор того или не хочет, ему приходится до предела отточить свою мысль и свою информацию; первое обычно гораздо сложнее второго. Такое дается не сразу и не легко. В журналистике бывают свои «моцарты», у которых как будто все льется «само собой», но таких не так уж много.

Я не уверен, но не исключаю, что значительная часть авторов 9-й полосы «Литературки» — сравнительно молодые люди. Это отнюдь не значит, что поэтому они пишут свежее, чем авторы старших возрастов. Физиология тут ни

при чем. Журналистам, как правило, приходится долго учиться и немало помучиться, прежде чем они по-настоящему узнают, как держать в руках перо, как смотреть на мир, как отделять главное от побочного, как — это особенно важно — проверять и критиковать самого себя. Все это так. Но когда молодость сквозит через статью, читать ее часто по-особому занимательно.

На этой полосе пишут, правда, и убежденные сединами.

Может быть, стоило бы как-нибудь провести опрос читателей: кто, по их мнению, пишет интереснее. Беспристрастность обеспечена, так как читательская масса авторов в лицо не видит, зато редакция их знает лично. Не только с профессиональной точки зрения такая своеобразная «социологическая» анкета не была бы лишена интереса.

Комплименты делать редакции «Литературной газеты» я не хочу. Помимо плодотворных встреч, у меня с ней, как у всех авторов, бывают творческие споры. В частности, я отнюдь не всегда доволен всем, что читаю на 9-й полосе. Было бы странно, если бы это было не так. У каждого свой вкус, свои склонности и пристрастия, свои симпатии и антипатии, и это хорошо. Газет без творческих споров вокруг них и внутри них не бывает — по крайней мере живых, хороших газет. Автор временами восстает против редактора, редактор — против автора, читатель, не сомневаюсь, нередко клянет того и другого, тот и другой, бывает, сердятся на читателя (хотя в таких случаях обычно виноваты они сами).

Все это живая диалектика печатного слова, так, а никак не иначе, и рождается материал для формирования общественного мнения. Мне, как, вероятно, почти всем моим коллегам по ремеслу публициста, было бы скучно, если бы все шло по конвейеру, «тихо и гладко». Газета не завод. Пуб-

лицистика никогда, ни теперь, ни через сто лет, не утонет в кибернетике и автоматике.

Я вспоминаю роман талантливого шведского писателя Пера Валё о гигантском газетном концерне в буржуазной стране, захватившем всю без исключения печать в свои руки и уже не знающем конкуренции. Газетное слово стандартизировано до предела, последние самостоятельно мыслящие журналисты загнаны куда-то на чердачный этаж, не печатаются (хотя и оплачиваются), никаких споров в редакциях уже нет и быть не может. Мысль полностью автоматизирована. Это, конечно, фантазия, но многие журналисты в западных странах действительно опасаются, что процесс концентрации и централизации капитала в издательском деле когда-нибудь приведет именно к чему-то такому.

Критиковать и спорить надо, хлопать по плечу — тоже. Одно другому никогда не мешает. Поэтому я надеюсь, что 9-я полоса «Литературки» останется свежей, боевой, когда надо, зубастой. Но также и деловой. Стоит продолжать печатать и более глубокий, а иногда и более развернутый материал.

«Семь дней недели». 52 выстрела легкой публицистической артиллерии (иногда более важной, чем тяжелая). Мне кажется, многие из молодых научатся чему-то нужному, следя за этой полосой в «Литературной газете», а главное — повысят свой интерес к международной жизни.

Светлана
КАЙДАШ

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА



Вот и еще одна книга о декабристах легла на стол перед читателем (Э. А. Павлюченко «В добровольном изгнании. О женах и сестрах декабристов». «Наука», М., 1976), что дает возможность еще раз подумать об этих замечательных женщинах, оценить значение их подвига.

В ночь казни пятых декабристов императрица записала в своем дневнике, что «все прошло без каких-либо беспорядков», что ее царствующий супруг «бедный Николай так много перестрадал за эти дни» и что «жены высылаемых намерены следовать за своими мужьями в Нерчинск». Это первое известие о решимости жен отправляемых на каторгу декабристов разделить судьбу своих мужей.

Время стирает следы возможно — в прошлом — выбора. Нам всегда кажется, что все в истории могло случиться только так, как это случилось. Но нет чувства бо-

лее обманного. Выбор есть всегда. Был он и у жен декабристов, и не все распорядились свободой этого выбора одинаково. Некоторые воспользовались разрешением императора считать себя вольными от обязательств перед своими «преступными супругами» и вышли во второй раз замуж при живых, сосланных в Сибирь мужьях. Так, увы, поступили жены декабристов В. Лихарева, П. Фаленберга, Иосифа Поджого.

К тому же жестокий и утонченный лицемер царь Николай знал, как трудно матери расстаться со своими детьми, и потому запретил женам, намеревавшимся ехать за мужьями-декабристами, взять детей с собой. Муж или дети — вот еще какой трагический выбор должна была сделать каждая из них. Мария Волконская оставила на родственников сына, Александра Муравьева — сына и двух дочерей, Александра Давыдова — шестерых детей, Полина Гебль — дочь, Наталья Фонвизина — двух сыновей, Анна Розен — сына, Мария Юшневская — дочь... Долг перед своими сыновьями мужьями они поставили превыше всего.

Их было одиннадцать: девять русских женщин — Екатерина Трубецкая, Александра Муравьева, Наталья Фонвизина, Мария Волконская, Елизавета Нарышкина, Анна Розен, Александра Давыдова, Мария Юшневская, Александра Ентальцева, и две француженки — дочь гувернантки Камилла Ледаито и модистка из модного магазина Полина Гебль, — добившиеся от царя специального разрешения приехать в Сибирь объединяться со своими закованными в кандалы женихами — Ивашевым и Анненковым.

Выбирали, впрочем, не только жены, но и сестры, матери, друзья. Ничем не помогла, например, единственному сыну богатой Анненкова. Зато не только своих сыновей, но всю декабристскую колонию обеспечивала всем необходимым мать братьев Муравьевых. Сестра Волконского присвоила себе значительную часть состояния сосланного брата. Но сестра Лунина с риском для себя хранила антиправительственные рукописи его, присланные ей из Сибири. Сестры Бестужевы вслед за женами декабристов приехали к братьям в ссылку. То же сделала сестра и мать К. Торсова.

О каждой из этих замечательных женщин можно было бы, наверное, написать книгу. Но история, в общем, прехотливая и по своему распорядкается памятью о прошедшем. Некрасов в поэме «Русские женщины» поставил свои

поэтический памятник Трубецкой и Волконской. О Полине Гебль-Анненковой написал роман «Записки учителя фехтования» знаменитый А. Дюма, хотя, по выражению Достоевского, не столько написал, сколько «перевертел». Роман этот, однако, был запрещен в царской России и опубликован лишь после революции. Только Полина Анненкова и Мария Волконская оставили свои «Записки».

Об остальных женах декабристов мы знаем несравненно меньше, и это досадно.

Познакомившись с самой, вероятно, скромной из них — Александрой Давыдовой, композитор П. И. Чайковский (он узнал ее уже в старости, по возвращении Давыдовой из ссылки) писал, что она «одно из тех редких проявлений человеческого совершенства, которое с лихвой вознаграждает за многие разочарования».

Различными были судьбы этих замечательных женщин до Сибири, по-разному сложилась жизнь в тюрьме, в Петровском заводе и потом в многолетней ссылке. Александра Муравьева, Екатерина Трубецкая, Камилла Ивашева похоронены в сибирской земле. Давыдова, Ентальцева, Юшневская вернулись на родину вдовами. По словам Достоевского, эти «великие страдальцы» «всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть».

Книга Э. Павлюченко и рассказывает об их жизненном подвиге, о благородных и трудных судьбах. Вышедшая почти одновременно с другой хорошей книжкой о декабристах Марка Сергеева (издательство «Молодая гвардия»), научно-популярная работа Э. Павлюченко представляет свод бережно собранных сведений о каждой из них, дает достоверные биографические портреты. Особо следует упомянуть об архивных материалах, письмах, в ряде случаев впервые опубликованных Э. Павлюченко. Все это заметно усиливает притягательность работы, написанной к тому же вполне доступно для широкого круга читателей, в том числе и молодых, интересующихся страницами отечественной истории.



«ВСЯ НАША ПЛАНЕТА— ГОРЯЧАЯ...»

К 70-летию

Романа КАРМЕНА



Другу Роману Кармену, кинематографисту, которого любят и уважают во всем мире, чье художественное творчество проявилось во всех частях света, где народы сражаются за свободу, с сердечными чувствами и уважением от товарища президента Чили

Сальвадора АЛЬЕНДЕ.

(Надпись на фотографии)

В рабочем кабинете Романа Кармена я просматриваю фотографии разных лет. Их сотни. Удивительный по своему масштабу мир раскрывается передо мной. Мировая история, все величайшие события, начиная с двадцатых годов нашего столетия.

И люди, люди, люди... Славные, блистательные имена, гордость человечества. Георгий Димитров и Фидель Кастро, Долорес Ибаррури и Пабло Неруда, Че Геварра, Хо Ши Мин, Джавахарлал Неру. Всех не перечислишь, обо всех не расскажешь. Встречен-

ные на разных дорогах жизни, запечатленные на киноплёнке, они стали друзьями, частицей жизни советского кинодокументалиста.

— Иногда меня спрашивают, — говорит Роман Лазаревич, — если бы я, вернувшись в юность, еще раз выбирал профессию, кем бы я стал? Я отвечаю: кинодокументалистом. Почему мне дорога эта профессия? Она давала мне возможность всегда быть в гуще жизни, в гуще событий, среди людей. Мы часто говорим о «горячих точках планеты». Для меня вся наша планета — горячая. И дело не в том, стреляют ли на этой земле, бомбят ли там, или не бомбят. На всей планете кипит жизнь, интересная, увлекательная жизнь народов и стран. Конечно, мне везло в моей профессии: с кинокамерой я принимал участие во многих острейших схватках народов за свою независимость, против фашизма и колониализма.

...Я вспоминаю многие рассказы Романа Кармена, книги, написанные им. В них очень четко проведена мысль: главное в биографии документалиста не в том

На снимке сверху — Р. Кармен на фронте. 1941 г.



Р. Кармен
и Ф. Кастро.

что он видел в жизни, главное — как смотрел он на все это, как его ощущения претворялись в кино-репортажи, в фильмы, в лаконичные сюжеты кино-журналов.

...Из детства тянулись эти воспоминания. Оживали в памяти рассказы отца, одесского литератора Л. О. Кармена о 1905 году... Море было теплым и ласковым, только в воздухе пахло гарью и порохом. И живой людской поток устремился к концу мола, к палатке, сделанной из парусов. Там лежал матрос Вакулинчук, свезенный командой броненосца для похорон. На груди у него, на скрещенных руках, лежала записка: «Господа одеситы. Перед вами лежит тело зверски убитого матроса Григория Вакулинчука, убитого старшим офицером броненосца...» А в конце — призыв: «Один за всех, и все за одного». И плакали женщины, целовали руки покойного. Слышались рыдания...

Сотни паровых гудков и сирен. Толпа, ора-
торы.

Ночной пожар в порту...

...Эти рассказы вспомнил Роман Кармен на горящей испанской земле, когда в порту Барселоны снимал толпы ликующих людей — они приветствовали революционный крейсер «Хаймс примеро», ставший на сторону республики. Был август 1936 года.

Тогда весь мир жил событиями в Испании, народ которой первым бросил вызов фашизму, стал на защиту человеческого достоинства, и все вдруг поняли, что ни отомкнуться, ни откупиться уже нельзя.

Надо было сражаться.

И в Испании сражались граждане многих стран, продемонстрировав в борьбе за республику силу высочайшего пролетарского интернационализма.

Многие тысячи метров пленки связали в эти месяцы советские кинооператоры Кармен и Макасеев. Из этих кадров были смонтированы киновыпуски «К событиям в Испании», фильм «Испания», в котором режиссер Э. Шуб и писатель В. Вишневский от простой репортажной событийности сумели подняться до больших обобщений.

Из этих кадров в Голливуде был смонтирован фильм «Испания в огне», текст к нему написал Эрнест Хемингуэй. В Париже: из хроники Романа Кармена про-

грессивные художники Франции создали фильм с комментариями Ильи Эренбурга.

Да и позднее многие кинематографисты возвращались к этим съемкам в своих антифашистских фильмах.

Бывает, что происходящее сегодня властно вынуждает перелистать страницы прошедшего. Сам Кармен вернулся к этому материалу через тридцать лет. Вернулся вместе с писателем Константином Симоновым. Вернулся, потому что надо было рассказать нынешнему поколению о тех наших парнях, что дрались в Испании, — о них так мало писалось и говорилось. Хотелось вспомнить интернациональные бригады, осажденный Мадрид, траншеи Гвадалахары... Но самое главное — рассказать о том, какое место заняла Испания в жизни поколения, первым вышедшего на бой с фашизмом.

В послевоенные годы, в разгар жесточайших репрессий и расправ Франко не устоял повторять, что в Испании царят «социальный мир и порядок».

Спустившись по трапу самолета в Барселономском аэропорту, Константин Симонов и Роман Кармен сразу попали в кольцо фотографов и кинорепортеров. Их буквально засыпали градом вопросов. Молодая журналистка поинтересовалась у Кармена, где он изучал испанский язык. «На минуту я задумался...» — вспоминает Кармен. — Сказать ей? Да, умалчивать не было смысла, ответил напрямик:

— Я был в Испании.

— Когда была? — Она насторожилась.

— В 1936—1937 годах, — сказал я.

Забегали по блокам журналистские карандаши. Вокруг меня сомкнулись жаждущие сенсации газетчи-
ки. Кто-то из них метнул вопрос:

— Вы участвовали в гражданской войне?

— Да, снимал кинорепортаж. Да, разумеется, на стороне республиканцев... Да, да, вернулся через тридцать лет в Испанию, которая мне дорога, близка...

Там, на полях Испании, среди развалин горящих городов, человек с киноаппаратом проходил первую школу мужества, без которого нельзя, невозможно было снимать человеческие горе, трагические кадры, ставшие обвинительными документами истории.

«Он молодец, — вспоминал Михаил Колцов о Кар-

Р. Кармен
в сражающемся
Вьетнаме.



мене в своем «Испанском дневнике», — живой, храбрый, веселый. Поехав в нужные и важные места».

Еще задолго до Испании, в сентябре 1923 года, пришел к Михаилу Кольцову, бывшему тогда редактором «Огонька», семнадцатилетний студент рабфака Роман Кармен. Юноша был новичком в журналистике, но Кольцову очень хотелось помочь сыну писателя Лазаря Кармена, умершего в апреле 1920 года, через несколько месяцев после освобождения из застенков белогвардейской тюрьмы в Одессе.

Вскоре на страницах «Огонька» появился первый репортажный снимок с подписью: «Фото Р. Кармена»...

В течение нескольких лет молодой репортер учился оперативности, искал новые выразительные средства. Пожалуй, именно в эти годы родился репортажный стиль Кармена. И хотя фотоснимки его завоевывали все большее признание и получали призы на различных выставках, молодого журналиста все сильнее и сильнее тянуло к себе документальный кинематограф.

После киноинститута, в который он поступил в 1929 году, Кармен много колесил по Советскому Союзу. Какое разнообразие сюжетов было снято начинающим кинодокументалистом!

Тогда им были сделаны и первые открытия в области звукового репортажа.

Кармен всегда был первооткрывателем...

И в пустыне Каракум, где до Испании он успел побывать дважды: в первый раз — с кинокамерой, а второй, совмещая профессию кинооператора с обязанностью водителя одной из автомашин пробега.

И в Испании и в героическом революционном Китае, мужественно борющемся против захватчиков.

...В просмотрных залах сегодня мы часто смотрим хронику прошлых лет, включая ее в новые фильмы. Но редко думаем о том, как он велик — человек с киноаппаратом, этот пылливый и жадный летописец эпохи. Какую большую, трудную и яркую жизнь прожили многие кинохроникеры.

Когда в 1949 году Роман Кармен начал снимать фильм о нефтяниках Каспия, кто-то сказал ему: «Это можно снять в две недели. Ведь все под рукой —

буровые, строительные краны, резервуары, люди». Но он провел полгода на Нефтяных Камнях, вместе с операторами Д. Мамедовым, А. Зенякиным, С. Медынским, вживаясь в суровый быт рабочих, снимая драматические эпизоды, которые разыгрывались на свайных площадках во время жестоких штормов.

Умение ломать установившиеся штампы, находить новые подходы к материалу, умение прокладывать новые пути — эти качества Кармена-оператора унаследовал и Кармен-режиссер. Не случайно фильмы о нефтяниках Каспия и зрители и кинематографисты встретили с большим интересом. А режиссер и операторы были удостоены звания лауреатов Ленинской премии.

Рассказывая о некоторых страницах жизни и деятельности блистательного мастера нашего документального кино, я ловлю себя на мысли, что больше вглядываюсь в далекое прошлое. Быть может, потому, что сегодняшние фильмы Кармена еще идут с огромным успехом по экранам мира, сражаются как солдаты на поле битвы.

Толчком к серии фильмов о Латинской Америке стал фильм о революционной Кубе «Пылающий остров».

«Мне кажется, что была какая-то закономерность в том, что меня сильно потянуло на Кубу, когда по миру прошла весть о победе кубинской революции, — вспоминает Роман Кармен. — Для меня это было перекличкой с Испанией. Ови казались мне давними знакомыми — эти бородастые люди с автоматами, прошедшие через сражения в Сьерра-Маэстра и триумфально вступившие в Гавану. Тут было, очевидно, и более глубокое явление — эстафета борьбы народов за свое освобождение. Но, снимая на Кубе, я видел, что она — частица огромного и многострадального континента, где все народы борются за свое освобождение.

И борьба этих миллионов ограбленных людей все время привлекала мое внимание».

Через десять лет после Кубы Кармен вернулся в Латинскую Америку, проехал ее вдоль и поперек от Огненной Земли до Панамского канала, снял и смонтировал яркий двухсерийный фильм «Пылающий континент», где впервые мы увидели и многие страны



Р. Кармен и Э. Хемингуэй.
Испания, 1936 г.

и многих людей, полюбили их, узнали их тяжкий, суровый труд.

Потом был рассказ о трагедии Чили — «Чили. Время борьбы, время тревог».

Потом «Комарадос» — «Товарищи» — третий фильм трилогии.

И, наконец, «Сердце Корвалана» — самый последний пока фильм Кармена, фильм большого гражданского звучания, огромного темперамента и высокого трагедийного накала.

Об этих последних фильмах много написано и много сказано.

Во время работы над фильмом «Рядом с солдатом», который был посвящен фронтовым кинооператорам и журналистам, мы со сценаристом К. Славным предложили Роману Кармену быть одним из комментаторов фильма, рассказать о своих товарищах — живых и павших. Ибо он прошел по всем дорогам войны, снимал сражения под Москвой — нашу первую победу над фашизмом, был в блокадном Ленинграде, где работал с героическими ленинградскими хроникерами, бок о бок с ними создавал фильм «Ленинград в борьбе». Потом Сталинград, съемки капитуляции, пленения Паулюса, дороги победы, радость освобождения родной земли и поработанных стран Европы, битва за Берлин. Как и его товарищи по профессии, Кармен летал на боевые задания, трясся по разбитым дорогам войны, прижимался к земле, укрываясь от бомбежек, испытал все радости и горести войны и встретил день Победы на ступенях рейхстага в Бер-

лине. Война, на которую он выехал с кинокамерой 25 июня 1941 года, закончилась для него только в 1946 году последними кадрами Нюрнбергского трибунала.

Созданный им фильм «Суд народов» показал мгновения, которые подвели черту под беспримерной по своим масштабам борьбой против фашизма.

...Сегодня в советском документальном кинематографе работает уже несколько поколений молодых режиссеров, воспитанных народным артистом Советского Союза, лауреатом Ленинской и Государственных премий, Героем Социалистического Труда Романом Лазаревичем Карменом.

— Меня очень увлекает работа в Институте кинематографии, — отвечает Кармен на один из моих вопросов. — У меня мои ученики. И мне бывает радостно, когда в них я нахожу продолжение того, что создали на протяжении десятилетий советские документалисты, вижу новые поиски, талантливые дерзания... Что касается своих творческих планов... 70 лет — это серьезная дата в жизни человека. Оглядываясь прошлое, видишь, что многое сделано, но многое и не успел... У меня зреет мысль — сделать фильм на материале своих съемок за 50 лет, фильм-мемуары, воспоминания и размышления современника, свидетеля эпохи... И, может быть, спустя сорок лет снова оказаться с кинокамерой на испанской земле.

И. ГЕЛЕИН

Новая повесть молодого архангельского прозаика В. Личутина «Бабушки и дядюшки», увидевшая свет в шестой книге журнала «Дружба народов» за этот год, вызывает заслуженный интерес у читателей.

Это вторая публикация автора в московской периодической печати; первая его повесть — «Время сладко» — была напечатана в той же «Дружбе народов» в 1973 году, а в 1975 году издательство «Современник» выпустило сборник произведений Личутина в серии «Первая книга в столице»...

Путь молодого писателя в большую литературу, его биография очень похожи на биографии многих других молодых: родился в 1940 году, служил в армии, работал на заводе, затем учеба в Ленинградском университете, редакция областной газеты.

Что же лежит в основе творчества В. Личутина, о чем его книги, кто его герои?

Выступая на Шестом съезде советских писателей, Ф. Абрамов, записывая так называемую «деревенскую» прозу от критиков, считавших, что эта проза якобы исчерпала себя, пошла уже по замкнутому кругу, назвал имя В. Личутина и подчеркнула при этом, что молодой талантливый прозаик совершенно не случайно вновь обратился к деревенской теме...

Верна мысль Ф. Абрамова — нельзя «закрыть» эту тему, ибо нельзя порвать нить, связывающую времена, нельзя перерезать вервь, по которому передаются духовные и нравственные импульсы народа. Молодой талантливый прозаик из Архангельска глазами своего поколения увидел и сегодняшнюю сельскую жизнь...

Геля Чудинов — молодой человек, стоящий на распушке. Он чувствует в себе дар художника, но сомневается — настоящий ли это дар, имеет ли он право бросить работу на заводе, чтобы стать художником-профессионалом. Как обрести эту уверенность в себе, как обрести себя? И Геля едет в родное село, к матери.

Остро и пристально всматривается Геля в как будто бы уже давно знакомые лица матери и своих дядьев — Кроны Солдатова и Федора, по кличке Понтовера. А через воспоминания матери эта ниточка тянется еще и дальше — к бабе Наталье, деду Спире...

Два дядя у Гели — оба участники войны, но как различен их духовный мир, какие полярно противоположные нравственные позиции занимают они в жизни!

Изображая характеры героев, Личутин и не пытается скрыть



Эмма
ПРОСКУРНИНА

ГЕЛЯ ЧУДИНОВ, ЕГО БАБУШКИ И ДЯДЮШКИ...



свое личное отношение к ним. С самого начала повести мы чувствуем авторскую позицию: то это доброта и нежность, когда он пишет о Кроне Солдатове, то, напротив, беспощадность, когда речь идет о Понтовере, человеке, который, будучи обеспокоен возможностью грядущей термоядерной войны, в страхе перед нею, готовит для себя одного надежное убежище, скрывая эти свои планы даже от жены...

Два мира, два нравственных уклада. Но Геле не сразу удается проникнуться уважением к силе морального кодекса Кроны Солдатова, повясть и принять причины душевной раздвоенности собственной матери, осудить паразитизм и духовное убожество Понтовера.

Раскрывая внутренний мир героев повести «Бабушки и дядюшки», автор прибегает к своеобразной ма-

нере рассказа, вводя в повествование в виде хроник сведения о том, как кто из них выжила в наиболее трудные периоды жизни. Для Кроны Солдатова и Понтовера это было в войну, на фронте, для матери — то время, когда пришла похоронка на мужа и ей пришлось сполна испытать горькую чашу вдовьих бед и лишений.

Есть нравственные колизии, которые не заявляют о себе громко, они и не подпадают под какое-то юридическое или общественное толкование, в них больше личного, внутреннего, чем предначиненного для широкого оповещения. Короче, поступок в себе, платформа собственной совести.

Для Кроны Солдатова, мужественно сражавшегося с гитлеровцами — в одном из боев он был ранен и попал в плен, — в тех тяжелых условиях святые святых оставалось сохранить в себе сердечность и доброту к людям, прийти на помощь нуждающимся, сберечь силы для продолжения борьбы с ненавистным врагом. Он все делал по велению своей совести. Не искал выгоды, не прятался за чужими стинами, делал поровну со всеми кто имел. Фронтовая слава обогнала его створой. Но, выполнив честно свой воинский долг, он никогда даже в мыслях не пытался приписать себе больше того, что им было сделано.

Иное дело — Понтовер. Рассказ о том, как он выжила, в сущности, является обличительным документом человеку, поправшему законы честности и товарищества. Бросив на поле боя тяжелораненого Кроны Солдатова, через день он предаст другого своего товарища, подведет под трибунал, а сам получит орден за проявленную доблесть и бдительность. И все это у него получается ловко, без свидетелей.

Два дядя у Гели — это два пути, по которым можно пойти в жизни. Но Геля уже выбрал. Он лихорадочно, жадно начинает делать эскизы, наброски к портрету дяди Кроны. И это не только духовный выбор. Родается вера в свое художническое призвание. Геля обретает наконец-то в себе ту уверенность и покой, которых у него до сих пор не было.

Новая повесть В. Личутина говорит о том, что автор, оставаясь верен своему жизненному материалу, своей теме, подыскал еще на одну ступеньку в творчестве.

Пожелаем же ему новых удач и новых свершений.



«ШАГ МЕРИДИАНОВ»

Книга эстонского прозаика Владимира Бэзкмана «Шаг меридианов» («Советский писатель», 1975) выгодно отличается от множества «путевых» очерков, нередко представляющих лишь беглый перечень хорошо известных достопримечательностей той или иной страны.

Живо, увлекательно рассказывает Бэзкман о международном семинаре «Лахти-68», организованном по инициативе Союза писателей Финляндии, о борьбе течений и идей в скандинавской и вообще в европейской литературе. Автором особо выделено как ключевое для понимания атмосферы семинара одно событие: спор, разгоревшийся между молодыми «левыми» писателями Скандинавии, отстаивающими социальное, политическое назначение искусства и литературы, и представителями французской школы «нового» романа, пытающимися возродить, пусть и в новейшей модификации, далеко не новую идею «искусства для искусства».

Важной деталью стала в рассказе о рождении в Норвегии статья Владимира Бэзкмана, написанная им для норвежской газеты «Арбеидербадед», о явной предвзятости Норвежской энциклопедии в освещении истории развития эстонской литературы. Здесь важно и существо вопроса, интересна и форма, выбранная эстонским прозаиком для ответа «компетентным сотрудникам» энциклопедии — острая, ироничная, полемически отточенная.

Писатель много рассказывает в книге о самых разных людях. В очерке о выставке детской советской книги в Мюнхене и ее организаторе докторе Вальтере Шерфе как бы особняком стоит зарисовка о трудной судьбе одного из западных заблуждавшихся литераторов, ставшего впоследствии переводчиком русской литературы и у себя на родине...

Заключительный очерк книги «Мексика — страна солнечного камня» я бы назвала «очерком-исследованием». Бэзкману удается сплав, казалось бы, разнородного: мексиканской экзотики с точным и конкретным рассказом о самых главных этапах истории освободительной борьбы, описание причудливо разнообразной мексиканской природы с заинтересованным анализом экономического потенциа-

ла современной развивающейся Мексики. И во всех этих, казалось бы, несоединимых «сферах» автор сумел достичь главного — увидеть душу свободолюбивого, доброго мексиканского народа.

Два очерка посвящены культурной жизни братских республик — Армении и Таджикистана. И говорит ли писатель о праздновании юбилея Ованеса Туманяна или рассказывает о знаменитых таджикских радоновых источниках, он остается верен принципу, избранному в «Шаге меридианов», — искренне и щедро делиться с читателями всем интересным, видеть за событиями и фактами душу человека, душу народа.

Наталья
БЕККЕРМАН



СУДЬБОЙ ДАРОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ

Автору «Встреч в пути» (Кемеровское книжное издательство, 1975), ветерану комсомола С. Шнапир, повсюду было активно работать в «Правде» в то неповторимое время, когда на глазах у изумленного мира в буквальном смысле слова закладывался фундамент социализма. А до этого — участвовать во многих начинаниях молодого государства, обеспечивших возможность строительства основ нового общества.

Скажем, молодой комсомольский работник Шнапир в 1929 году выпустил первый в стране учебник по основам обществоведения для школ фабзавуча. Книгу, получившую высокую оценку Н. К. Крупской. Еще ранее он неоднократно бывал у А. В. Луначарского ходатаем по делам рабочей молодежи — наследного принца Советской республики, по определению первого наркома просвещения. А в свои шестнадцать — в числе делегатов исторического III съезда комсомола слушал знаменитую речь Ленина...

Книга, представляющая собой сборник очерков мемуарного характера, привлекает уже самим перечнем героев. Луначарский и Крупская, Дзержинский и Орджоникидзе, Михаил Кольцов и Демьян Бедный. Люди, чьим талантом и энергией, чьей беззаветной преданностью делу народа создано наше государство.

Автор адресует книгу прежде всего молодежи. Это обстоятельство продиктовано пожизненной «завербованностью» комсомольца 20-х годов,

Израиль
ДРЕЙЦЕР

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Чистотел — целебная трава. Удивительная, почти чудодейственная. Но эта чудотрава не всегда растет среди лугов... И сердце человеческое бывает чистотелом, спасающим от недуга другого человека, либо помогающим в выборе жизненного пути.

Нет, не случайно Нина Бичуя, молодая украинская писательница из Львова, назвала свою книгу — первую книгу на русском языке — «Чистотел» (Москва, «Известия»). В ее повестях и рассказах речь идет о разных людях, о разных временах. Но писательница смело и романтично обобщает времена и судьбы. Нина Бичуя пишет и о далеких временах современно. Она находит между прошлым и настоящим нравственные параллели.

Так, воскрешается новелла украинского классика Василия Стефаника об отчаявшемся от голода отце, утопившем своих детей. Воскрешается, чтобы вернуть душу современного героя — молодого парня из рассказа «Шальные деньги».

Нина Бичуя выбирает в исторической дали интересные и сильные фигуры, способные дать примеры для подражания. Это и исторические личности и персонажи, созданные воображением художника. Так, в ее произведении возникают яркий образ Леси Украинки («Белая вишня»), средневековый карпатский астролог Юрий Котермак («Звездочет из Дрогобыча»), юноша-богомаз, который в образе богематери изобразил свою любимую. Все эти люди — бунтари, первооткрыватели. От них веет неуважением к юности.

...Старому мастеру долго не давалось воплощение заветного замысла. Но то, что не получалось у старого, получилось у молодого — у его ученика. Художник не горчился, он обрадовался! Этой притчей открывается повесть «Кузнецы и чеканщики». В ней заложено философское кредо писательницы. Пусть молодой со-

вершит то, что не удалось совершить старому.

Писательница соединяет труд и искусство, любовь и счастье, прошлое и настоящее. Ее связи поэтики и изобретательны, они делают произведения Бичуя глубокими и значительными.

Нина Бичуя создает в своих повестях и рассказах своеобразную атмосферу сильных чувств. Она раскрывает перед читателем мир таким, каким видит его сама — со своими пристрастиями и неприязнями.

Язык ее произведений богатый, образный, емкий. «Чистотел» — яркая поэтическая проза. В этой связи хочется отметить и труд переводчика Вл. Россельса, который сумел передать в русском звучании поэтичность украинской речи Бичуя.

Юрий
ЯКОВЛЕВ

РОЖДАЕТСЯ «Я»

Что вы знаете о подростках? Этот вопрос обычно застает взрослых врасплох, и очень часто папы и мамы, люди уважаемые и умудренные опытом, обходятся здесь стандартной фразой: мол, подростковый возраст трудный...

Выпущенная издательством «Знание» в 1975 году маленькая книжечка Игоря Кона «Какими они себя видят» поможет людям взрослым — всем, кто имеет дело с подростком и юношей в школе, на заводе, в институте, — наверное, несколько иначе, чем прежде, взглянуть на проблемы подростка. Чуть-чуть по-другому оценит мотивы порой «нестандартного» поведения юных. И уж наверняка заставит задуматься над сложным и многообразным миром молодого человека, который трудно становится взрослым.

Каковы критерии юношеских самооценок? На кого ориентируется юношеское самосознание? Как связаны между собой самосознание и жизненные планы подростка? Почему именно в подростковом и юношеском возрасте формируется сознательное «Я»? Эти вопросы ставит И. Кон... Самооценка, самосознание и еще — самоуважение, самоопределение. Перебор «само» не случаен. «Трудный» возраст потому и труден, что именно тогда начинается формирование юношеского «Я», процесс сложный и противоречивый.

Автор дает нам возможность посмотреть на этот процесс «изну-

три» — какими они себя видят. Материал для наблюдения и осмысления — письма, присланные в разное время в «Алый парус» — подростковый отдел «Комсомольской правды».

Вот человек в первые обнаружил свой внутренний мир: «Ни в какой другой год я не чувствовала себя взрослее, чем сейчас. У меня появилась способность оценивать чужие и, главное, свои поступки».

Вот он в первые осознал, что вместе с окружающим миром меняется и он сам и что настала пора определиться, как-то действовать: «Мне 15 лет. В этом возрасте Лермонтов писал свои первые стихи, Паганини потряс мир волшебным смычком, Эвартис Гауа открыл свой первый закон. А что сделала я?»

А вот уже понимание ответственности за судьбу страны: «Я часто слышу такой вопрос к нашему поколению — можем ли мы так же с честью, как наши отцы и деды, защитить свою землю, свою Родину? И отвечу я так: да, сможем».

Путь от первого робкого взгляда «в себя» до осознания своей общественной значимости не только не прям. Он до отказа забит «негативными моментами», которые заставляют взрослого то и дело соскучиться, а иногда и попросту опустить руки. «Главная беда с родителями — то, что они знали нас, когда мы были маленькими», — пишет пятнадцатилетний подросток.

Автор приводит в книжке наблюдения советского психолога Рувинского, который изучал процесс самовоспитания у школьников. По подсчетам Рувинского, каждый десятый из наблюдаемых ребят воспитывал у себя не положительные, а отрицательные качества — грубость и упрямство вместо вежливости и скромности. (Серьезный, деловой, мужественный человек должен быть не чутким, а прямым, холодным, грубоватым и резким!)

Такова одна из негативных сторон «реакции эмансипации», когда подросток рвется освободиться от мелочной опеки. И вот в эти-то моменты наиболее важна роль взрослого. Окажется ли он на высоте или пустит все на самотек? Тактично ли вмешается в трудную ситуацию? От того, как поступит сегодня каждый взрослый в отдельности, зависит судьба подростка и, без преувеличения можно сказать, судьба нашего будущего. Такой вывод делаешь, прочитав книгу.

Алексей
ПРОЛОВ

Из произведений профессора живописи Д. Д. ЖИЛИНСКОГО.
На новых землях (часть триптиха).





Гимнасты СССР.



Желтый букет.



Воскресный день
(фрагмент)



Осень (фрагмент картины «Четыре времени года»)



Скрипач.



Александр
КАМЕНСКИЙ

О ЖИВОПИСИ ДМИТРИЯ ЖИЛИНСКОГО

Ни обликом, ни манерой держаться, ни характером своих житейских и профессиональных привычек Дмитрий Жилинский ничуть не похож на те представления о художнике, которые взлелеял в красочных легендах еще романтизм прошлого века.

Герой этих легенд отмечен печатью избранности. Он далек от жизненной прозы, живет по своим особым законам, ради тех счастливых часов, когда его призывает «к священной жертве Аполлоны». Прочее время он пребывает в рассеянии, поражая окружающих своей чудакостью, таинственной непоследовательностью и странностью поступков. Ревнивая к ритуалу салонная традиция обрядила этот романтический персонаж в изыщно-небрежную блузу, надевала капризно-уточенной натурой, привыкшей к светскому успеху и к роли всеобщего любимца.

Дмитрию Жилинскому такие легенды и ритуалы совершенно чужды. Людям «не от мира сего» он не сродни. Вполне земной, спокойный-рассудительный, он стремится к кристальной ясности в своих работах, да и во всем остальном чувствует «святого космоязычия» и вдохновенной взаимности, якобы подobaющих — все по той же традиции — художникам. Немислимо и вообразить, чтобы он стал придавать себе некий подчеркнутый артистический вид. Блистание в кулуарах никогда его не прельщало. Он и в нарядной вернисажной толпе выглядит так, будто зашел сюда, в эту суету и парадность, по случайности, прямо из мастерской, не снимая рабочего костюма.

Да ведь и вправду так происходит. Ибо единственный кумир этого художника — работа. Он делает ее истоиво и любовно, с крестьянской обстоятельностью. Дух стародавних русских ремесел оживает в его повседневном труде. Жилинский сам расстирает краски для своей живописи, сам мастерит рамы, выливает из древнесотрученных плит основы для будущих картин. И исполняет он эти картины в такой, им самим разработанной технике, которая требует великого усердия, сосредоточенного труда от зари до зари: наносит на древесную плиту сложный левкасный грунт, затем пишет темперой со множеством лессировок, после высыхания покрывает изображением лаком. Поминисте адская работа! Все равно что возделывать каменное поле...

Но тут уже техника переходит в исповедание художественной веры. Одно лишь трудолюбие здесь бес-

сильно. Ибо все эти полузабытые приемы лишь тогда обретают серьезный смысл, если мастер убежден, что среди богов современной живописи есть и «всесильный бог деталей». И что приобщение искусства к нелышним дням может быть достигнуто не только при помощи бедново сложившихся стилизованных форм, но и при свободном, непредвзятом использовании старых образов, трактованных на новый лад. Например, такой простодушной, очень давней манеры, которая требует от художника предельной тщательности кисти, ювелирно отделяющей каждую малую подробность, любую черточку изображения.

Так работали первооткрыватели земной красоты — мастера раннего Возрождения в Италии, в Северной Европе. Так колдовали над своими досками многие из старых русских живописцев. Так писали их последователи в нашем веке: от Кузмы Петрова-Водкина до Павла Корина.

Так пишет и Дмитрий Жилинский. У него кровное родство со всеми названными традициями.

Родство, но не «опасное сходство». Художник никого не цитирует, не опирается на костыли бездумного стилизаторства. Он органичен. Истоки его искусства — в духовной жизни наших дней.

Картины Жилинского не так уж легки для восприятия. Это утверждение может удивить. Ведь в работах художника вроде бы все так ясно и просто.

Однако это сложная простота. Она способна обмануть. Скрупулезность отделки деталей в этих работах может сбить с толку и вызвать совсем неправильные ассоциации. Иным зрителям кажется, что они видят в картинах Жилинского всего лишь иллюзорное воспроизведение природы, дубавок сделанное по закосневшим прописям академических канонов.

Но это заблуждение. Оно полностью рассеется, если понять, какие тайные пружины управляют механизмом действия приемов, избранных художником, каковы особенности образного строя его «картин».

Все стилиевые приемы и технические средства починены в них интересам целостной художественно-поэтической системы, которая обладает широкими философскими горизонтами, своей концепцией жизни и человека. Идеальная точность воссоздания природы парадоксально сочетается в этой системе с условностью композиций, с иносказательным, метафорическим смыслом внешне обычных сцен жизни.

Только через такой парадокс художник смог прийти к созданию своего образного мира. Многие годы он работал «как все», в границах привычного и общепринятого. Слов нет, он делал хорошие холсты. Особенно удавались ему портреты — в них оживали характеры, намеченные, быть может, не всегда глубоко, но, во всяком случае, броско и внешне точно. И написаны эти картины были Мастерски — в той свободной, несколько приблизительной манере, которая почиталась (сравнительно недавно) отличительной чертой «московской школы» живописи.

Однако же подобные добродетели можно было встретить и у десятков иных художников. Ранним работам Жилинского явно не хватало своего взгляда на вещи, а еще больше — духовной значительности.

Жилинский это чувствовал. Он искал новые концепции для своей живописи.

Итоги этих исканий оказались несколько неожиданными (может быть, и для самого художника). В картинах 1964—1965 годов, когда начался новый этап его работы, непостижимо объединились противоречивые, контрастные качества: безукоризненная натуральность изображения (оно отныне всегда завершено до предела, отделано до фиксационности) и очевидная условность композиции в целом. Послед-

нее далеко не всегда понимают (особенно авторы монографических очерков о мастере). Между тем картины Жилинского представляют собой весьма своеобразные поэтические структуры.

Столь необычное сплетение разнородных начал четче всего проступило (из вещей середины 60-х годов) в «Гимнастах СССР». Вроде перед нами незамысловатая сцена: спортсмены упражняются в обширном гимнастическом зале. Стоит ли мудрить — ведь это самый обыкновенный «жанр».

Однако же у него есть удивительные странности. В действии участвуют двадцать два персонажа, но они никак не связаны между собой — ни пластически, ни психологически. Их взгляды и движения не пересекаются и не сопрягаются. Никакого общения. Ансамбль солистов. Объединяющей фабулы нет, суть происходящего в самом действии никак не выражена. Фигуры тут будто проецированы на экран картины из разных источников и поэтому не могут вступать во взаимодействие. Можно сказать и по-другому: эти фигуры словно бы расставлены по плоскости сценической площадки и существуют каждая сама по себе, изолированно и автономно. Любая из них играет свою роль, повинуюсь воле невидимого режиссера. Театральная условность запечатленной сцены усугубляется еще и тем, что живописец применил обратную перспективу, и изображение разворачивается сверху вниз, как в старинных миниатюрах.

Какую же пьесу играют на этих удивительных подмостках?

И в «Гимнастах СССР» и в семейном портрете «У моря» (он написан почти одновременно и в том же образно-стилистическом ключе) возникает видение счастливого мира. Здесь в сиянии тихих дней живут люди, полные спокойного достоинства, прекрасного чувства глубокой осмысленности бытия.

Романтика и реальность своеобразно сплетаются в этих картинах. Ведь никакой фантастики в них нет. Все облик подлинное, все детали натурны. Они лишь отблещены от обычного соотношения вещей и показаны в особой, предполагаемой ситуации, когда лучшие побуждения и качества каждого человека полностью и беспрепятственно реализуются, а все окружающее охотно и приветливо этому способствует. Сон наяву, легкое и свободное парение в безбрежных пространствах желаемого и искомого... Однако же это не прихотливые узоры разгулявшегося воображения, но итог пристального, аналитического изучения определенного круга жизненных явлений. В ходе этого изучения художник стремится увидеть и познать самые сокровенные черты людских характеров, затаянные мечты, хелемские идеалы. А затем все это, в основе своей реальное и подлинное, направляется мастером в далекое романтическое путешествие к счастливым берегам «осушащенных возможностей»...

Картины, созданные в таком ключе, — это сказки о правде, романтика сущего. Чем больше в них внешней иллюзорности, тем острее ощущается их условность, их мечтательное «если бы»...

Такой представляется сложная и зыбкая, весьма динамичная диалектика реального и романтического в произведениях Дмитрия Жилинского. Она сформировалась давно, но сохраняется и поныне, правда, всякий раз видоизменяясь в своих конкретных оттенках. Но основные контуры у нее всегда неизменны. Необходимо улавливать эту диалектику как исходные «правила игры» при знакомстве с работами мастера и тем более при попытках их оценивать. Иначе можно попасть впросак.

Что и случилось с пылыми критиками. Мне всепми-

вается одно длинное сочинение о триптихе Жилинского «На новых землях». Совершенно не поняв условно-иносказательных особенностей композиции, критик пытался прочесть ее как книгу, составляя анкетные характеристики персонажам, и в заключение утверждал, будто триптих так «рационалистичен», что даже обстановка действия изображена в нем «стерильной, холодноатой, как будто погруженной в своеобразный вакуум».

Все это сказано решительно не впопад. Поэтика искусства Жилинского, сравнительно полно раскрытая в композиции «На новых землях», несомненно, тяготеет к особому толка философичности. Но рационализму она чужда. Не считать же за «рационализм» выверенность пространственной перспективы в боковых частях триптиха или усердную отделанность его живописной поверхности? Во всем же остальном триптих отличается непосредственностью и даже несколько наивная созерцательностью. Входящие в него картины настраивают на длительные и утлабленные размышления и обращены к общему чувству жизни, к прекрасному и сокровенному человеческим способностям мечтать, быть художником в широком смысле понятия, находя красоту в обычном течении дел и дней. Какой уж тут, право, рационализм...

Зато в небесах этого триптиха светится радуга — параболой своеобразного иноказания. Иначе и не скажешь про целостное объединение таких разрозненных начал, как предельная конкретность отдельных обаянок и предметов и романтическая сказочность действия в целом.

Особенно это очевидно в центральной части триптиха — «Праздник». Целинники, пирующие у постельки на траве скатерти, окружая буйство сочной зелени, ковер цветов, энергии и великолепия навечно молодого мира. Его всеохватывающая и таинственная красота совершенно преображает некоторую заураядность персонажей. Впрочем, и в них есть своя значительность. Она особенно ошутима в том, как погружены в себя эти серьезные, молчаливые люди, которые, совершенно не замечая друг друга, напряженно и сосредоточенно размышляют, словно бы именно в этот момент перед ними раскрывается нечто чрезвычайно важное, решающее, нечто способное осветить новым, пронзительным светом всю жизнь.

В картине Жилинского изображено приобщение к чему-то высшему и сокровенному. Поэтому и служащий фоном действия пейзаж — это не вид какой-то местности, а символ земного цветения, красоты и силы родных краев. Поэтому и лики пирующих странно застыли, как в «стоп-кадрах»: это предстояние перед лицом судьбы, притча о жизни наших дней, остановленное мгновение, когда вдруг стало до боли ясно видно во все стороны света и оказалось возможным полететь вследа за током времени...

С несколькими иными образными оттенками, но в основе своей такая же концепция и в боковых частях триптиха. В нем, к слову сказать, дала себя знать одна заметная слабость стилиевой манеры Жилинского. Суховатая жесткость рисунка, особенно в портретных образах, приходит в явное противоречие с масштабностью и романтической мелодичностью композиций в целом. Сила поэтического преображения, так дивно и властно торжествующая в работах живописца, словно бы пасует перед размерными контурами, не гибкими сочленениями отдельных фигур и предметов. Поскольку для такого мастера, как Д. Жилинский, неразрешимых технических проблем живописи практически не существует, то, стало быть, суть дела здесь заключена в некоем концепционном просчете.

Ведь сама по себе ювелирно-тщательная отделка

изображения вовсе не должна с фатальной обязательностью приводить к исчезновению в нем живого трепета, духовной и чувственной тонкости. Это с достаточной ясностью доказывают не только классические примеры, но и работы самого Жилинского. Некое замораживание, безжизненная нейтральность появляются лишь в тех случаях, когда художник принимает детально выслушивать натуру вне образа (или, точнее, не в образе). Тогда нарушаются «правила игры», ускользает магия условности воссозданного в картине спящегого действия и, не привыкшие к миру поэтического инсценирования, фрагменты оказываются чужеродными в композиции.

К счастью, подобные нарушения! нормального «художественного кровообращения» в работах Жилинского не часты: сила и власть поэтического мышления мастера, как правило, побеждают или по крайней мере смягчают этот недуг.

Поэтические горизонты у произведений Жилинского раз от разу становились все более широкими, охватывая порой духовные пространства целой жизни. Таковы две портретные композиции, изобразившие покойного ныне художника Николая Михайловича Чернышева и его семью. Уже и в пейзажных частях этих работ есть особый смысл и значение: не простые это ландшафты, но в одном случае — весь край родной, вся земля, ловя жизни, раскрывающейся перед старым мастером в своих коренных и сокровенных свойствах. В другом — напряженные, но уже остывающие, блекнущие краски золотой осени; зрелость итогов и грусть увядания.

А фигуры Н. М. Чернышева, его жены, детей, внуков не столько включены в пейзажное окружение, сколько сопряжены с ним — по законам притчи, сказания. Из этого сопряжения рождается сложная образная система: тут и прощание с миром, и тема непрерывности вечных начал бытия, и особая прозрачность, и проникновенность восприятия окружающего, которые даются как вышедший дар чистой душе замечательного русского мастера в его закятные часы, «перед заходом солнца»...

Чувство жизни, созревшее в душе художника, да и вся структура его образного мира получили великодушную завершенность в композиции «Под старой яблоней». Хотя живописец изобразил тут свою мать (которой посвящена картина) и своих детей, — это отнюдь не семейный портрет. И не жанр. И не аллегория. Ближе всего это произведение к классической фреске с ее свободно-неопределенной ориентацией во времени и пространстве и причудливыми выражениями перехода «по касательной» от реальных деталей к широкому символическим обобщениям.

Ничто тут не однозначно. Фигуры людей осязает огромная яблоня, чьи ветви отогнаны зрелыми плодами. Эти плоды стереоскопически выписаны, листы строго и жестко очерчены. Но что означает это таинственное мерцание темнеющих глубин фона, вроде бы и немислимое в реальности при таком характере освещения? И зачем понадобилась столь резкая, плотская округлость плодов, яростная энергия их цвета, звенящего, как дальние колокола над пустынными полями?

А то и значит, потому и понадобилось, что и эта старая яблоня и этот дивный, страшный сад не кулись действия, не видовой «задник», но весь окружающий нас мир, его красота, его увлекательная и настояжнющая непознаваемость, ход его времени, музыка судеб. В таком же образом ключе решены плевнительно-задумчивые облики подростков на первом плане. Особенно выразителен мальчик: он держит в руке огромное яблоко, круглящееся, как земная сфера, и выглядящее неким символом весомости и гармонической завершенности бытия.

Фигура седой и согбенной матери — смысловой центр композиции. Эта фигура, в частности, воплощает в себе идею времени. Именно с нею связано особое, «сверхчувственное» психологическое измерение — воспоминания... К их миру принадлежат изображенные на боковых клеях призрачные лики погибших в дальние времена мужа и сына. Смерть соседствует с этим плодоносящим садом жизни, прошлое живет в сегодняшнем; внуку предстает видение деда, которого он никогда не видел...

Так складывается законченная и сложная картина жизненного цикла, одновременно трезвая и романтическая, драматичная и возвышенно-радостная. Тут нет и оттенка душевно-неподвижного, потребительского довольства благами жизни. Вся эта картина тревожно-человечна, ее пронизывают ответы яркой творческой воли, глубокой убежденности в прекрасном и высоком назначении рода людского.

Эта убежденность лежит в основе всей эстетической концепции работ Дмитрия Жилинского. Ее печатью отмечены и лучшие из последних картин.

Что за дивное, возвышенное зрелище открывается нашему взору в композиции «Воскресный день»? Вновь тут — любая подробность, каждая деталь реальны до предела. И все же в целом эта сцена кажется счастливым миражом. Обыкновенные среднерусские деревья, кусты и травы (их тут запечатлено, и точнее, 27 различных пород) обладают поистине первозданной красотой и свежестю. В совокупности своей они образуют какой-то райский сад, цветущий и благоуханный. В обитателях этого сада можно узнать друзей и близких художника. Они показаны с безукоризненной портретностью. И вместе с тем это олимпийцы-небожители. Они живут в сказочном мире гармонии, зрелого совершенства и вольного душевного полета.

Соотношение реального и мечтательного, идеального в такого типа работах хрупко и толко. Когда в некоторых своих новых вещах художник хоть чуть-чуть нарушает волшебную меру пропорций этих начал и отдает дань сухопарой аллегоричности, поэтическое содержание его картин тускнеет.

Напротив, энергичный бросок от четкой, беспримесной реальности к возвышенному романтическому инсценированию чаще всего достигает цели. Так, недавно законченный портрет сына художника Василия, со спокойной сосредоточенностью размышляющего о смысле бытия, покориет своей классической ясностью, тихим и ровным мерцанием внутреннего света. Портрет абсолютно сходен с натурой, но он естественно и органично перерастает в символ душевной чистоты и гармонического лада с жизнью; все это выражено здесь с такой строгой и зрелой завершенностью, как в античной гемме.

У Дмитрия Жилинского есть и вещи, полные остро, горького драматизма. Они по-своему очень интересны. Однако же самое драгоценное и сильное в творчестве мастера — это романтическая поэзия светлой и возвышенной душевной гармонии, прекрасного мира.

Эта поэзия имеет свои истоки в реальности, но ее образы вознесены в небеса мечты и романтических идеалов. Именно в этом глубочайшее оправдание классической стилистики, убежденно избранной и виртуозно освоенной Жилинским. К каким же еще иным канонам, к какой музыке еще и прибегать, коль скоро изображаешь счастливых и свободных «золотой век» человечества, о котором мы так страстно мечтаем и который стремимся создать своими руками!

Алексей
ПЯНОВ

«ЛИЦА НЕОБЩИМ ВЫРАЖЕНИЕМ...»

В этой объемистой книге отзывов много интересных — и шуточных и серьезных — записей. Но наиболее характерной, типичной для рецензии на персональную выставку Иосифа Оффенгендена мне показалась одна, сделанная человеком, который долгое время работал рядом с ним и, стало быть, знает не понаслышке. Вот она: «Знал тебя 20 лет и все-таки, оказывается, не знал по-настоящему...»

Фразу эту, в которой и восхищение и удивление одновременно, могли бы повторить, вероятно, многие посетители выставки, сделавшие тесными и без того узкие коридоры «Юности».

И в самом деле, оказывается, даже те, кто знаком с работами И. Оффенгендена по периодике и книгам, не совсем представляли масштабы сделанного им за годы творческого труда. И не столько по количеству, хотя экспозиция, вместившая лишь часть его произведений, заполнила все свободное пространство редакции, сколько прежде всего по качеству, разнообразию жанров, плодотворности поисков и обилию находок.

Впрочем, такова специфика этого вида изобразительного искусства. Произведения художников-юмористов, рассеянные по газетам и журналам, подобны бабочкам-однодневкам: поражают нас яркостью формы, остротой мысли и уйдут, уступив место другим.

Представлять этого художника читателям «Юности» нужды нет. Они встречаются с ним вот уже два десятилетия почти в каждом номере журнала и узнают вне зависимости от того, есть ли фамилия под рисунком. Оффенгенден иллюстрирует репортажи, очерки, серьезные научные статьи и делает это весело, озорно, с неистощимой фантазией, от чего «тракаты», не теряя в своей учености и солидности, становятся более демократичными, более привлекательными для миллионов читателей. Нет, это не украшательство, не зашита на орнаменталистика, а весьма существенное дополнение к тексту. Нужны авторитетные свидетельства? Пожалуйста. «Я счастлив, что имел возможность работать вместе с Иосифом Оффенгенденем. Один из многочисленных авторов «Юности» — доктор биологических наук Е. Романцев».

Оффенгенден делает дружеские шажки на безвестных дебютантов и маститых юбиляров. И тут еще надо посмотреть — где они, юбиляры, достовернее,

точнее — в «бронзе» казенных портретов и фотографий или в лаконичном, артистически выполненном штрихе...

Но родная стихия художника — последние страницы «Юности», ее «Зеленый портфель». Здесь, среди юмористических и сатирических рассказов, миниатюр, пародий, эпиграмм, оп свой человек. Не просто иллюстратор, но полноправный соавтор писателей и поэтов. Здесь дарование художника-рассказчика проявляется особенно ярко. И выставка еще раз убедительно подтвердила это.

Его оружие — смех. Смех всех оттенков — от доброй улыбки до едкого сарказма, для которого он, как правило, находит серьезный, значительный, я бы сказала, общественно значимый повод. Искусство И. Оффенгендена оплодотворено мыслью. В каждой работе он четко определяет свои нравственные, гражданские позиции. Нам не трудно догадаться о симпатиях и антипатиях художника, ибо он не скрывает их, выступая как художник-публицист.

Эти качества высоко ценят в нем и читатели и коллеги. Раскроем опять книгу отзывов. «Посмотрев выставку Иосифа Оффенгендена и порадовавшись его жизнерадостному, веселому, изобретательному таланту... О. Верейский». «Прекрасная выставка!». П. Пиликевич. Думаю, вы согласитесь, что таких мастеров удивить не просто...

Говорят о своеобразии манеры Оффенгендена, характерности его почерка. Действительно, он заметно выделяется «лица необщим выражением». И это не только «от бога». У Оффенгендена солидная школа, манера обретаема им в процессе кропотливого, каждодневного труда, в упорном постижении тайн ремесла, освоении замечательных традиций советской сатирической графики и юмористики, учебы (не за партой, конечно) у таких выдающихся мастеров, как Э. Радлов, Л. Бродяты, В. Горьев, К. Ротов... Отсюда — особое внимание к рисунку, чистоте линий, острый характерности, сюжетности, пристрастие к деталям.

Художник исповедует многожанровость — выходит за рамки привычных тем и образов, использует различные материалы. Не все и не в одинаковой мере у него удается, но в большинстве своем поиски плодотворны. Он уже давно нашел себя и как график-иллюстратор. Иллюстрируя художественные произведения, Оффенгенден не дублирует текст, а создает самостоятельные образы, помогающие глубже постичь суть повествования.

Он художник-однолюб, преданный журналу, в котором вырос в зрелого мастера, стал широко известен, что, однако, не исключает — и это вполне оправданно — «отхожий промысел», приносящий солидную прибавку в его творческий багаж. Оффенгенден иллюстрировал классиков смеха — Марка Твена, Карела Чапека, Марти Ларин, одевал в веселые наряды книги Леонида Ленча, Юрия Никулина, Андрея Кучаева, Бориса Егорова...

Выставка познакомила нас и с другим, «серьезным» Оффенгенденем — автором нескольких пейзажей. Это тоже графика, но исполненная в другой, «общей» манере. И, может, потому в восприятии ее трудно «смонтировать» с остальными работами. И все же в лаконичных линиях этих пейзажных рисунков, сделанных как бы на ходу, в блокноте, есть жизнь, настроение природы.

Выставка, собравшая лучшее из того, что сделал Иосиф Оффенгенден более чем за четверть века, полно и объективно представляла нам одного из мастеров советской сатирической графики. И это не итог, а заметная веха на интересном и трудном творческом пути, которым идет художник.



**Вячеслав
КИСЕЛЕВ**

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

В конце прошлого года коллектив Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича выступил с инициативой: «Пятилетке качества — рабочую гарантию». Этот патристический почин получил широкое распространение по всей стране.

Как идут дела у инициаторов? Что нового принесла в жизнь завода эта полезная инициатива? Какое участие принимает в патристическом начинании рабочая молодежь одного из крупнейших предприятий страны? Об этом рассказывает секретарь комитета ВЛКСМ завода имени Владимира Ильича Вячеслав Киселев.

У нас в комитете комсомола часто бывают гости с других заводов. Говорим с ними о многом, но когда речь заходит о производстве, все интересуются одним: как на деле мы осуществляем призыв «Пятилетке качества — рабочую гарантию»? В чем принципиальная новизна этого почина?

— Никаких особых секретов, — отвечаем мы. — Все просто. Товарищеская взаимовыручка существовала на производстве всегда. Но не всегда отношения

между смежниками складывались так, как следовало бы. Например, так: критическая ситуация, «горит» план. Обычно начинаются поиски виноватых, взаимные обиды, ссылки на чужой брак, на неритмичность поставок — за спором, выяснением правых и виноватых.

В комитете комсомола завода: Вячеслав Киселев (слева) и секретарь комсомольской организации цеха № 15 Владимир Ковалев.

тых, дело стоит на месте. Условия наших договоров наоборот исключают подобные инциденты. Смотрите, что в наших договорах записано: «Мы решили еще больше укреплять наше трудовое сотрудничество, перейти от взаимных претензий в процессе труда к непосредственной взаимной помощи. Каждый из нас будет стремиться создать высокопроизводительные условия для всех рабочих, объединенных единым технологическим циклом... Обязуемся работать равномерно, ритмично, ежедневно выполнять плановые задания, не подводить друг друга».

Словом, передовиком у нас считается не тот, кто просто выполняет и перевыполняет план, а тот, кто вместе с этим заботится об успехах своих товарищей из соседней бригады.

Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Благие побуждения ничего не стоят на производстве, если они не подкреплены точными экономическими расчетами. Сколько мы видели разных починов и инициатив, которые заглохли, едва успев родиться. Несерьезный их характер вскрывался при первом же сопоставлении трескучих фраз с действительностью.

Прежде чем выступить с призывом «Пятилетке качества — рабочую гарантию», мы заметили пути выполнения качества в своей продукции. Соревнование бригад одной технологической цепи идет с таким расчетом, чтобы обеспечить ритмичную работу и рост производительности труда на каждом рабочем месте и во всех соревнующихся бригадах.

Что ждет победителей? Знание «Бригад рабочей гарантии». Это значит, что все технологические операции будут выполняться на уровне требований, которые предъявляются к продукции со Знаком качества. На все выполняемые работы бригада обязуется выдать паспорт рабочей гарантии или ставить личное клеймо отличного качества.

Но тут возникает такой вопрос. Что дает рабочему предоставленное ему право работать с личным клеймом? До недавнего времени ничего, кроме морального удовлетворения. А ведь он сдает продукцию, минуя ОТК, это ответственность огромная, и, наверное, всякий задумается, прежде чем взять ее на себя. На заводе учли и это. Чтобы повысить личную заинтересованность каждого рабочего в выпуске высококачественной продукции, в первую очередь обратили внимание на материальное стимулирование.

Вот как раскрыл в беседе с нашими молодыми рабочими экономический механизм нового патристического движения директор завода Владимир Иванович Михайлов:

«Определенная работа экономическими службами уже проделана. Система материального поощрения дополнена новым положением. В нем оговорено, что за повышения качества работы сельщикам — членам бригады рабочей гарантии ежемесячно выплачивается премия. Размер премии зависит от количества продукции, сданной бригадой с первого предъявления. Разработано и введено «Общее положение о бригаде рабочей гарантии». В нем определены основные принципы организации бригады, ее права, обязанности и ответственность. Бригаде рабочей гарантии предоставляется, в частности, право требовать от руководства цеха и мастера участка своевременного доведения месячных, декадных и смежных производственных заданий, других планируемых количественных и качественных технико-экономических показателей; требовать от смежных бригад и участков по технологическому потоку поставки продукции высо-

кого качества и комплектно. Важным разделом положения является характеристика взаимоотношений соревнующихся бригад».

Заинтересуемся последним. Как бы ни была хороша любая система, в основе ее всегда остаются человек, его связи с другими людьми. И совершенствование производственных отношений в наших условиях неразрывно связано с воспитанием коммунистического сознания у людей.

Этот процесс сложный — его не измеришь процентами, не включишь в сводку для отчета. И все же именно в этой области заметнее всего изменения, происшедшие в заводском коллективе после внедрения договорной системы.

Лучше всего они видятся в сравнении различных ситуаций, характерных для недавнего прошлого и для сегодняшнего дня. Попробую рассказать о них...

...Владимир Михайлович Овчинников бригадирствовал на нашем заводе не один год. Особых хлопот ему эта должность не доставляла. Вся его бригада, все пять человек, работала как единый, хорошо отлаженный механизм. Слесари-сборщики они были классные. Каждый сдавал свою продукцию с личным клеймом. Девятую пятилетку бригада выполняла за три года и три месяца. Ордена им вручали тут же, в цехе, и это особенно возводило и порождало всех. Обоймало без официальных речей по бумажке — поздравляла их товарищи, пришедшие на митинг от станков. На слова они были скупы, но не в словах, конечно же, было дело.

В общем, не своя бригада беспокоила Овчинникова, там все было как раз в порядке. Он думал о Вдовине, о бригадире смежников, работавших этажом ниже. Вдовинцы поставляли им аппаратуру для сборки небольших передвижных электростанций. На этой почве и начались у Овчинникова со Вдовиным раздоры.

Вдовину, собственно, все равно было, какие корпуса посылать наверх: для трехфазных или для однофазных генераторов. А Овчинникову было не все равно. «Начинку», роторы ему поставляли из другого места, и все в последнее время получалось как-то нескладно — генераторы приходили одни, а вдовинцы загружали лифт корпусами других. И пока то да се, пока разбирались, что к чему, разгужали и складывали в дальний угол ненужные сегодня корпуса, драгоценное время шло, а Овчинников знал цену минутам.

И не то беспокоило Овчинникова, что вносят смежники беспорядок в его работу. В конце концов он не последний человек на заводе — мог сообщить об этом начальнику цеха, главному инженеру или даже директору. Ничем хорошим для вдовинцев это бы не кончилось.

Задевало его (потом признавался) другое — споконные смежников, как бы со стороны глядящих на все его беды. Он уже заранее представлял себе разговор с Вдовиным.

— Да что ты, Михайлыч, — скажет, хитровато улыбаясь, тот. — Я план гоню? Гоню! Так что ты ко мне пристра?!

И ребята у него все такие же, молодые, зубастые. Ты им слово, а они все «ха-ха» да «хо-хо», ответа дельного не добьешься.

Этого вот Овчинников в людях не понимал. Чувствовал только, что никакие жалобы тут не помогут. Будет хуже — парня озлобится, замкнется. Как им



Бригада слесарей-сборщиков цеха № 15 (бригадир А. Иванов) тоже борется за право называться «Бригадой рабочей гарантии».

Фото А. КАРЗАНОВА.

объяснить тогда, что завод, где они работают, не чужой для них...

Вскоре после Нового года мы попросили зайти его в заводской комитет комсомола.

В комнате, где помещается комитет, было многолюдно. Здесь уже были Нина Мурысева, бригадир укладчиц из их же, пятнадцатого, цеха, еще несколько хорошо знакомых Овчинникову ребят-бригадиров.

— Тут вот какое дело, Владимир Михайлович, — сказал я ему. — О новом почине знаете?

— Слышал. Дело хорошее...

Незадолго до этого три руководителя смежных бригад — кузнец Николай Метелкин, токарь Иван Амосов и слесарь-сборщик Николай Кузнецов, подписали договор о том, что они обязуются совместно решать производственные вопросы, дают друг другу гарантию качества, переходят от взаимных претензий к взаимной помощи.

Во всех цехах и участках завода шло обсуждение почина. Дело было новое, сложное, но перспективы сулило большие. Мнение обсуждавших было единым: почин стоит одобрить и поддержать всем предприятием.

— Так вот, — продолжался разговор в комитете. — Многие наши комсомольско-молодежные бригады тоже работают в одной технологической цепочке. К вам, например, Владимир Михайлович, приходит продукция, прошедшая четыре молодежных коллектива. Они хотят заключить меж собой договоры. Как вы, не присоединитесь к ним?

— Можно, — сказал Овчинников. — А провинившихся как — наказывать, что ли, будем?

И со значением посмотрел в ту сторону, где сидели представители вдовинской бригады.

С Владимиром Михайловичем я беседовал еще раз через полгода после описываемых событий. За это время новая система управления качеством прочно вошла в жизнь завода, шагнула за его пределы.

Бригада Овчинникова и в этой пятилетке приняла высокие социалистические обязательства — они обещают выполнить свой план за четыре с половиной года. Настроение у Владимира Михайловича было хорошим: в этот день экономисты сообщили, что бригада уже сейчас идет со значительным опережением графика.

— Не подводят смежники? — спросил я у него.

— На смежников жалоб нет, — сказал он. — Переменялись ребята сильно. Я сначала, признаться, не очень верил, что договор этот подействует на них. Дали нам время, чтобы обдумать как следует все пункты, подготовить свои предложения. Я спускаюсь к Вдовину: давай решать вместе. Собрали парней, обсудили все, ударили по рукам. Я к дверям, а меня сади окликают.

«Вот, — говорят, — мы тут о товарищеской взаимопомощи только что беседовали, а у нас сейчас аврал как раз — продукцию загружать не успеваем. А она, между прочим, и для вашей бригады тоже

предназначена. Просьба у нас, Михалыч, к тебе — подбрось сюда своих хлопцев».

«Что ж делать,— думаю,— от слов своих вроде отказывались нехорошо». Пришли, помогли нам. После еще не раз помогали. Но зато и спрос с них стал не тот, что раньше. Я брак за полверсты вижу, чуть что не так — сразу к Вдовину.

«Как же,— говорю,— так, бригадир, на договоре подписи ставил, а тут мне очки втираешь? Нехорошо это, не по-товарищески. Ведь нам потом потеришь эти часы наверстывать. ...Что ж, нам тоже брак плавить, что ли?» И, честно вам скажу,— вижу, что смущаются ребята. И случаи такие редки стали. Раньше их ведь никаким начальством напугать нельзя было. А против обещанного, против совести своей пойти не смогли. Совесть — она и есть лучшая гарантия рабочего человека.

После разговора с Овчинниковым мне как-то ясней стал нравственный смысл ловой системы. Когда разрабатывались условия соревнования, некоторые видели псурацую в том, что письменным договором, документом узакониваются самые обычные нормы нашей морали: помочь товарищу, честное отношение к делу. Теперь я знал точно — они ошибались. Напротив, договор этот есть документ доверия к человеку.

В нем сам человек устанавливает себе производственную норму на завтра — вписывает цифры роста производительности труда. В нем сам он повышает к себе и моральные требования. Здесь тоже есть своя норма «на завтра». Он обязуется быть принципиальнее, отзывчивее... Стремится совершенствовать себя. В этом несомненное достоинство системы.

После разговора с Овчинниковым я много раз беседовал с ребятами, также заключившими друг с другом договоры о социальном и взаимопомощи и связанными с ним одной технологической цепью.

Главное, что все они убеждены в одном: соревнование по вертикали (то есть соревнование коллективов-смежников, выполняющих работу от начального этапа производственного процесса до выпуска готовой продукции) — именно та форма соревнования, которая соответствует требованиям времени.

По сути, отмечали они, это не соперничество, а сотрудничество коллективов.

Ведь кто ходил прежде в передовиках? Человек, бригада, перевыполняющие план, бьющие рекорды... Но мы знаем, что вчерашний рекорд сегодня — технически обоснованная норма для всех. Перевыполнение ее может отразиться на качестве выпускаемых изделий. В таких условиях прежде деление на передовиков и отстающих означает лишь серьезные просчеты в организации труда на предприятии.

Кто же будет передовиком теперь? Человек, бригада, цех, выполняющие производственные задания, имеющие самые высокие качественные показатели труда и несущие, кроме того, коллективную ответственность перед смежниками.

На это надеваются рабочих новые условия соревнования. Но чтобы избавиться от стереотипа прежних отношений, нужно сломать устаревшие представления в сознании людей.

Запомнились мне слова Толи Вдовина, бригадира лесарей-сборщиков. Того самого Вдовина, с которым не ладил прежде Овчинников.

— Вот смотри,— сказал он,— вот мы, сборщики, а вот — токари. У нас идет брак, а кто виноват? Они! Так приняло было считать. А так на самом деле или нет — кто знает? Токари тоже оправдываются: «Винюваты не мы, а кузнецы: их поковками только оре-

хи колооть!» Вот и разберись, откуда брак идет! Так я считаю, что при новой системе мы должны прежде всего научиться доверять друг другу, чувствовать себя одним коллективом, бороться за чужие ошибки.

Смысл соревнования по вертикали в том, что каждый цех, каждый участок несет коллективную ответственность за выпуск готовой продукции. Без этого трудно установить наиболее слабые звенья, быстро ликвидировать недостатки. Односторонние договоры неинтересны и рабочим — у них теряется ощущение причастности к общему делу. За необходимость соревнования всех без исключения звеньев единой технологической цепи высказываются все молодые рабочие.

Интересную и своевременную мысль подсказала бригадир обмотчиков Людмила Федорова.

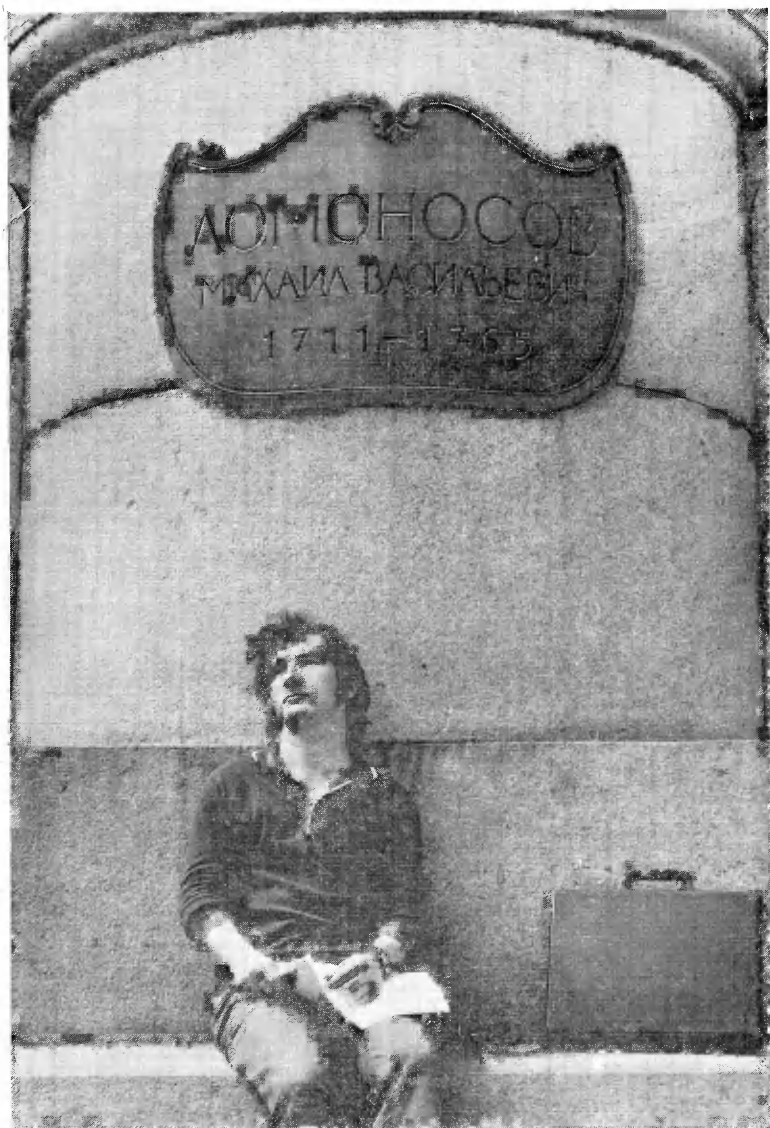
Их цех — начальное звено той технологической цепочки, о которой мы говорили. К ним поступает исходный материал — провода, изоляция для обмоток. Ну, а если у них есть претензии к качеству материала? С кем им заключать договор? От кого требовать гарантии? От снабженцев? Нет, сказала Федорова, пора взглянуть на возможности соревнования шире. Перейти от заключения договоров между цехами к обязательствам между предприятиями.

Производственные отношения между смежными заводами и фабриками повторяют в большем масштабе отношения между цехами, участками. А значит, и механизм регулирования их может быть схож. Это та же «вертикаль» — цепь, скрепленная договорными гарантиями. Мы знаем пример такого сотрудничества, возникшего еще в середине тридцатых годов. Я имею в виду взаимные обязательства калининских, ивановских, подмосковных текстильщиков с хлопкоробами Узбекистана, известные всей стране как «договор тысячи».

...Где только не встретишь сейчас этот маленький пятиугольник! В магазине покупатель, выбирая нужную ему вещь, обязательно спросит у продавца: «А это вот со Знаком качества?» Различные министерства и ведомства уже спускают своим предприятиям планы выпуска изделий со Знаком качества. А ведь десяти лет не прошло с того дня — 22 апреля 1967 года, — когда впервые в стране этот знак был присвоен серии электродвигателей с маркой моего родного завода имени Владимира Ильича.

Перелесты газет, слушаю радио, мы узнаем, что почин «Пятилетке качества» — рабочую гарантию» подхвачен всей страной. Его развивают и углубляют на местах. Работники ЗИЛА, осуществив у себя идею сквозной ответственности за качество продукции, начали движение под девизом «Рабочей гарантии — инженерную поддержку». Теперь уже нам надо успевать — внедрять у себя новое, прогрессивное, учиться у других.

Рассказ В. КИСЕЛЕВА
записал В. ХАБИДУЛИН





Юрий
КОЗЛОВ

РАЗГОВОР СО СТРОГИМ ЭКЗАМЕНАТОРОМ

Когда я сдавал экзамены на аттестат зрелости, у меня никак не получалась задачка по физике. Я сидел на последней парте и смотрел в потолок, словно там могло появиться решение этой проклятой задачи. Комиссия заволновалась. Потом ко мне подошла учительница физики, села рядом, объяснила принцип решения задачи, и уже через десять минут я отвечал на билет. На выпускном вечере учительница сказала: «Школьные и вступительные экзамены — это день и ночь!.. Школьные экзамены не научили вас, пожалуй, самому главному: отрешаться от учебника, готовых формул, пытаться мыслить самостоятельно».

В справедливости ее слов я убеждался не раз. За время учебы в институте я сдал по крайней мере сотню экзаменов и зачетов. И оставался на высоте положения только тогда, когда излагал материал не просто близко к тексту, а старался связать внешне, казалось бы, разрозненные факты, наблюдения в единую картину. И вот что еще интересно: из всех преподавателей, с которыми мне приходилось иметь де-

ло, особенно запомнились те, которые принимали вступительные экзамены в институт. Может быть, потому, что именно они преподали мне первый по-настоящему серьезный урок умения мыслить самостоятельно.

...Семь лет спустя я шел в гуманитарный корпус Московского Государственного Университета на Асинских горах, чтобы встретиться с Таисией Афанасьевной Орловой. Таисия Афанасьевна принимает у абитуриентов вступительные экзамены по русскому языку и литературе с 1946 года. Работала на всех факультетах МГУ. Награждена орденом «Знак почета». Отличник народного просвещения. Много лет преподавала в школе, сейчас читает лекции на подготовительных курсах...

В тот августовский день на историческом факультете университета писали сочинение. Большинство абитуриентов выбрало тему «Душа и маска Печорина».

— Пятнадцать — двадцать лет назад, — говорит Таисия Афанасьевна, — тема эта звучала бы иначе. Скажем: «Образ Печорина в «Герое нашего времени» Лермонтова». Чувствуете разницу? Ведь что такое образ? По-научному «форма отражения действительности искусством». То есть образ — категория широкая. А тема «Душа и маска Печорина» предполагает исследование только одной проблемы внутри самого образа. Тут общими фразами не отделаться. Чтобы правильно развить эту тему, необходимо, во-первых, доскональное знание текста, во-вторых, знание основ литературоведения. Хочу сказать, что усложнение тем — тенденция, наметившаяся в последние годы. Это своеобразная реакция на растущие конкурсы. Школа в общем-то пока не дает ни знания литературоведения, ни углубленного изучения текста... Как звучит вторая тема сегодняшнего сочинения? «Образ автора в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя». И опять большинство собьется на классические лирические отступления про «толстых» и «тонких» и про «птицу-тройку». Но есть в «Мертвых душах», например, такая фраза: «Не умеет русский мужик умирать своей смертью...» Можно на основе этой фразы целое социологическое исследование построить... Эта фраза — тоже образ автора. И поэтому я не удивляюсь, когда прихожу в гости к знакомым и вижу, что их дочь — девятиклассница читает учебник литературоведения. Более того, я почти уверена и хочу поделиться своей уверенностью с абитуриентами: готовиться к вступительным экзаменам надо начинать загодя...

Сочинение было вторым по счету экзаменом на историческом факультете. Предыдущий экзамен по истории триста пятнадцать человек сдали на отлично. В коридоре я внимательно изучил доску объявлений приемной комиссии. Почти тысяча поданных заявлений на сто двадцать пять мест. Причем тридцать мест заняли медалисты. После каждого экзамена у дверей приемной комиссии вырастает очередь — забирают документы. Но даже сдав все экзамены на пятёрки, нельзя быть уверенным, что тебя зачислят. Еще будут прибавлять средний балл, выведенный из школьного аттестата...

— Большинство проблем, связанных с абитуриентами, начинается не во время экзаменов, а главным образом после, когда этим девятистам молодым лю-

Слева — фототюд А. ГУЩИНА.

дам, не поступившим на исторический факультет, надо будет куда-то устроиться... Они готовили себя к научным занятиям, а им предлагают идти работать, скажем, почтальонами. Крушение надежд — никак не меньше! В чем здесь дело? Последние годы учебы в школе проходят в атмосфере, как говорят социологи, чрезмерно завышенных ожиданий — в атмосфере, во многом искусственно нами, педагогами, создаваемой. Скажем, получил мальчик по алгебре три пятерки подряд, мы его уже прочим в великие математики. Написал «близко к тексту» сочинение — учиться ему не иначе, как на факультете журналистики. Ну, а о судьбе завязтых троечников как-то даже не принято говорить. Тут дело ясное — их ждет техникум, училище или завод. Понимаете, какой моральный ущерб приносит вот такая «педагогика»? Мальчишки и девочки принимают все всерьез — особенно когда разговор о будущем заводит с ними учитель — самое, пожалуй, авторитетное лицо. Безусловно, с выпускниками средних школ надо говорить об их будущем, но при этом необходимо учитывать не только успеваемость подростка, но и его склонности, выявленные в школе способности, которые надо непременно соотносить с сегодняшней общественной нуждой — в рабочих, инженерах, ученых, работников сферы обслуживания. Одним словом, открывать перед подростком реальную картину мира. Выигрывают от этого все, и прежде всего сам подросток. Во всяком случае, возможную неудачу при поступлении в вуз он воспримет не как трагедию, а как один из эпизодов «взрослой» жизни, в которой успех, высокое моральное удовлетворение не замыкаются на внешние престижные моменты, а связаны прежде всего с содержательным трудом на любом поприще. Мой совет молодым: мечтайте, стройте самые фантастические планы, но учитывайте при этом потребности современного общества, которое нуждается в людях разных профессий.

Мы стояли с Таисией Афанасьевной около окна на лестнице напротив аудитории, где помещалась приемная комиссия. Оттуда вышли две растрепанные девушки. Они быстро спрятали в сумочки аттестаты об окончании средней школы. Очевидно, двойки по литературе... А впрочем, при конкурсе десять человек на место и тройка лишает абитуриента всяких надежд.

— Меня называют самым строгим экзаменатором, — сказала Таисия Афанасьевна. — Действительно, за свою жизнь (я имею в виду те тридцать лет, что принимаю вступительные экзамены в МГУ) я поставила около трех тысяч двоек, это по самым скромным подсчетам и только на устных экзаменах. Сто двоек каждое лето... Давайте разберемся в существе моей строгости. Отвечая по билету, абитуриент вступает в контакт с экзаменатором. Они не знают друг друга, и получается, что, говоря, допустим, о русской литературе девятнадцатого века, молодой человек как бы рассказывает о себе самом. Экзаменатор воле-неволею судит о его личности по высказываниям, и когда абитуриент бойко «перекладывает» учебник, — это уже характеристика!

Вот три принципа, на которых основывается работа экзаменатора: гуманность, строгость, объективность. Гуманность велит мне посылать абитуриенту за хорошее знание учебника пятерку, строгость — чтобы я задала ему несколько уточняющих вопросов, а объективность заставляет вспомнить о сотнях близнецов-ответов, которые я уже сегодня слышала. Вот и получается, что знание учебника оценивается тройкой. Учебник — это, по-моему, всего лишь старто-

вая площадка для хорошего ответа. Главное — собственное отношение молодого человека к тому или иному литературному произведению, умение логически мыслить, отстаивать свою точку зрения... Еще один совет: старайтесь высказывать собственное мнение, учитесь его отстаивать. Свои, пусть даже «непричесанные» мысли дороже заимствованных, затверженных истин.

Таисия Афанасьевна часто вспоминает первый послевоенный год. Тогда она училась на филологическом факультете и в первый раз принимала вступительные экзамены в МГУ.

— Что меня сразу поразило, — вспоминает она, — это выстраданное понимание литературы у тогдашних абитуриентов и страстное желание учиться. Год как закончилась война. Солдаты прошли с боями пол-Европы. Они не только воевали, они думали, они учились, они многое видели. Их, советских солдат, встречали как освободителей. Я думаю, в данном случае уместен термин «рост национального самосознания». Они столкнулись с огромным уважением к нашей культуре, к нашим писателям, художникам, композиторам... После войны, как, впрочем, и сейчас, поступить в технические вузы было проще. И все же многие вчерашние солдаты пошли в университет на филологический, исторический, философский, юридический. Они прекрасно знали русскую и советскую литературу, но совсем не помнили правил правописания. И каждую свободную минуту использовали для того, чтобы учиться. Однажды иду по коридору, смотрю, солдат стоит у подоконника и читает учебник истории. «Вы что? — спрашиваю, — с луны свалились? Сегодня же русский и литература!» «А я уже к следующему экзамену готовлюсь, — отвечает. — Русский язык я...» — смотрит на часы — двадцать минут назад сдал...» Или вот еще один случай, характерный для сорок шестого года. Поступал на юридический факультет демобилизованный солдат. На вопросы по литературе ответил прекрасно, а по русскому попался ему трудный билет — числительные. Там ведь надо одиннадцать правил знать. Ну, думаю, пропадет солдатик. Подошла я к нему и тихонько говорю: «Хотите билет поменять? Какая часть речи вам нравится?» Он посмотрел на меня удивленно. «Что вы! — говорит. — Я перед танками не отступал, а с числительными уж как-нибудь справлюсь». И когда пришла его очередь отвечать, я спросила у него все одиннадцать правил. И что вы думаете, ответил! После экзамена встречаю его в коридоре. «Сурово спрашиваешь, — говорит мне. — А как же? — отвечаю. — Во-первых, экзаменатора всегда слушаться надо, во-вторых, за слова свои отвечать, а в-третьих, хочется мне, чтобы вы про этот экзамен, как про бой с танками вспоминали». Тогда люди буквально сражались за право учиться в Университете (она с такой интонацией произносит это слово, что я не решаюсь написать его с маленькой буквы. — Ю. К.), хотя в смысле знаний уступали современным абитуриентам. Абитуриенты сорок шестого года понимали, что упустили время, и учились с колоссальной отдачей. А сейчас... Некоторых уже с первого курса отчисляли. Мне кажется, что, поступив в Университет, надо учиться за себя и за тех девятых, которые не прошли по конкурсу. Я в своей жизни дважды была абитуриенткой, — продолжает Таисия Афанасьевна. — Последний раз в тысячу девятьсот сорок пятом году, когда приехала поступать в аспирантуру на филофак МГУ. Правда, к этому времени у меня уже было высшее образование, но — увы! — далеко не филологическое.

В тысяча девятьсот тридцать четвертом году она закончила Иркутский индустриально-педагогический институт. Изучала она в этом институте все: математику, физику, химию, даже электротехнику и сельскохозяйственное производство.

А еще раньше, в 1922 году, была делегатом первого губернского слета пионеров. Жила тогда в Яранском уезде, Вятской губернии. В школу ходить было далеко — в соседнюю деревню. Зато после уроков учительница иногда подкармливала учеников манной кашей и грецкими орехами.

— Тогда я окончательно решила: вырасту, стану учительницей, — вспоминает Таисия Афанасьевна. — Дома спросили: почему? Я ответила: буду каждый день досье есть манной каши и грецких орехов! Я тогда почему-то решила, что это — учительский паек. Однако после окончания школы меня послали на Алтай в деревню Усть-Тустынку, Березовского района. Там, на курсах, я осваивала трактор. Потом вместе с группой комсомольцев и сельскохозяйственных специалистов поехала организовывать колхозы по Алтайскому краю. А потом сблалась наконец моя мечта. Я стала учительницей в Омской железнодорожной школе. Правда, есть каждый день досье манной каши и грецких орехов мне тогда так и не привелось...

Муж Таисии Афанасьевны Орловой погиб на фронте в 1941 году. Она работала тогда медсестрой в Омском госпитале. Потом у нее появилась общественная нагрузка — читать лекции раненым солдатам по русской и советской литературе.

— Была зима сорок первого года, — вспоминает Таисия Афанасьевна. — Когда смеркалось, снег словно синим становился... Мне от госпиталя до дома ночью по морозу километров пять идти. И так споконно было в палате. Уходить не хотелось. За окном все синее, а в палате печка топится. Говорили почему-то все больше о Пушкине и о Толстом. Иногда кто-нибудь вдруг тяжело так вздохнет, и все вспоминают, что идет война, что каждый день солдаты гибнут, что немцы стоят под Москвой. Лежала, помню, в госпитале парень один с Урала, танкист. Как-то он сказал: «Два дела мне надо в жизни сделать. Сначала войну закончить, а потом поехать в Москву, поступать в университет...» Я тогда подумала, что не зря все-таки читала эти лекции...

В 1945 году она приехала в Москву поступать в аспирантуру филологического факультета. Декан внимательно просмотрел список, где было сказано, как сдавала студентка Орлова экзамены в Иркутском индустриально-педагогическом институте — надать лет назад.

— Значит, русский язык и литературу вы не изучали? — спросил декан.

— Нет...

— А поступать приехали в аспирантуру на филолог?

В аспирантуре ей отказали. Декан написал поперек заявления: «Допустить к экзаменам на общих основаниях. Если поступит, разрешить сдавать экзамен».

А в 1946 году она уже сама принимала вступительные экзамены у абитуриентов. В 1948 году получила диплом об окончании филологического факультета и пошла работать в 173 московскую среднюю

школу. И вот уже тридцать лет принимает Таисия Афанасьевна вступительные экзамены на всех гуманитарных факультетах МГУ.

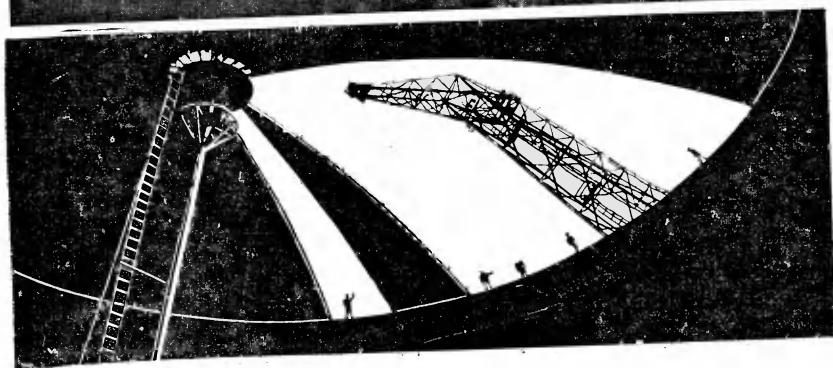
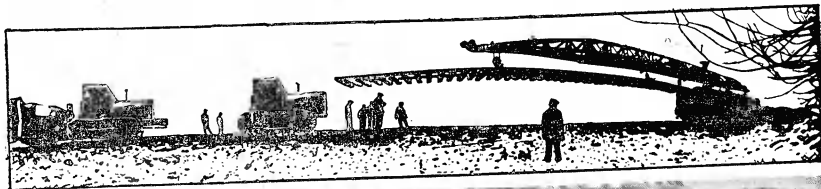
— Вчера, — сказала при очередной встрече Таисия Афанасьевна, — я проверила двести сочинений на тему «Душа и маска Печорина», и знаете, что меня порадовало? Не попытки литературоведческого анализа, — они очень и очень робкие, а простое человеческое понимание героя. Многие пишут, Печорин был эгоистом, думал только о собственных развлечениях, и так далее. А в конце сочинения добавлял: «Но он страдал, переживал, и поэтому он мне нравится!» Понимаете, они идут навстречу произведению искусства с открытой душой, относятся к нему без какой-либо предвзятости. Абитуриенты стали как-то взрослее. И еще одна — может быть, частная особенность: сейчас значительно меньше пользуются шпаргалками. Во всяком случае, за последние два года в МГУ на устных экзаменах по русскому языку и литературе «не было ни одного удаления. Поэтому я хочу пожелать будущим абитуриентам: будьте столь же честными и порядочными!

— Мне кажется, — продолжает Таисия Афанасьевна, — мы можем быть спокойными за поколение, вступающее в жизнь. С одной стороны, они романтики. Читая их сочинения на вольные темы, действительно убеждаешься в том, что с такими людьми мы построим и БАМ и все, что захотим. Они чувствуют время, чувствуют эпоху, в которой живут, и они сопереживают с этой эпохой. А с другой стороны, их отличительные черты — простота и скромность. Это, по-моему, прекрасное сочетание. В прошлом году я проверяла сочинения на биологическом факультете. Тема называлась «Мой край». Одно сочинение до сих пор забыть не могу. Вот как его девочка начала: «Я родилась в Денисовке, это на берегу Белого моря, там, где в молодости жил Ломоносов. Моя мама биолог, папа тоже биолог, и я хочу стать биологом, хочу принести пользу моему родному краю. Белое море хоть и холодное, но оно нуждается в заботе и защите. Я хочу помочь сохранить Белое море...» Но надевала девочка ошибку! — грустно качает головой Таисия Афанасьевна. — А я подумала, что если эта девушка даже не станет биологом, она все равно будет приносить пользу родному краю. Потому что ее сочинение — не просто красивые слова, это ее убеждения. Вот ведь что главное. Когда я слышу прекрасный ответ или читаю отличное сочинение, я чувствую себя прощенной за все двойки, что поставила раньше. Я люблю вести с молодыми людьми разговор о русском языке и литературе. Это мне никогда не надоеет, потому что все хорошее, что было в моей жизни, так или иначе связано с тем, что я — преподавательница русского языка и литературы... То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году была такая тема сочинения: «Новые люди и образы будущего». Я тогда сидела в аудитории, где писали, и думала: «А ведь вот они передо мной, новые люди сидят!» А образы будущего виделись мне в том, чтобы все сидище в аудитории, независимо от того, будут они учиться в университете или нет, выросли хорошими, настоящими людьми! У них для этого есть все задатки.

Александр АЛЕКСАНДРОВ



ДОРОГА ПОСТРОЕНА,



ДОРОГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Когда читатели получат этот номер «Юности», в Тюменской области произойдет событие, которого с нетерпением ждали тысячи и тысячи тюменцев — нефтяников, газовиков, геологов, строителей. Около таежной станции Мегион, неподалеку от знаменитого озера Самотлор, в полотно Дороги Тюмень — Сургут — Нижневартовск будет уложено последнее — «серебряное» — звено, откроется регулярное движение поездов по тысячекилометровой трассе в глубь нефтяного края.

За несколько дней до этого события в редакции побывал один из участников предстоящей стыковки — зам. начальника механизированной колонны № 5 треста «Уралстроймеханизация» Александр Александрович АЛЕКСАНДРОВ. Вот что он рассказал:

Последние километры укладки на огромной транспортной стройке — это не первые километры, к которым приступаешь с понятной робостью: опыта пока чуть-чуть, а где-то там впереди непроходимая тайга, сотни рек, болота, годы и годы напряженнейшей работы... Перед стыковкой, заключительным этапом многолетних человеческих усилий, душа поет и радуется. А ведь дошли до Вартовска, вот он, под боком! Неделя-другая — и услышат в городе гудок первого тепловоза.

В такие дни только и разговоров, что о стыковке. В такие дни ребят буквально приходится выпроваживать с работы. Сутками готовы сидеть за баранкой или рычагами: «Отдохнем потом».

Отчего такой взрыв энтузиазма, гадать не приходится: новость, как говорится, на выданье. Вот она, дорога, с вертолета смотрится: ровная желтая песчаная насыпь (наша работа, механизаторов!), как параллель на карте, режет блеклую зелень болот и лесотундры. Смотришь вниз, и сердце то и дело холодеет. Вот здесь КраЗ чуть не ушел под лед, а там мучались с переправой через крошечную, но коварную речушку. Отсюда возили песок на насыпь, а вон там, на берегу реки Меги, высаживали первый лесант.

Понимаете, я-то всего ничего проработал на стройке — три года. А так памятно все здесь и дорого —

На снимках слева:

Укладка последних метров пути.

Анатолий Дубовой возглавляет одну из лучших комсомольско-молодежных бригад путейцев на стройке.

Строительство нефтехранилища в районе озера Самотлор. На празднике стыковки нефтяники Самотлора примут символический ключ от строителей дороги.

Фото В. ПАНОВА.

это, наверное, потому, что выстрадаю, у природы отвоваю, полотно потом...

Но у меня есть друзья, которые тянут трассу от самой Тюмени. У них за плечами, считайте, десятилетний опыт, и как они сжились с дорогой, не трудно себе представить.

У них на памяти многое:

— штурм Еланских болот под Тобольском (там трясина глотала земляную насыпь, как голодная щука зазевавшуюся рыбешку);

— переброска тепловоза «Комсомолец» верхом на барже в таежную глушь — на пятисотый километр, в Салым;

— мосты через Иртыш и Обь;

— сотнекилометровые зимники, по которым в сумасшедшие сибирские метели шли на Север автопоезда...

Дорога требовала многого — техники, материалов, механизмов. Но чего бы стоили самые лучшие материалы, самые совершенные механизмы, если бы люди хныкали, рвались домой на Большую землю, вместо того, чтобы учиться в процессе дела преодолевать преграды, преодолевать в конечном итоге себя?

Хочу сказать, что вместе со строительством дороги у наших молодых накапливался серьезный гражданский, нравственный, технический опыт. И если теперь повсюду говорят, что такой-то человек на дороге вырос — это не метафора.

Известно также, что любой руководитель — от бригадира до начальника мехколонны, проходит у нас отличную школу. Ибо условия работы на тысячекилометровой трассе таковы, что ежедневно и ежечасно приходится принимать самостоятельные решения: некогда посоветоваться, проконсультироваться, «обговорить» вопросы на разных уровнях. В краю бездорожья и сложных погодных условий привыкаешь рассчитывать на себя, на свои знания и опыт, тут не спрячешься за спину вышестоящих. Потому и мучаюг, взрослеют люди на трассе быстрее, чем на Большой земле.

Сейчас, когда я все это рассказываю, до стыковки встречным строительно-монтажным поездам, мехколоннам остается пройти всего по несколько километров. Скоро, очень скоро будет подведен итог многолетнего труда тысяч людей. Будет праздник, забудут «серебряный костыль», первый поезд привезет хозяев праздника в Нижневартовск. Вслед за первым поездом пойдут составы с грузом для нефтяников и газовиков, пассажирские вагоны. И железнодорожные каскиры в Тюмени или в Тобольске будут как ни в чем не бывало продавать билеты до Нижневартовска...

А строительно-монтажные поезда, мехколонны, в том числе и наша пятая, переедут на новое место — на участок Сургут — Уренгой. Снова счет пойдет на метры пройденного пути — до следующей стыковки. Дорога построена, дорога продолжается!

На Уренгой!



Теодор
ГЛАДКОВ



ХАРЬКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЦК ВЛКСМ
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА ЗА 1975 ГОД:

Присудить премии
Ленинского комсомола:
Сихарулидзе Александру Георгиевичу,
старшему архитектору,
Демьяненко Валентине Ивановне,
инженеру, Аksenовой Ларисе Митрофановне,
технику-архитектору,
Копелец Людмиле Ильиничне,
старшему инженеру,
Мироновой Людмиле Степановне,
инженеру, Бензарь Валентине Павловне,
старшему инженеру,
сотрудникам Государственного
научно-исследовательского
и проектного института
металлургической промышленности,
Нифонтову Алексею Викторовичу,
старшему архитектору,
Герасименко Олегу Ильичу,
руководителю сектора,
сотрудникам Управления
главного архитектора г. Харькова —
за проект учебно-политехнического центра
Дзержинского района г. Харькова.

Сам Центр, выражаясь языком строителей, «строительством не завершён». Но коробка здания уже выстала на Новгородской улице. Сделать ещё предстоит многое, прежде чем стеклянные двери Центра распахнутся перед первыми посетителями — старшеклассниками примерно двадцати пяти школ Дзержинского и прилегающего к нему Киевского районов Харькова.

По своему оснащению, оборудованию, условиям для занятий Центр станет учебным заведением совершенно уникальным. (Пока у него нет даже официального названия, поэтому впредь я буду коротко называть его Центр.) Но дело, конечно, не только, вернее, не столько в оборудовании Центра. Главное, он создается для реализации системы определенных педагогических идей, и каждая деталь проекта подчинена этому общему педагогическому замыслу.

Рано или поздно специалисты начнут разрабатывать типовые проекты подобных центров для разных районов страны. Накопленный к тому времени опыт харьковского Центра со всеми его достоинствами и возможными упущениями станет для них как бы отправной точкой. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать огромный интерес, который возбудит в ближайшем будущем харьковский опыт у педагогов, психологов, медиков, работников высшей школы и системы профессионально-технического образования, комсомола и даже милиции.

Слова «харьковский опыт» я не случайно выделяю сразу — еще до рассказа о Центре, заслужившем премию Ленинского комсомола. Дело в том, что хотя новый Центр пока в строй не вошел, но уже насчитывает пятнадцатилетнюю историю накопленного в этом городе опыта ранней профессиональной ориентации, политехнизации обучения и трудового воспитания.

Не будет натяжкой протянуть нить традиции и в более отдаленные времена — к периоду создания Антоном Семеновичем Макаренком знаменитой Куряжской колонии, воспетой в его же «Педагогической поэме». Сейчас территория бывшей колонии, к слову, оказалась в границах разросшегося города. Это не просто географическое совпадение. В педагогике традиции имеют огромное значение, а харьковские педагоги считают себя непосредственными продолжателями дел и идей А. С. Макаренки.

У нового Центра есть прямой предшественник. Это учебный цех прославленного Харьковского тракторного завода имени Серго Орджоникидзе. Примечательно, что за создание учебного цеха Харьковский тракторный также был удостоен премии Ленинского комсомола — в 1971 году. Министр просвещения СССР Михаил Алексеевич Прокофьев назвал этот цех, существующий уже пятнадцать лет, «классическим примером» новой организационной формы трудового обучения старших школьников.

Итак, на протяжении всего лишь пяти лет харьковчане получали две премии Ленинского комсомола за достижения, по сути, в области педагогики.

Теперь нужно сообщить читателю, что организатором учебного цеха ХТЗ и его начальником до осени прошлого года был Павел Андреевич Ярмоленко. Он же разработал всю педагогическую концепцию нового Центра. Однако его имени в списке лауреатов ни за 1971, ни за 1975 год нет. Потому что Ярмоленко далеко за сорок, а премия комсомола имеет возрастные пределы.

Из цеха ХТЗ, любимого своего дитяща, Павел Андреевич ушел по причине весьма уважительной. Его, заводского работника, после защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата

педагогических наук, избрали заведующим кафедрой педагогики Харьковского государственного университета. Случай беспрецедентный! Чтобы такое стало возможным, очень уж убедительными должны были быть как диссертация, так и, главное, успехи учебного цеха.

Чтобы убедиться в этом, а также представить, каким будет Центр Дзержинского района, я и поехал на ХТЗ.

Кирпичное двухэтажное здание явно производственного назначения. Когда-то в нем размещалась пожарная команда, потом его перестроили под учебный цех ХТЗ.

Знакомлюсь с Жанной Сергеевной Дьяченко — нынешним начальником цеха. До этого назначения она шесть лет работала здесь же заведующей учебной частью, еще раньше — инженером на этом заводе. (Напоминаю, учебный цех является структурным подразделением Харьковского тракторного; все сотрудники цеха считаются, да и являются, по существу, кадровыми работниками завода.)

Дьяченко уравновешенна, вдумчива, деловита, молода. Работа с ребятами ей по душе; жалеет только, что не имеет педагогического образования. Кстати сказать, это серьезнейшая проблема. Преподавателей для таких центров не готовят ни одно учебное заведение в стране. Все они чистые производственники, как преподаватели — самоучки. Кроме Ярмоленко: Павел Андреевич до поступления на филологический факультет университета много лет проработал токарем и электрослесарем на заводе. Так уж случилось, что он знает и производство и педагогику. Но Ярмоленко — редкое исключение среди своих коллег. А им в подавляющем большинстве приходится осваивать учебный процесс на опыту, старым, как мир, методом проб и ошибок. И со многими в Харькове говорил на эту тему. Все считают, что пора воссоздать хотя бы в нескольких политехнических институтах инженерно-педагогические факультеты, которые выпускали бы квалифицированных преподавателей трудовых дисциплин для школ и учебных центров.

...Жанна Сергеевна ведет меня по цеху, на ходу давая пояснения. Чтобы не отвлекать внимания занятых делом ребят, в лаборатории и кабинеты не заходим (я побывал в них позже, после окончания рабочего дня). Двери всех учебных помещений из цельного толстого стекла, такие сейчас часто ставят в больших магазинах. Стеклопластиковые двери не самый главный, но все же один из существенных принципов работы Центра.

Сначала школьники приходят в цех экскурсантами. Их знакомят с «классами», следовательно, с различными рабочими специальностями, через двери-витрины, чтобы не мешать ребятам постарше этими самыми специальностями овладевать. А потом наступает день, когда перед новичками стеклянные двери гостеприимно распахиваются.

Кто же эти новички в синих аккуратных халатах, мальчики в беретах, девочки в пестрых косычках? Десятник классники пятнадцатилетних школьников района. Здесь, в учебном цехе, они на протяжении полугодия занимаются полным рабочим днем — в неделю 6 часов. В десятом классе, после летней производственной практики на заводе, цикл повторяется.

Выкроить для труда целый рабочий день в неделю харьковчанам удалось без перегрузки ребят и ущерба другим предметам. По школьной программе на уроки труда отводится два часа в неделю. Совершенно очевидно, что за эти два часа, да еще при скудном, случайном оснащении школьных мастерских ничего путного сделать нельзя. Министерство просвещения Украины в виде эксперимента разрешило харьковчанам свести «трудовые» часы всех четырех четвертей в одно полугодие — это дало 4 часа. К ним прибавили 2 часа, что отведены на факультативные занятия. Получилось 6 часов. Рабочий день такой продолжительности как раз и допускается для подростков трудовым законодательством.

С ознакомительных экскурсий профориентирование ребят только начинается. Десятник классники, придя в цех, имеют возможность поглубже ознакомиться с основными, так называемыми «сквозными» профессиями и выбрать одну из них себе по вкусу. Выбор иногда носит окончательный характер, иногда — нет. Подросток может на протяжении определенного вре-

Рисунки И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



мени поменять занятие. В этом принципиальное отличие цеха от, скажем, так называемых ученических бригад, где выбора фактически нет или почти нет.

Я помню, как создавались такие бригады: один класс целиком посылали «слесарить», другой — «токарь». Никакого представления об индустрии в цехе ребята при этом, конечно, не получали. Между тем, по мысли В. И. Ленина, политехническое образование должно знакомить в «теории и на практике со всеми главными отраслями производства».

Теорию производства школьники изучают в отличном оснащенных общетехнических лабораториях и кабинетах. Практика в форме учебного производства организована на профильных участках цеха. Таких участков (следовательно, и возможностей для выбора) достаточно много: токарный, станочный, слесарный, столярный, чертежный, контрольно-измерительный, электротехнический, радиотехнический и автодела.

Участки, надо сказать, оборудованы и оснащены щедро. Никакого старья, ничего списанного. Все точно такое же, как во всех остальных цехах ХТЗ. И в достаточном количестве.

Скажем, станочный участок. Так он называется, а на деле это настоящий небольшой цех, с ровным гулом моторов, высоким лением стальной стружки, стекающей из-под резца. Станков на участке не пять, не десять, а тридцать пять, в том числе импортные.

Полный курс обучения в цехе, как уже говорилось, два полугодия. По его окончании примерно семьдесят процентов школьников получают рабочий разряд, до третьего включительно. Ребята с автоучастка сдают экзамены в ГАИ и получают водительские права.

За все время пребывания в учебном цехе я ни разу не слышал из уст преподавателей ни душещипательных сентенций о пользе труда, ни благих пожеланий. Заводские люди вообще недолюбливают зрительные разглаживания. Трудовое воспитание в цехе достигается иным путем, единственно верным и эффективным: участием ребят в реальном производстве материальных ценностей. Думаю, это имел в виду В. И. Ленин, когда писал: «Нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производственным трудом молодого поколения».

Цех выпускает различные изделия свыше 100 наименований: детали и инструменты для цехов ХТЗ, оборудование для школ и т. п. Жанна Сергеевна называет впечатляющую цифру: ежегодно цех дает «всамделишную» продукции на 70 тысяч рублей. Эта сумма вполне покрывает расходы завода на его содержание. Вот и ответ на вопрос, который, предвижу, возникнет у некоторых читателей: «А на какие средства?»

Реальность производства обязательно ведет к тому, что, сменяя психологию школярскую, у ребят вырабатывается психология трудящегося человека, чувство ответственности и гордости за свою работу. Очень симпатичная девятиклассница Валя Крошнева сказала по этому поводу предельно лаконично и выразительно:

— Брак не двойка!

Потом расшифровала: двойка в конце концов дело личное. Ничего страшного. Сегодня получила, завтра исправила. Все довольны: ученики, учителя, родители. Слово двойки и в помине не было. А допустить брак в работе — значит запороть деталь, в которую раньше уже вложил свой труд твой же товарищ по классу и которую ждет на последующем этапе друг одноклассник. И еще:

— А деньги? Деталь, она денег стоит! Государственных!

Вот так-то! Если не бояться громких слов, то надо признать, что всего за месяц работы в цехе эта девяти-

тиклассница подошла самостоятельно к государственному пониманию производственного труда.

Я разговаривал достаточно долго и откровенно с тремя школьниками — учениками девятого класса (это было весной, сейчас они уже в десятом). Разговор, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы без особых комментариев быть переданным читателю.

Предварительно должен сообщить, что на каждом профильном участке цеха есть свой выбранный бригадир. Все вместе они образуют орган ученического самоуправления — совет бригадиров. Совет решает многие важные вопросы жизни цеха, в частности руководит социальстическим соревнованием бригад. Вот и еще одна воплощенная в новых условиях традиция А. С. Макаренко.

Мои собеседниками были председатель совета Игорь Круляков — бригадир радиотехнического участка, заместитель председателя Саша Зайцев — бригадир электротехнического участка, и секретарь совета Валя Крошнева — бригадир участка ОТК.

Игорь (высокий, крупный, круглолицый, очень похож на юного Пьера Безухова. Отец — инженер-автомобилист, мама — библиотечкари). Я радиолобитель с детства, усилители сам делаю, приемники. Хочу стать радионинженером, потому и выбрал радиоучасток. Мы сейчас делаем платы для станков с программным управлением, пульты для механизма автоматического зашторивания окон в аудиториях. Мне это интересно. Надо, но и интересно тоже, даже удовольствие получаю. В школе что? Ответственности, в сущности, никакой. Только разговоры, а на самом деле все по подсказке. А здесь ответственность, здесь я взрослый. Вот смотрите, что получается: мы приступаем к работе на час раньше, чем в школе уроки начинаются, а никто не просыпает, не опаздывает!

Саша (среднего роста, худощавый, верхняя губа как рубашка расстегнута, так что видны полоски матросской телешки). Отец — слесарь на «ФЭДе». Вы только не смейтесь, во я, сколько себя помню, хочу быть моряком! Нет, вы не думайте, что это детское: сегодня, мол, хочу в моряки, а завтра в пожарные. У меня серьезно. Я в морском клубе Дворца пионеров занимаюсь. Буду штурманом. Не поступлю сразу в мореходку — пойду матросом плавать, а потом все равно поступлю! Почему электротехнический выбрал? Мне это пригодится. Штурманское дело с радио связано, электроприборами разными. У меня друг есть, Гега Гринченко, он по улице идет и знаки дорожные на ходу читает, у каждой машины застревает. Автомобиль для него — всё! Он, конечно, на автоучасток записался, так его после занятий домой слалком гнать надо.

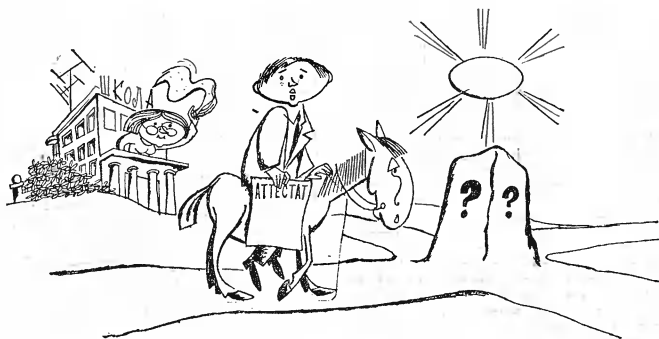
Валя (отец — слесарь на ХТЗ, брат — техник-механик). Я не знаю, буду ли в институт поступать, но если поступлю, все равно пойду на Тракторный контролер ОТК работать. Мне эта работа нравится.

Саша. Моя бабушка уборщицей была, лестницы мыла и горюла, так что быстрая в руках!

Игорь. В школе, если кто шумит на уроке, так всем «до лампочки». Его никто не одернет — не принято. А здесь того, кто мешает работать, сразу на место поставят, и никто не обижается.

Валя. Здесь так: понял — пошел дальше. И практика. Упустил что-то — сразу на работе отразится. Не только твоей, но и всей бригады. И еще — учителя в школе нам все время повторяют: ты, мол, для себя учишься. А здесь, оказывается, не только для себя, а для всех!

Это тоже уже не школярское — учиться не только для себя, а для всех!



Приведу несколько цифр. За пятнадцать лет существования учебного цеха в нем прошли политехническую подготовку свыше 16 тысяч ребят. Более 2 500 выпускников влились в трудовую семью тракторостроителей (не считая поступивших на другие предприятия города)! Некоторые уже стали знатными производственниками, признанными мастерами, новаторами. Такими, как, например, Евгений Бондаренко, бригадир слесарей главного конвейера ХТЗ, делегат XVII съезда комсомола. А выпускница Галина Афанасьевна Бриченко, закончив Харьковский политехнический институт, вернулась в ставшие родными стены. Она сейчас заучив цеха, ведет занятия в лаборатории материаловедения.

Добавлю: выпускники цеха, конечно, идут по окончании школы не только на производство. Многие поступают в вузы. В отличие от других абитуриентов они выбирают будущую профессию, особенно техническую, вполне осознанно и уверенно. Еще бы! Ведь они в значительной степени уже профессионально ориентированы! Да и учиться им в вузе легче, чем сокурсникам: сказываются приобретенные знания и трудовые навыки. Они уже знают, что только в работе можно научиться не бояться работы!

Список лауреатов премии Ленинского комсомола открывается фамилией Саши Сихарулидзе, старшего архитектора института «Гипросталь». Саша — харьковчанин в третьем поколении. Дед его устанавливал в Харькове Советскую власть, отец был архитектором, строил в городе много и успешно. Центр, за который Александру и его товарищам присуждена комсомольская премия, будет первым сооружением, возведенным в родном городе по «собственному» проекту (хотя и коллективному, но все же собственному). В архитектуре, однако, Сихарулидзе не новичок: когда начиналась работа над проектом, ему уже было тридцать и за плечами порядочный стаж работы.

Спрашиваю Александра, что для него и товарищей было самым интересным в их детстве, которое они создавали фактически на общественных началах. Отвечает, не колеблясь:

— Назначение задания!

Мне понятно, что имеется в виду. Я не педагог. Но в том и особенность этой профессии, ее отличие от всех других, что к ней причастен едва ли не каждый из нас. Не только школьные учителя (а это, кстати, самая массовая из всех «интеллигентных» профессий

в мире), но и начальники цехов, и бригадиры в колхозах, и офицеры в армии — все они являются в какой-то степени воспитателями. Более того, уже комсорг в классе, староста студенческой группы в институте, вожатый в пионерлагере выполняют вполне определенные воспитательные функции в своих коллективах. Самобытными, и в большинстве своем талантливыми педагогами зарекомендовали себя наставники рабочих и колхозной молодежи. Не случайно ставшее массовым движение наставничества оказалось столь действенным и плодотворным. Наконец, воспитателями (хорошими или плохими — другой вопрос) являются миллионы пап и мам, дедушек и бабушек, старших братьев и сестер. По-своему — в уважении к порядку — воспитывает детвору и постоянная милиционер.

Один харьковский партийный работник так сказал мне:

— Новая пятилетка названа пятилеткой высокого качества и эффективности. Это же прямо деиз для педагогов. И не на одну пятилетку. Все наши планы, все наше будущее зависят от качества их работы.

Мой собеседник был, разумеется, прав. Прав и еще в одном высказывании: современная общеобразовательная школа не может справиться с этой задачей одна.

Привычная фраза в устах любого учителя:

— Наша школа выпустила...

Само собой подразумевается, что школа выпустила, а общество принимает. Акт «выпуска» — приемки имеет точную дату — выпускной вечер. А на следующий день выясняется, что вчерашний десятиклассник не знает ни собственных склонностей и возможностей, ни различия между профессиями токаря и слесаря, ни отличия специфики занятий в медицинском институте от таковых в авиационном. Попутно выясняется также, что он не умеет работать самостоятельно, без нажима со стороны учителей и родителей.

А время упущено, и наверстывать упущенное трудно, в отдельных случаях — невозможно. Вывод один: не подменяя школы, общество должно активно включиться в воспитание школьников гораздо раньше, чем ныне. Желательно в 5—6-х классах, а уж в 8—10-х обязательно.

Разговариваю с Ярмоленко. Рассказывать Павла Андреевича не нужно; с каждым, кто хочет разобраться в проблеме, он охотно делится своими наблюдениями, мыслями, взглядами.

— Центры, подобные учебному цеху ХТЗ и строящемуся в Дзержинском районе, должны сыграть роль исключительную. Они позволят добиться того, чего в школе никак нам сделать не удастся, сколько ни бьемся. Только в этих центрах можно сконцентрировать педагогические усилия, чтобы эффективно проводить профессиональную ориентацию, политическое образование и трудовое воспитание. Разумеется, при условии овладения основами наук. Тут не должно быть никакого противопоставления.

Итак, профориентация, политическое образование и трудовое воспитание! Это три кита, на которых только и может держаться подготовка каждого нового поколения к самостоятельной общественно полезной деятельности.

Подобные центры сейчас возникают в стране повсеместно. По размаху и неопороченности это процесс почти стихийный. Особенность харьковского опыта (речь идет не о хронологическом приоритете) в том, что здесь каждый практический шаг основан на прочной теории. Создание и нормальное функционирование Центра обеспечиваются здесь поддержкой всей общественности города, руководства промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений.

Работа, проделанная группой лауреатов премии Ленинского комсомола, — проявление этой поддержки.

Впервые мысль о создании нового учебного Центра была высказана на одной из встреч комсомольского актива Дзержинского района в 1972 году. Это не случайно: на территории района расположен Харьковский государственный университет, множество научно-исследовательских и проектных институтов, крупных промышленных предприятий. Здесь испытывали огромную потребность в подготовленных кадрах и хорошо понимали, какую роль в судьбах ребят может сыграть новый учебно-производственный центр.

Партийные и советские руководители района не только одобрили эту идею, но и создали все условия для ее реализации. Провели долгие дальнейшие обсуждения и директора заводов, институтов, иных учреждений; изыскивали средства и возможности для будущего строительства. Городские власти выделили подходящий земельный участок по Новгородской улице. Особенно горячо поддержал дело коллектив авиационного завода имени Ленинского комсомола.

В Государственном научно-исследовательском и проектом институте металлургической промышленности (короче «Гипросталь») был создан комсомольский штаб, который возглавил секретарь комитета АКСМУ Петр Полещук. Главным инженером проекта стал более опытный, чем его молодые коллеги, специалист Валентин Васильевич Бубырев. (Его сорок лет, к сожалению, не вместились в тесные возрастные рамки для лауреатов премии комсомола.) Справедливость требует назвать имена и других лю-

дей, вложивших в проект свои знания и опыт. Это И. А. Алфёров, П. Н. Манзюк, Г. Н. Тризна, А. М. Гендлер... По самым скромным подсчетам, в работе участвовало на общественных началах не менее сорока энтузиастов!

Всю педагогическую сторону проекта разработал и научно обосновал уже известный читателю Павел Андреевич Ярмоленко.

С трудностями пришлось столкнуться немалым. «Гипросталь» является головным институтом в стране по разработке проектов совсем иных объектов — металлургических предприятий. Молодые специалисты, в неплановом порядке создававшие проект Центра, помимо этого, напряженно работали над такими важными заданиями, как проекты Никопольского и Ермаковского ферросплавных заводов, Донецкого металлургического завода и других крупнейших предприятий. Учебно-политический центр был для них делом совершенно новым, не по профилю. Немало пришлось поколдовать с общим архитектурным решением уже на эскизной стадии: площадка оказалась неровной, с тремя достаточно значительными перепадами высот.

Работали увлеченно, выгадывали час-два от дневного задания. Когда требовалось, привлекали видных консультантов. П. А. Ярмоленко подсчитал, что по разным вопросам его консультировали сотрудники 53 учреждений и предприятий. Причем делали это охотно и, как говорится, на совесть.

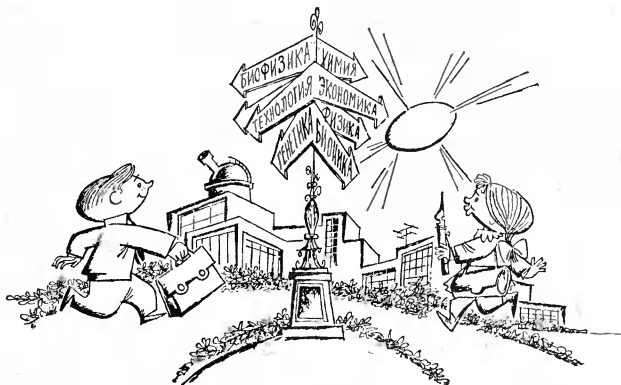
Валентин Васильевич Бубырев рассказывал:

— К черной металлургии все это, конечно, никакого отношения не имело. Но потом захватило. И знаете, что помогло? Беседы с собственной дочерью. Ей 16 лет. Поговорил раз-другой и поразился — настолько смутно она представляла свое будущее. Да и не она одна. Диву даешься. Казалось бы, век информации: телевидение, журналы, газеты в каждом доме. Знают обо всем, хоть отбавляй — от космоса до фигурного катания. А простых вещей — что такое труд, работа, профессия — не знают! Мы их за десять лет этому не научили, а они соответственно не научились.

Профессиональное ориентирование, за исключением разве работы с музыкально одаренными детьми, если честно признать, отсутствует. Когда мы начали работать, стали искать прецеденты. Убедились, что проектов подобных центров не существует в природе. Ярмоленко, как педагог, создал интереснейший проект. Начали конкретизировать, привлекали других специалистов. Вот, скажем, лаборатория биологии. Ее консультировал профессор Валерий Гавич Шахбазов с биофака Харьковского университета. Так он сам признал, что заложил ее на пятнадцать лет вперед! Такой лаборатории в университете пока нет, а у нас будет.

Институты монокристаллов, физико-технический, низких температур — кто только нам не помогал. Даже Военную академию имени маршала Говорова пригласили к проектированию стрелкового тира для





ребят. ГАИ и автобазы помогли разработать автодром и действующие тренажеры.

Мебель тоже будет уникальная, специально сконструированная для разных кабинетов и лабораторий. Не забыли и эстетическую сторону, связались со специалистами из художественно-промышленного института. В Центре будет и павно на темы труда и витражи.

Спрашиваю, что, по мнению Бубырева, было главным в коллективном характере авторов проекта. Валентин Васильевич отвечает мгновенно:

— Энтузиазм плюс профессиональная принципиальность. Иначе мы бы никогда не смогли ухватить вместе архитектурное решение с технологией и педагогикой.

От себя добавлю: без этих двух качеств не удалось бы преодолеть и множества препон. Но это уже, как говорится, дело прошлое.

Теперь остается только описать будущий Центр. Это трудно, потому что его все-таки еще нет. Облегчает мою задачу то, что читатель уже знает, как поставлено дело на ХТЗ.

Главные принципы остаются теми же. Это профессиональная ориентация, политехническое обучение и трудовое воспитание. Последнее, подчеркну, основано непременно на единстве учебного процесса и производственного труда.

Сохранится и организационная структура. Каждое утро Центр примет на целый (то есть шестичасовой) рабочий день шестьсот школьников. В неделю, следовательно, три тысячи шестьсот. Это вдвое больше, чем на ХТЗ. Стеклопанные двери сохраняются — это уже традиция.

Профессиональное ориентирование будут осуществлять не только преподаватели, но и психологи и медики, причем с помощью совершенных технических средств, включая установку промышленного телевидения. Телевидение, равно как и кино, найдет самое широкое применение и в учебном процессе. Все в Центре, по словам П. А. Ярымленко, направлено к достижению главной цели — всемерному развитию жизнедеятельности ребят.

Гораздо большая роль, чем в цехе ХТЗ, предназначена в новом Центре предметным кабинетам и лабораториям. Занятия в них должны подкреплять и

развивать соответствующие школьные курсы физики, химии, биологии, математики.

В Центре будут три основных подразделения:

Естественнонаучное. Это кабинет-лаборатория физики, лаборатории химии, химической технологии, микробиологии и цитологии, бионки и биофизики, генетики и селекции, кабинет математики и вычислительной техники.

Общетехническое подразделение включает в себя лаборатории общего материаловедения, машиноведения, общей электротехники, технических измерений, технической документации (чтение и изготовление чертежей), экономики и организации производства (1), кинопроекторный зал и отлично оснащенный политехнический музей.

Технологическое подразделение составляют участки станочный, различных слесарных специальностей, обработки пластмасс, столярно-модельный, электротехнический, радиоэлектроники, автоматки, кулинарии, швейного дела, машинописи и стенографии, автодела.

Центр будет располагать кинофотолабораторией, гаражом, кабинетом военного дела, тиром, залом профориентирования и пунктом профконсультирования, автодромом, оранжерей и опытным участком в ботаническом саду университета.

Разумеется, в проекте нашлось место и для столовой, и для сада, и для площадок отдыха.

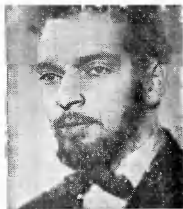
На базе Центра во внеадресное время будет функционировать научно-технический клуб молодежи. Добавлю, что Центр намерен поддерживать тесные связи со своими соседями: спортивным комплексом «Наука», музыкальной школой, хореографическим училищем, станцией юных техников, бюро путешествий и экскурсий. Это поможет всестороннему развитию ребят, расширит круг их интересов.

Быть может, не у каждого хватило терпения до конца прочитать этот длинный перечень «что будет». Но я его все-таки привел, чтобы пробудить в читателях чувство благородной зависти к харьковским школьникам. Оно, это чувство, тоже может стать стимулятором распространения харьковского эксперимента, превращения его в повседневную практику советской общеобразовательной школы.

Кадыр Мурзалиев



Леонид Замiatин



Киики¹

В пустыне не шумят на ветерке
Чинары, не бежит волна в реке,
Но если где-то есть тут птицы,
То это киики в Сары-Арке.

Пустынный ветерок летит, пыля,
Разглаживая волны ковыля,
Взмывают кверху киики, как птицы,
Как будто им наскучила земля.

А горизонт в пустыне, как морской.
Резвись, козленок: степь перед тобой.
Не так ли над волной взлетают рыбки,
Сверкая серебристой чешуей!!

Блести у глаз, подзорная труба,
Веди меня, поэзии тропа
Степная... Киики, летите степью,
Простор и воля — лучшая судьба!

Охота

Лиса, хитроумная тварь,
Готовая перехитрить
Смерть, в школьный забраться букварь,
В кустах свой огонь притушить.

Скользнуть за крутой перевал —
Но выдохлась, ей не уйти
До роши, где след бы пропал.
Ах, роша, спасенье, прости!

Судьба не упустит лису,
Она отразилась на миг
У беркута в остром глазу.
Заметил ее он, настиг.

Попробовала увильнуть,
Чтоб шмякнулся он, как бутыль.
Но вытекли глазки, как ртуть,
На землю две бусинки — в пыль.

Затихла злодейка, слепа.
Ей беркут на шею залез.
Как хитрость земная лаба
Пред карой, упавшей с небес!

Перевел с казахского
А. КУШНЕР.

¹ Дикие козлы (казахск.).



«Все порастет травой,—
Бубнишь ты,— все не вечно».
Но радость на душе
Не в силах объяснить.
Живут на мостовой
Смешные человечки,
Которых ты уже
Не сможешь сочинить.
Но вечен этот день —
Скрипучих чаек крики,
И лайнер в вышине,
Подобный кораблю.
И лодки на воде,
И солнечные блики,
И надпись на стене:
«Аркаша, я люблю!»

Первый снег

Налетели хлопья, заметались,
Словно перепуганные птицы.
Женщина танцует странный танец —
Женщина боится оступиться.
Оставляя темные полосы,
Катят осторожные машины.
У закрытых наглухо киосков
Курят молчаливые мужчины.
Что же приключилось в самом деле!
Отчего же мысли в беспорядке!
И всего-то — крыши побелели...
И всего-то — выпали осадки...



Забудь обо всем,
Если друг твой в беде.
Взгляни,
Как таранят скалу водопады.
Вода прорубает дорогу к воде,
И горы —
Воде не преграда.

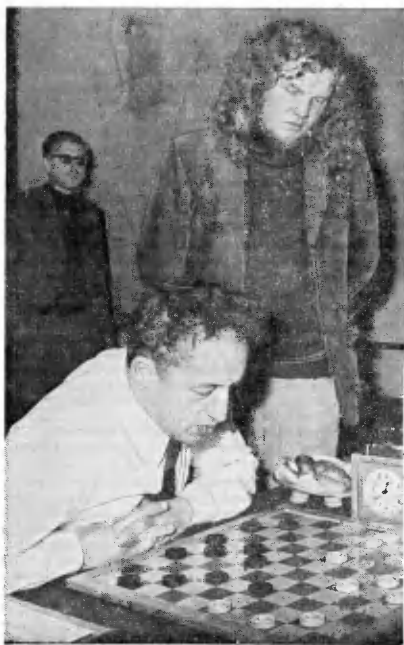


До сих пор качают рюкзаки,
До сих пор дорога дорога,
Собираю горы, ледники,
Лунные безмолвные снега,
Жизни антарктическую тишь,
Бетра бесприютного скулеж.
Мама, отчего же ты молчишь!
Я вернулся, ты не узнаешь!



И. КУПЕРМАН

МЕРА СОМНЕНИЙ



В 1723 году некий поляк (его имени история не сохранила), проживавший в Париже и славившийся умением играть в шашки, придумал яркую комбинацию, но обычная 64-клеточная доска не позволяла ее провести — шашка выпрыгивала за доску! И тогда поляк увеличил доску — так возникли столклеточные шашки.

Первым чемпионом мира по столклеточным шашкам был провозглашен француз Вейс, которого современники называли «Наполеоном шашечной доски». Это произошло в 1894 году. Лишь спустя восемнадцать лет Вейс уступил шашечную корону голландцу Гоогланду. И в дальнейшем званием чемпиона мира попеременно завладевали то французы, то голландцы. Но с пятидесятих годов французы отходят на второй план. А в пятьдесят шестом шашечная корона переходит к канадцу Делорье.

Как раз в тот год мы вступили в Международную шашечную федерацию и включились в борьбу за мировое первенство. И, надо сказать, у нас это получилось неплохо — в 1958 году, победив Делорье, я был провозглашен десятым чемпионом мира. Потом дважды я уступал на один год это звание Вячеславу Щеголеву и вновь возвращал его. Во второй половине шестидесятых годов началось блистательное восхождение рижанина Андриса Андрейко. И он в конце концов победил меня и завладел шашечной короной.

Памяти Андриса, который минувшей весной трагически погиб (его подлый убийца осужден на пятнадцать лет), я и посвящаю эту публикацию.

Андрис Андрейко — это целая эпоха в истории шашек. Когда Андрису было шестнадцать, я, помню, сказал его учителю, известному латвийскому мастеру Вадису Звирбулису: «Везет вашему мальчику. Он делает ходы на авось, а все оборачивается в его пользу». «Везет? Нет», — возразил Звирбулис. — Он не играет на авось, он все рассчитывает и видит! Он даже иногда пугает меня тем, как много видит. Мне непонятно, как это возможно».

Его считали баловнем судьбы, называли «Счастличик Андрис». На самом же деле у него было очень трудное детство (достаточно сказать, что Андрис родился в сорок втором году в фашистском лагере, где была заключена его мать). Другое дело, что он был чрезмерно одарен от природы и все давалось ему очень легко.

Когда Андрис играл, зал обычно был переполнен. Многие шли специально «на Андрейко» — насладиться его искрометными комбинациями, тонким анализом, да и просто понаблюдать за ним. Нервный, импульсивный, он был склонен к эксцентричным поступкам. Мягкость характера, как это ни странно, сочетал с неуемной жадой победы.

Андрейко смело шел на позиции, которые казались обреченными, и выигрывал. Он находил в игре такие возможности, о которых мы даже не подозревали. А считал варианты он быстрее, чем кто-либо. И без всякого напряжения. Поэтому не знал цейтнотов. В блитцах его вообще нельзя было победить, хотя он давал фору в несколько минут даже гроссмейстерам.

И, наконец, Андрис был непревзойденным психологом. Таким психологом в шахматах был Ласкер. Другого сравнения не нахожу. Андрис умел подбирать ключи к каждому.

В майском номере «Юности» за 1970 год мастер Шаус очень хорошо рассказал, как Андрейко стал

За шашечной доской — автор нашей публикации Исер Куперман. Около него стоит Тони Сейбранце. Вдали — Андрис Андрейко.

сильнейшим шашкистом мира. История нашего единорства заканчивалась описанием матча-реванша, в котором я попытался вернуть свое чемпионское звание, но Андрейко не позволил мне сделать этого. Тот матч состоялся в конце 1969 года.

И вот теперь я позволю себе продолжить рассказ о борьбе за шашечную корону в последующие годы, когда Андрис Андрейко и другие наши гроссмейстеры столкнулись в этой борьбе с талантливыми голландцами Тони Сейбрандсом и Хармом Вирсмой.

Тони Сейбрандс рано стал шашечным профессионалом, хотя зарабатывать много денег он никогда не стремился. Сейчас, правда, он немного успокоился, перестал водиться со всякими там хиппи, начал по-приличнее одеваться. Но еще не так давно он мог заявить, например, что играет в шашки лучше самого господина бога! В такой добродушной буржуазной стране, как Голландия,— это рискованное заявление. А мы, например, победив в турнире, отказывались участвовать в заключительном банкете, сказав, что миллионы людей на земле голодают, а ему придется вкушать на этом банкете различные яства... Да, Тони таков...

Но целиком — вопреки воле семьи — отдавшись шашкам, он совершил подлинный переворот в теории нашей игры. Он написал несколько блестящих аналитических книг — исследовал ряд начал на большую глубину и протяженность. Сейбрандс очень рационален в игре. В шахматах таковы Фишер и Карпов. Тони довел до совершенства постепенное накопление преимуществ. А если уж он овладеет центром доски, захватит инициативу, то не отдаст ее. У него феноменальная память. Я был потрясен однажды, когда он стал показывать мои давние партии, которые я просто уже не помнил.

Любопытно, что Харм Вирсма, которому сейчас двадцать три — он на пять лет моложе Сейбрандса, — далеко не столь рационален как игрок, но в жизни более практичен, далек от экстравагантности. Харм из бедной семьи и уже в двенадцать лет, оставив школу, стал профессиональным шашкистом, пытаясь помочь семье, большому отцу. В погоне за заработком юный феномен побил мировой рекорд по игре вслепую (это вредит здоровью, а оно у Харма и так не идеальное), потом превзошел всех в обычном сеансе одновременной игры. И по сей день Харм хватается за различные прожекты, пытается разбогатеть.

Шашечный темперамент Харма неискраем. Он не менее талантлив, чем Сейбрандс. По стилю игры его можно сравнить с Андрейко. Он тоже стремится к осложнению, пусть даже они некорректны. А обращаясь к шахматам, его можно сравнить с молодым Талем, но тут важно отметить, что Вирсма менее пробиваем, все его авантюры все же имеют какое-то обоснование.

Главные герои предстоящих событий представляю, и я могу наконец начать свой рассказ.

В июне 1970 года в Монако проводился турнир претендентов. Я был приглашен персонально участвовать в этом турнире. Это была моя последняя привилегия. Если бы я не смог победить, то дальнейшего участия в борьбе за мировое первенство пришлось бы добиваться в чемпионатных странах.

А первое место занять было очень трудно. Претендентом номер один считался Сейбрандс. В декабре 1969 года он снова блестяще выиграл личный чемпионат Европы. Немало сюрпризов мог преподнести и наш Аватогий Гантварг, который в ту пору быстро прогрессировал. Стиль своей игры он определял под влиянием партии Сейбрандса.

Перебирая возможные кандидатуры тренеров, которые помогли бы мне преодолеть цейтнотную ситуацию — до начала турнира оставалось всего шесть месяцев, — я пришел к неожиданному выводу, что мне может помочь мой недавний противник — Андрейко Андрейко. Готовясь к матчу со мной, он, безусловно, вскрыл немало слабостей в моей игре.

Я обратился в Ригу за помощью и на следующий день получил согласие. Началась тщательная подготовка к турниру претендентов. Нас было трое — Андрейко, мой постоянный тренер Барский и я. Основное внимание мы фиксировали на двух проблемах: «Куперман» и «середняки».

Мы условно разделили всех участников на три категории. Первая — сильные. Они между собой, считали мы, сыграют в основном ничью. У слабых участников надо было без промаха выигрывать. А вот средние по силе участники, или «середняки», как мы их называли... Это главная проблема. Кто лучше с ними сыграет, тот и займет первое место. Андрейко занялся мною, а Барский готовил материал и подбирал ключи к «середнякам».

Мы летели в Монако через Париж. Быть в Париже и не посмотреть этот город?! Лиха беда — начало. Не успели мы оглянуться, как весь наш пятидневный лимит на акклиматизацию ушел на знакомство с городом, который в свое время мечтал покорить баллазавский Растиньяк.

Из Парижа в Ниццу мы вылетели на американском «Дугласе» вечером. Первый тур должен был состояться на следующее утро. Мы решили, что поспим в самолете, но спать не пришлось. Самолет наш попал в страшную грозу. Стюардесса попросила пассажиров застегнуть ремни...

Мне уже было не до турнира претендентов. Считая, что гибель неминуема, я закрыл глаза, вызывая в зрительной памяти образы близких людей.

От грустных мыслей меня неожиданно отвел Андрейко.

— Знаете, — сказал Андрис, — я в уме пришел к выводу, что ход Шпрингера во французской партии не опровергается. Его все-таки можно применять.

Я достал из кармана портативные магнитные шашки, и за разбором варианта мы даже не заметили, как спаслись и благополучно приземелились в аэропорту Ниццы.

Ночное приключение все же не прошло бесследно. Мы почти не спали. Вместо катастрофы в воздухе меня ждала катастрофа в первом туре. Я играл с представителем Бельгии Слаби. Некоторые участники шутили, что Слаби играет слабо. Но мне было не до шуток. Я не смог у него выиграть. Эта ничья была равносильна поражению.

Я был страшно удручен. Мне казалось, что можно уже упаковывать вещи и лететь Домой. Ведь в этом турнире имело значение только первое место. Сейбрандс и Гантварг, думал я, наверняка выиграют у бельгийца, а фору даже в пол-очка на короткой дистанции я дать не могу.

Все произошло иначе. Сейбрандс сыграл ничью с итальянцем Солетником, а Гантварг потерпел поражение от меня. И началась гонка.

Сейбрандс очень нервничал. После блистательных побед во многих международных соревнованиях Тони считал, что победа в турнире претендентов у него в кармане. Однако не все шло так гладко, как ему хотелось. Сейбрандс никак не мог от меня оторваться, а равные очковые результаты давали мне предпочтение как выигравшему у более сильных участников.

Тони начал высказывать свое недовольство окружающим. Со мною он перестал здороваться. Со сво-

Один из последних снимков Андриса Андрейко.



ям тренером и секундантом Графландом — очень милым, на мой взгляд, человеком — поссорился и провал.

Сейбрандс требовал удавить из зала публичку и всех тренеров, так как они действовали ему на нервы. Когда в этом ему не пошли навстречу, он потребовал сменить помещение для игры, так как скрип паркета мешал ему сосредоточиться. Помещение не помещало, но в турнирном зале постелали пушистые ковры. Шагая вокруг своего столика, Сейбрандс запутался в ворсе одного из ковров и чуть не упал. Он потребовал заменить ковры...

А турнир шел своим чередом.

Не оправдывал надежд и Гантварг. Провигрыш мне решающей партии и чрезмерная любовь к футболу лишили его шансов на первое место. Еще в детстве перед Гантваргом стоял выбор — футбол или шашки. Seriously увлекаться тем и другим не хватало времени. Он избрал шашки. Но на его беду во время нашего турнира в соседнем зале установили большой телевизор, чтобы можно было увидеть матчи чемпионата мира по футболу из Мексики. Так вот, Гантварг быстро дела свой ход и, пока противник обдумывал ответ, выбегал в соседний зал посмотреть телевизор. Когда противник делал ход, зрители извещали об этом Гантварга, и он мчался на секунду в турнирный зал, чтобы сделать очередной ход. Такие «войски», естественно, безнаказанно не проходили. Гантварг терял драгоценные очки.

Перед последним туром у Сейбрандса и у меня было одинаковое количество очков. Но у меня был лучший коэффициент и более слабый противник в последнем туре — француз Изар. Сейбрандсу предстояло сражаться против Гантварга. Футбольный чемпионат к этому времени уже завершился, и Гантварг имел возможность целиком сосредоточиться на игре в шашки.

В партии против Изара мне удалось получить большое преимущество. К тому же у француза было всего 40 секунд на 16 ходов. Заметив это, Сейбрандс немедленно предложил Гантваргу ничью. При сложившейся турнирной ситуации я не стал испытывать судьбу и стремиться к чистому первому месту. Пол-

очка меня тоже вполне устраивали. Я предложил Изару ничью, немедленно получил согласие — и был объявлен победителем турнира.

Я получил право сыграть матч с чемпионом мира Андрейко.

Летом 1971 года я принял участие в международном турнире «Шолтен Гоник» в Хогезанде. Начало было удачное — пять побед.

Я, помню, шел по Хогезанду в таком радужном настроении, что, переходя улицы, даже не смотрел по сторонам...

Когда я открыл глаза, возле меня уже хлопотал врач. Я понял, что пролежал немало времени без сознания. «Скорая помощь» поставила диагноз: сотрясение мозга, многочисленные гематомы и еще какие-то повреждения.

Государственный тренер по шашкам Л. А. Чубаров, когда ему сообщили, что я попал под паровой коток, был потрясен.

— Как мог такой быстрый человек, как Кудерман, попасть под такой медленно движущийся механизм, как коток, — недоверчиво говорил он, — вы меня разыгрываете.

Лев Алексеевич долго не верил в детали этого столкновения, пока сам однажды не наткнулся на стола, получив легкое сотрясение мозга. После этого он поверил. Ведь коток медленно, но все же движется, а стола...

Моя жена, врач, узнав о случившемся, естественно, очень разволновалась. Она ежедневно звонила по несколько раз, просила, чтобы я лежал недвижимо и чтобы ко мне не пускали посторонних. Но голландские газеты рассказали о случившемся на первых полосах. С окрестных городов стали съезжаться любопытные, чтобы взглянуть на меня и выразить свое сочувствие.

Закончить турнир я, конечно, не мог. Но это уже значения не имело. Ко мне пропускали в день до ста человек. Фирма, финансирувшая турнир, имела дополнительную рекламу. Когда турнир наконец завершился, меня на носилках внесли в самолет. Проредения имела очень внушительный вид. Меня несли все ведущие гроссмейстеры мира: Андрис Андрейко,

Топп Сейбрандс, Харм Вирсма, Михаил Корхов. По дороге нас непрерывно фотографировали.

В московском аэропорту Шереметьево меня переписали крупнейшие советские шашкисты, но уже без такой широкоплакатной рекламы. Наконец-то меня доставили в Киев...

Прошло четыре месяца.

Шашечная жизнь продолжалась. Все ждал моего матча с Андрейко на звание чемпиона мира. А врачи не хотели и слушать об этом. Мне было запрещено до конца года даже думать о шашках. В конце концов начало матча было отложено, и он открылся в Таллине лишь 20 января 1972 года.

Андрейко сохранял звание чемпиона мира даже при условии, что матч закончится мирным исходом. Меня устраивала только победа, но мне никак не удавалось выиграть хотя бы одну партию. Наши оппоненты, шахматисты, возобновили разговоры о «ничейной смерти» в шашках. Они забыли, что и в шахматах при борьбе равных на высшем уровне тоже бывает много ничьих. А шашечный обывательский еженедельник «64» Шеголев, больше других возмущавшийся обилием ничьих в нашем матче, забыл, что он сам в матч-реванше со мною еще в 1961 году сделал 18 ничьих и лишь в двух партиях был результат. Шеголев их проиграл.

Я очень хотел выиграть матч, но у меня был сильный и опасный противник. В ряде партий я шел на риск, но, увы, лишь попадал в трудные положения и еле спасался. Андрейко также неоднократно рисковал — престижа ради он хотел победить с убедительным счетом, однако тут уж я не терпелся и дважды был на грани выигрыша...

Между зрителями, журналистами, тренерами завязалась своя борьба. Они заключали пари на тему: какая партия даст первый результат. Не могут же все партии закончиться ничью? Но все в жизни бывает. Впервые в матче на первенство мира было сделано 20 ничьих.

Через два месяца после окончания нашего матча в небольшом голландском городке Хенгело начинался олимпийский турнир на первенство мира. (В обычные годы звание чемпиона мира шашкисты разыгрывают в матчах, а в высшие — в олимпийском турнире.) Кстати, это откосы и предопределило ничейный исход матча. Мы ведь играли с оглядкой на олимпийский турнир и невольно прибегали к некоторым вариантам и силам для этого, еще более ответственного соревнования. Более ответственного из-за реальной опасности, что титул чемпиона мира уйдет из нашей страны.

К тому времени Топп Сейбрандс и Харм Вирсма очень выросли и везде занимали соответственно первое и второе места. То, что они между собой дружили и сотрудничали, мниможало их силы. К тому же они играли у себя на родине. За них болели не только зрители, но и ряд участников...

Основная борьба в турнире разгорелась между Сейбрандсом, Вирсмой и Андрейко. Но вот Вирсма не смог выиграть у итальянца Фанелли, и эта неудача деморализовала его. Андрейко потерял шансы на победу после ничьей с Вирсмой. Андис возлагал большие надежды на эту встречу и заготовил против голландца «атомный», как он говорил, вариант. Выигреш у Вирсмы дал бы ему возможность занять или разделить первое место. Однако «секрет» не сработал. Андрейко вынужден был в пожарном порядке применить другой вариант и не смог победить Вирсму.

Первое место и звание чемпиона мира завоевал Топп Сейбрандс. Он выиграл в турнире 10 партий. Отличный результат!

Четырнадцать лет мы владели шашечной короной и теперь потеряли ее. Надолго ли? Голландские газеты уверенно сообщали точный срок — на 25 лет. Сейбрандс заявил, что он «играет лучше самого бога», и «пусть русские не падают...», если со мной что-то случится, то есть еще занявший второе место Харм Вирсма, а также юные таланты: Клерк, Дрост, Гофсте и другие». В его выступлении была печальная доля истины. Я убедился в этом, обследовав ряд городов Голландии, знакомясь с подрастающими шашечными талантами.

Чтобы вернуть титул чемпиона мира, надо было стимулировать наших ведущих шашкистов к новому творческому порыву и позаботиться о выявлении и воспитании молодого пополнения.

Серьезность ситуации была осознана. И самое главное — в календаре спортивных соревнований появилось много турниров для юных: «Чудо-шашки», «Большие шашки», «Турнир восьми», турнир Дворцов пионеров и другие. В этих соревнованиях, охвативших всю страну, выдвинулись такие талантливые юности, как Николай Мищанский, Михаил Корневский, Борис Шварцман. А в Мищанском, например, я вижу шашечного Карпова — столь же блестящее понимание позиции, такая же непробиваемость. Думаю, что уже недалеко тот день, когда наши юные шашкисты заявят о себе в полный голос.

Сразу же после окончания олимпийского турнира Андрейко начал готовиться к матч-реваншу с Сейбрандсом. А я, стремясь помочь Андису, согласился быть его секундантом.

Накануне нашего вылета в Нидерланды Андрейко случайно встретился с возвратившимся из Минска мастером Кириловым, который показал ему новейший вариант, сыгранный в партии Кирилов — Корневский. Вариант этот осел в памяти Андрейко. Кто мог предполагать, что именно этот вариант сыграет роковую роль в матче?

Матч проводился в Схевенингене — курортном месте на берегу Северного моря, вблизи Гааги. Игра проходила во вновь выстроенном дворце конгрессов. Жил мы недалеко — в отеле «Бел Эйр».

Накануне матча я получил от голландцев предложение освещать соревнование на страницах органа деловых кругов — газеты «Гандельсблат». Если освещать в газете только партии матча, решил я, это может быть интересно лишь любителям, спортсменам. Я сопровождал свои анализы короткими рассказами из жизни наших спортсменов, историческими экскурсами, описанием различных любопытных случаев.

Матч начался 10 мая 1973 года. Интерес к нему был огромный. Зал постоянно был переполнен.

За полчаса до начала партии мы с Андрейко встретились и вместе шли на игру. В день первого тура, когда мы уже выходили из отеля, Андис вдруг спохватился, что забыл в номере свой пропуск.

Я сказал, что хотя мы люди не суеверные, но возвращаться ему не следует — лучше я схожу. Андис возражал, говоря, что я старше его. Тогда я предложил вообще не возвращаться за пропуском. Андису эта идея понравилась: не мог же билетер действительно его задержать? Но билетер сказал Андису, что он уже «третий Андрейко», который пытается пройти без билета. А меня билетер узнал, и, видя, что Андис начинает уже закипать, я сказал, что этот молодой человек со мной.

— Это — другое дело, — сказал билетер. — Пожалуйста. Повею вам, юноша. На вас обратили внимание. Еще научитесь хорошо играть. Проходите и скорее, пока я не передумаю.

Это небольшое приключение рассмешило нас. На-

пряжение перед партией было свято. Андريس играл ее хорошо. Он захватил инициативу и имел неплохие шансы на победу. Но Сейбрандус все же уда-лось спастись.

Андрис к партии готовился сам. Давать ему совет-бы было бесполезно. Он мог высказать свое мнение, согласиться с ним, а прийдя на игру, избрать совершенно другой вариант. Во второй партии, едва были пущены часы, Андрейко вдруг вспомнил свой разгово-р с Кирillowым в Москве и с ходу, без проверки, решил попробовать этот вариант. Когда он понял, что вариант некорректен, было уже поздно. Андрис оста-лся без шашки. Даже упорная шестичасовая за-щита уже не могла спасти его.

После второй партии Сейбрандус намертво замкнул-ся. Он избирал упрощенные схемы, соглашался на ничью даже в лучших позициях. Цель у него была ясная — дотануть на ничью до финиша и набрать за-ветные 10 очков. Все попытки Андриса обострить иг-ру не приносили успеха.

В один из воскресных дней я много работал и за-был вовремя поесть. Когда же спохватился, буфет в отеле был уже закрыт. Я вышел в город и стал иск-кать подходящее заведение. Лишь после долгих по-исков я увидел на одной из улиц открытую дверь, у которой стоял швейцар.

— У вас открыто? — спросил я.

— Как видите. Вы один?

— Как видите, — ответил я и вошел в холл ресто-рана.

Я разделся, толкнул дверь одной из кабинок, усе-лся за столик и стал ждать официанта. Ждать при-шло долго. Потеряв терпение, я нажал кнопку. По-явилась женщина в халате. Она поздоровалась и ос-ведомилась, чего я хочу.

— Как чего я хочу? Естественно, поесть, — отве-тил я.

— Вы один? — спросила меня женщина.

— Вы же видите, — ответил я.

— Вы никого не ждете? — опять спросила она.

— Что за вопросы, — начал я раздражаться, — я один, я никого не жду, я пришел поесть, и чем ско-рее вы меня накормите, тем лучше. Привнесите, по-жалуйста, меню.

Удивленно на меня взглянув, женщина ушла, а я подумал: ну и заведениящие, какие-то вопросы, взгля-ды — надо поскорее поесть и уходить.

Через некоторое время женщина вернулась и при-несла мне карточку. Чтобы не затягивать с перево-дом (мне было напечатано по-голландски), я по-просил принести мне четыре блюда, напечатанные в карточке первыми.

— Какая разница в конце концов, что есть, — объ-яснил я официантке по-немецки, — лишь бы есть. Мне не терпится попробовать вашу еду.

Она окинула меня каким-то странным взглядом, пожала плечами и удалилась. Вопросов она больше не задавала. Минут через десять женщина верну-лась и принесла на небольшом подносеке четыре ма-леньких тарелочки. В одной, по-моему, было молоко.

— А ложку, вилку, нож? — спросил я.

Она принесла прибор и, скрестив руки, с любо-пытством стала наблюдать, как я ем. Еда была страшно невкусная, пресная, сплошь молочная. Я с трудом все проглотил, рассчитался и вышел в холл, чтобы одеться.

Повезло же мне, подумал я, попал в какое-то скверное диетическое заведение. Бедные вегетариан-цы. Какую пакость они едят. Вдруг боковая дверь в холл открылась, и я застыл от изумления. За столом сидела женщина и кормила сидевших по бокам от нее двух кошечек. Я пообедал в кошачьем ресто-ране!

А матч продолжался. Андрейко никак не мог вы-играть. Сейбрандус продолжал копить очки из поло-винок. В семнадцатой партии Андрейко перешел грань допустимого риска, попался на несложную комбинацию и проиграл. Судьба матча была решена.

Сейбрандус сохранил звание чемпиона мира.

Мы летели домой удрученные. Мне лично оста-лось утешаться лишь победой... в конкурсе на луч-шее освещение матча. Я получил первый приз — золотую медаль с алмазными подвесками.

В ноябре 1974 года в Тбилиси открылся турнир претендентов.

«У голландцев впервые за 15 лет появилась воз-можность сделать борьбу за мировое первенство сво-им внутренним делом. Гроссмейстер Вирсма в блестящей форме. Его талант и длительная подготовка скажутся. Спорттивную честь России защищают три гроссмейстера, но их шансы меньше. Куперман стар, Гантварг не в форме, а Андрейко недавно про-играл матч Сейбрандусу», — так писала одна влия-тельная западная газета.

Ввиду короткой дистанции и неровного состава турнира было ясно, что первое место возьмет тот из четырех фаворитов, кто успешнее сыграет с главными соперниками.

Вирсма, играя с Гантваргом, применил в известном начале, которое было проверено десятилетиями, но-вый ошеломляющий вариант, получил преимущество, провел красивую комбинацию и проник в дамки. Но выигрыша его отделяло несколько точных ходов. Но голландец, по-видимому, страшно разволновался и упустил элементарный выигрыш.



А это новый чемпион мира Хирм Вирсма.

Гантварг получил большие шансы на выигрыш против меня. Моя позиция усложнялась еще и центномат. При высоком классе соперников их игра — это творчество. А творчество без сомнений невозможно. Но шашечная турнирная партия — это и спорт. А в спорте сомнения предвещают. Поэтому каждый шашник должен помнить о золотой середине — знать меру сомнениям. После партии с Гантваргом я задумался: неужели с возрастом я начинаю терять эту меру? Не хотелось бы верить, что это так. А играя с Гантваргом, я действительно висел на волоске. Мой соперник, однако, не увидел сильнейшего продолжения, и мне удалось уравнять шансы.

Из-за болезни Андрейко — он делал такую ставку на этот турнир, но, кажется, все складывалось против него — его пропущенная партия с Вирсмой состоялась только перед последним туром и завершилась ничью. Исход турнира теперь во многом зависел от моей заключительной встречи с Андрейко.

Я получил преимущество и в один из моментов надолго задумался: проводить или не проводить решающую комбинацию? Я никак не могу оценить — выигран ли для меня возникающий эндшпиль. Уже на повисающем флажке я наконец решился на комбинацию, но в центноте так волевалась, что упустил было выигрыш. А Андрейко, продолжая блитцевать и надеяться, что я просрочу время, упустил, в свою очередь, шансы на ничью. Но я успел сделать пятидесять контрольный ход, и выяснилось, что моя позиция выиграна.

Я стал победителем турнира претендентов и получил право играть матч с Сейбрандсом. Замечу, кстати, что к тому времени я оставался единственным в мире гроссмейстером, у которого Сейбрандсу не удалось выиграть ни одной партии.

Обычно матчи на первенство мира проводятся в конце года: в ноябре — декабре. К этому сроку я и подогнал пик своей формы, хотя и не был уверен, что на этот раз сроки будут соблюдены. Больше того, Сейбрандс, казалось, был склонен последовать примеру Фишера, то есть отказаться защищать чемпионское звание.

От личного контакта со мной он уклонялся. Ни в какие переговоры о предстоящем матче вступать не хотел. Руководители нидерландской шашечной федерации ничего конструктивного предложить не смогли. Наконец я получил письмо от Всемирной шашечной федерации, новыми руководителями которой тоже стали голландцы, с просьбой согласиться перенести матч на март 1976 года. Эти сроки смущали меня — уже в августе предстоял очередной олимпийский турнир. Два первенства мира за четыре месяца, да в моем-то возрасте! И все же я пошел на уступку, выдвинув в ответной телеграмме единственное условие — соглашение о матче должно быть подписано не позднее 20 октября. Но из этого ничего не вышло — Сейбрандс вновь отказался играть.

И в декабре прошлого года мне в шестой раз было присвоено звание чемпиона мира.

Но почему все-таки Тони отказался защищать свое звание? Боялся проиграть? На это скажу лишь, что трусом я его раньше не знал. Как-то в Амстердаме он пригласил нас с Андрейко к себе в гости. Стены его дома были увешаны фотографиями знаменитых гроссмейстеров, на письменном столе мы увидели диаграммы различных позиций, а в библиотеке — уникальные шашечные книги. Даже обои на стенах и ковры на полу были в клетку. Тони говорил, что без шахек он не мыслит свою жизнь.

А совсем недавно, будучи в Польше, Сейбрандс заявил, что через два года вернется к активной игре и вновь включится в борьбу за мировое первенство. Гибель Андриаса Андрейко он принял близко к серд-

цу и собирает сейчас материалы для книги о нем. И на вопрос: почему же все-таки Сейбрандс уклонился от матча со мной — я вижу теперь такой ответ. На мой взгляд, дело тут в каком-то заблуждении или пагубном увлечении, несомненностью которого с игрой на высшем уровне Тони осознает и от которого он стремится в ближайшее время избавиться. Словом, история Сейбрандса и походит на историю Фишера и совсем не походит...

В конце этого лета в Амстердаме начался наш олимпийский турнир, который должен был называться именем нового чемпиона мира.

Прежде чем были пущены часы, все участники почтили минутной молчанием память Андриаса Андрейко. Я люблю играть матчи, а стихией Андриаса были турниры. Он собирался участвовать и в этом турнире, и я убежден, что именно он был бы главным претендентом на победу. Но Андриаса заменил Гантварг, который и поехал в Амстердам вместе со Щеголевым и мной.

Наиболее удачно из нас играл Вячеслав Щеголев, но и он не смог противостоять Харму Вирсме. Я же, протрудившись на старте, вместо того чтобы пропустить хотя бы один тур, сел с температурой 38,5 играть с Щеголевым (когда был помоложе, я себя так перазумно не вел...). Это поражение оказалось для меня роковым. Все более забывая, что надо знать меру сомнениям, я уже не вылезал из центноты и упустил из-за этого ряд побед.

А Харм Вирсма, победивший в турнире и провозглашенный четырнадцатым чемпионом мира, играл блестяще: он нанес поражения всем основным соперникам, продемонстрировав ошеломительные теоретические новинки...

В октябре наступающего года я буду играть с Хармом Вирсмой матч-реванш. Это, кстати, последний матч-реванш в борьбе за шашечную корону. Конгресс Всемирной шашечной федерации (ФМЖД) решил, что звание чемпиона мира впредь будет разыгрываться только в турнирах — каждые два года.

У меня немалый матчный опыт, а Вирсма еще никогда не играл матчи. Психологически это очень трудно: каждый день садиться за столик против одного и того же человека и каждый день стремиться его подавить. Противостоять «двадцати Купернам» пока что удавалось только Андриису Андрейко.

Играть с Вирсмой мне удобнее, чем с Сейбрандсом. Вирсма, хотя и не менее талантлива, но более пробиваем — так что можно поискать брешу...

Все это так, но возникает резонный вопрос: что позволяет мне в свои пятьдесят четыре года надеяться на успех в матче с находящимся в расцвете сил Вирсмой?

Возраст, конечно, несколько ослабил и мою память и счетные способности, но новые стратегические схемы, позиции на шашечной доске я открываю попрежнему. Так что я верю, что в целом продолжаю совершенствоваться. Да и здоровье меня не подводит — не зря всю жизнь я слеую строжайшему режиму (недавнюю простуду в Амстердаме считаю досадной случайностью).

И, наконец, та жажда победы, которая заставила меня всю свою жизнь подчинять игре в шашки, не убавилась. Перед одним из олимпийских турниров, когда я был несколько помоложе, я, помню, сказал в запальчивости, что ради победы готов согласиться, чтобы у меня отсекли обе руки. И вот я думаю: мог бы я повторить теперь подобные мальчишеские заявления?

Да, мог бы...



КОРОЛЕВ, ПОКА ОН ЕЩЕ НЕ СТАЛ КОРОЛЕВЫМ

Молодые инженеры из конструкторского бюро академika Королева рассказывали мне, как однажды, уже после ггаринского полета, пришли они к Сергею Павловичу с просьбой помочь им в организации авиаклуба и планерной секции.

— Вы не представляете, какой это замечательный спорт! — с жаром воскликнул один из них.

Опустив подбородок к груди, Королев поглядел на него поверх очков, улыбнулся и сказал:

— Ну почему же... Представляю...

В те годы мало кому известна была биография великого конструктора, и молодые инженеры не знали, что в домашнем архиве бережно хранит Сергей Павлович маленькую книжечку в коленкоре цвета морской волны, которой гордился он не меньше, чем дипломом МВТУ: «Пилотское удостоверение», выданное Королеву 2 ноября 1929 года.

«Строить летательные аппараты и летать на них», — эту программу

жизни наметил Сергей Королев еще в юные годы и не отступал от нее всю жизнь. Все началось с планеров. Первый проект будущего Главного конструктора, планер К-5, создан был еще в Одессе, где Сергей заканчивал строипрофшколу. Он строил планеры и в Киеве, и в Москве, проектирует совместно с С. Н. Люшиным, другом юности, планер «Коктебель», затем «Красную звезду», активно участвует в планерных слетах в Крыму. Но при всей юношеской увлеченности планеризмом Коро-



Старейший фотомастер Виктор Тюнкель, который в тридцатые годы тоже занимался планеризмом и имел удостоверение пилотарителя класса «А», предложил нашему журналу два снимка молодого Королева. Первый снимок (стр. 105) был сделан на планерном слете в Коктебеле: крайний справа — Сергей Королев, крайний слева — начинающий авиаконструктор Олег Антонов. На снимке слева — Королев и Кошиц «у разбитого корыта»...

лев мечтал стать настоящим летчиком, летать на настоящих самолетах. В феврале 1929 года в Москве начала работать школа летчиков, куда поступил и 22-летний Королев. Всю весну и лето занимался он в этой школе, а в августе совершил первый самостоятельный полет.

Дипломная работа студента С. П. Королева — авиетка, маленький легкий самолетик. Руководитель диплома, совсем еще не старый — 41 год — и уже очень известный Андрей Николаевич Туполев вспоминал: «Королев был из числа самых «легких» дипломников: я сразу увидел, чего он хочет, достаточно было лишь слегка помогать ему, чуть-чуть подправлять. Я быстро убедился, что этот человек умеет смотреть в корень. Уже тогда у меня сложилось прекрасное впечатление о нем, как о личности и как о талантливом конструкторе. Я сказал бы, что он был человеком, беспредельно преданным своему делу, своим замыслам. Я с самого начала по-

чувствовал к Королеву расположение, и надо сказать, что он всегда также отвечал мне большой сердечностью...»

Для получения диплома требовалось разработать проект, но Королев стал Королевым именно потому, что все его мысли мгновенно материализовались, все идеи можно было «потрогать». Авиетка была построена уже после окончания МВТУ. Сергей Королев и летчик Дмитрий Кошиц совершили на ней первый полет в сентябре 1930 года. Газета «Вечерняя Москва» писала об «известном инженере С. П. Королеве», которым был «сконструирован новый тип легкого двухместного самолета СК-4». Еще и года не прошло, как «известный инженер» окончил высшую школу, но на своем самолете он уже летал сам, чаще всего с Кошицем.

Летом 1931 года во время испытаний авиетки заглох ее слабенький мотор. Высота была так мала, что отвернуть на поле Кошиц — он летел один — не мог.

СК-4 упал на крышу ангара. Сергей Павлович так прокомментировал снимок, запечатлевший это грустное событие:

У разбитого корыта
Собралась вся семья.
Морда Кошица разбита,
Улыбается моря.

Корыто «известного инженера» было разбито, но золотая рыбка уже билась в его сетях: как раз в это время знакомится Сергей с работами Циолковского, в эти дни задумывается он над применением принципов ракетного полета для достижения еще невиданных высот и скоростей. Именно тогда Королев делает первые шаги на длинном и тернистом пути, который ведет его к Главному конструктору Королеву.

Ярослав
ГОЛОВАНОВ

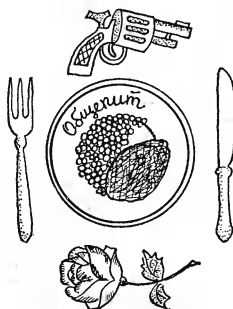


ЛЕВ КОРСУНСКИЙ

ТРИ МАЛЕНЬКИХ РАССКАЗА

Рисунки
К. ГОРЯЧЕВА и Е. ЗЕЛЕНИНОЙ.

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ



Студент Перышкин ежедневно завтракал, обедал и ужинал в столовой «Красный богатырь», и чувство легкого голода никогда не покидало его. Однажды, когда Перышкин покорно передвигался со своим подносом в очереди, новенькая раздатчица положила в его тарелку неестественно большой кусок мяса.

«Какая приятная неожиданность», — подумал Перышкин, — ни

когда ведь раньше такого не бывало».

И чувство пьянящей радости не покидало его весь день.

Но на следующий день повторилась та же история: на завтрак, обед и ужин Перышкин получал от этой девушки отменное мясо.

«Что бы это значило? — растерялся Перышкин. — Какое-то недоразумение. Может быть, меня принимают за киноартиста? Вряд ли».

Перышкин пополнял, похорошел, но эти тревожные мысли по-прежнему мучили его. И в конце концов он решил, что просто нравится этой хорошей девушке.

«С одной стороны, это очень удобно, — размышлял Перышкин, — но с другой — получается, что она как бы покупает меня».

Подумав такое, возмущился Перышкин. Какое она имеет право покупать его, Перышкина, какими-то бишкетсами и рагу? Он не продается! Но даже если она и не думает его покупать, а просто хочет сделать приятное — все равно она опутывает Перышкина. Он ведь пользуется не совсем честными ее услугами.

«Придется перейти в другую столовую, — решил Перышкин, — а то потом не развяжешься. Если я поеду ее рагу — значит, подую ей надежды».

Перешел в другую столовую. Но голод и тоска снова пригнали его в «Красный богатырь». Не хватало у Перышкина мужества. «Я ведь не йог и не верблюд», — оправдывал себя Перышкин.

Снова он закружился в вихре удовольствий. Однако скоро почувствовал, что связан с этой девушкой на всю жизнь. Потерял он свободу. И когда сделала Перышкину предложение его сокурсница, которая очень нравилась ему, он так и ответил ей: «Вот уже несколько лет я связан с другой женщиной. Я многим ей обязан. У меня есть совесть».

Заплакали они оба, и вышла она замуж за его приятеля. Похудел тогда Перышкин, несмотря на отличное питание, и отправился к своей благодетельнице. Надо сказать, что он испытывал к ней теплое чувство.

— Я предлагаю вам выйти за меня замуж, — краснея, промямлил Перышкин.

— Да ведь я уже замужем, — удивилась девушка.

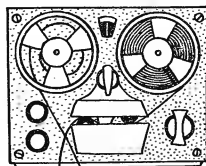
— Зачем же вы тогда столько лет давали мне такое мясо? — опешил Перышкин.

— А я просто честно работаю, — гордо объявила девушка, — я всем такое кладу.

— Эх, — приуныл Перышкин, — кто же знал, что ты такая! А у меня теперь вся жизнь из-за тебя испорчена.

Но и это горе Перышкин скоро забыл, получая вкусное и полноценное питание.

ЗВУКИ ЛЮБВИ



Сижу я как-то дома и смотрю футбол по телевизору. Подскакиваете ко мне жена и говорит жалобным голосом:

— Ты бы мне что-нибудь ласкового сказал. А то после медового

месяца я от тебя ничего такого не слышала...

— Какого такого?

— Ну, я не знаю,— смутилась жена,— это ты сам должен придумать.

— А я-то тем более не знаю, что тебе хотелось бы услышать. Ну, если хочешь... Дорогая,— говорю в то время, как у наших ворот угрожающее положение.

Чувствую, не удовлетворена этим жена.

— Ну... дышленок.

Посмотрел я на жену, а она совсем скисла.

— Знаешь что,— говорю,— ты ведь меня не первый раз просишь что-нибудь ласковое сказать... Давай, я на магнитофон все эти нежности заговорю, а ты, когда тебе захочется, их послушаешь, а то у нас несовпадение получается. Я, к примеру, сегодня не в настроении.

— Это как-то странно...— удивилась жена.— Ну, давай попробуем.

Наговорил я ей на пленку всяких ласковых слов, и она то и дело стала их заводить, что меня, надо сказать, несколько раздражало. Даже как-то раз ночью я проснулся от своих же истерических любовных признаний. Терпел, терпел и я попросил жену и мне наговорить на пленку разных любовных глупостей. Что я, не человек, что ли? Мне ведь тоже ласки хочется.

Помню, раскричалась на меня жена. Я на нее смотрю, а она вся красная, заревавшая. Жалко мне ее стало.

— Ты бы,— говорю,— себя пожалела. Накричи на пленку все эти проклятия и ставь иногда. Чтоб каждый раз не расстраиваться.

Так она и сделала. Однако продолжало меня утомлять то, что жена каждый день одно и то же повторяла: вымой пол, принеси картошку... Попросил я ее и это записал. Ведь одно и то же...

Вскоре разговаривать нам стало не о чем. Сиджу я, бывало, в кресле и покоем наслаждаюсь. Поставил только иногда свои проклятия или нежности жены — и все.

Подходит ко мне как-то жена и говорит:

— Я должна тебя огорчить.

— Давай!

— Мне так жить скучновато, и я люблюла другого человека.

— Ну и что?— говорю, а сам удивляюсь, чего это она так разговаривалась, да и натуральный голос ее я подзабыл.

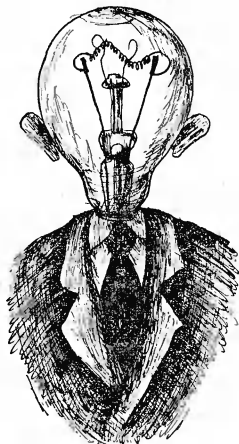
— И я хочу с ним соединиться. К чему же,— думаю,— она хлопнит?

— Уходишь, что ли?— спрашиваю.— Так бы сразу и сказала. Ну что ж, я не против.

Бросила она меня. Ничего, привык к одиночеству, хоть и чувствую иногда, чего-то мне не хватает...

Жалко только, что она все свои магнитофонные нежности на другую квартиру унесла, одни проклятия оставила...

ДЕТЕКТОР ЛЖИ



Приношу я на работу большой железный ящик.

— Это детектор лжи,— объясняю я сослуживцам,— собрал сто из своего мотоцикла.

— Как же он работает?— оживляются коллеги.

— Очень просто. Провода прикрепляются к голове испытуемого. Если он говорит правду — загорается зеленая лампочка, а если неправду — красная. Проверил его на всех знакомых — ни одной ошблки.

— Петя, — неожиданно говорит Гаврилова своему мужу, — я хочу, чтобы ты проверился.

— Мне не хочется, — застенчиво возражает Пестя.

— Значит, ты меня иногда обманывал? — допытывается она.

— Ну ладно. — вздыхает Петя, садится в кресло и присоединяет провода к голове.

— Где ты был вчера вечером? — спрашивает Гаврилова.

— В планетарии.

Загорается красная лампочка.

— Где ты был? — дрожащим от волнения голосом повторяет Гаврилова.

— Ну, в кино.

Снова загорается красная лампочка. Гаврилова в слезах выбегает из кабинета.

— Нашел чего изобрести, — бормочет Петя и с ненавистью смотрит на меня.

— Я хочу проверить Дроздова, — заявляет Гриша.

— Как тебе не стыдно! — возмущается Дроздов.

— Потом и ты меня тоже можешь проверить, — говорит Гриша. Дроздов неохотно усаживается в кресло.

— Ты про меня говорил что-нибудь директору? — спрашивает Гриша.

— Нет.

Загорается красная лампочка.

— Ну, говорил, говорил... Я сказал, что ты замечательный работник.

Загорается красная лампочка. Всю неделю мы проверяем друг друга. Все поздравляют меня с гениальным изобретением.

Интересно, догадываются ли они когда-нибудь, что в моем детекторе может загораться только красная лампочка!

МИНИ-ЮМ

Два месяца дружили до свадьбы и месля — после.

Ст. АФАНАСЬЕВ

Что вы мне можете предложить в обмен на бескорыстную дружбу?

В. ЧЕВНОВА

Вправе ли книголюб читать книгу того, кто ее не читает?

А. ФЮРСТЕНБЕРГ

Главное в жизни — всегда быть в форме. В смысле содержания.

М. ШУЛЬКИН

В половине пятого, когда дым в комнате густел так, что уже трудно было отличить ведущего конструктора от простого конструктора, копировщица Зина вскочила на стол, запустила реисфедером в только что законченную кальку и закричала: — Всё, девочки! Больше не могу!

Никто особенно не обратил на это внимания, и только тихий Аркадий Матвеевич на секунду оторвался от кульмана и попросил:

— Зиночка, если можно, кричи чуть тише. У меня очень ответственный узел.

Зина слезла на пол и тихо, но убедительно заплакала. Теперь уже Аркадий Матвеевич как культибуктор вынужден был оторваться от своего узла и спросить:

— Зина, в чем дело?

— Товарищи, неужели вам не надоел дымный город? Неужели вам не хочется на природу, чтоб речка, луна и картошка у костра... А то всю неделю только и разговоров про ригели да сортаменты. И ничего для души. А где-то шумят девственные леса, плещет прозрачное озеро, шестает трава, в которую еще не ступала нога человека. Выберем такой уголок и отдохнем раз в жизни. Неужели вам не хочется?

— Хочется, хочется! — закричали все. И в воскресенье, едва только солнце выглянуло из-за райфинотдела, вся проектная организация в полном составе заехала в автобусы.

— Поехали! — чудим, бодрым голосом закричал главбух и помахал вахтеру полотняной кепкой.

Автобусы тронулись, мимо замелькали деревья, зеленые палисадники, огороды. Зина, зажмурив глаза, зашептала: «Под крылом самолета о чем-то поет...» Никто не подхватил, и она затихла сама собой.

В одном с ней автобусе на заднем сиденье ворковали технолог Зверьянская и техник Пучеглазов.

— Так вот, Таташечка, если б мое предложение прошло, считайте, годовой экономии минимум тысяча севтер!

— Товарищи! Вы опять? Расслабьтесь, отдохните. Мы же на пикнике.

В автобусе воцарилось молчание.

Однако в лесу все оживилось. Механик и экспедитор быстро наломали хворосту для костра, главбух методично собирал грибы, не избегая и мухоморов, техник Пучеглазов, подбадриваемый взглядами

Семен ЛИВШИН, Дмитрий РОМАНОВ



технолога Зверьянской, лез на сосну, неумело обхватывая дерево тонкими белыми руками. И даже директор снял шляпу, ослабил галстук, взял заранее приготовленные свинки и пошел копать червей для рыбалки.

А Зина... Зина босиком бегала по лесу, воткнула в прическу два одуванчика и, заливаясь хохотом, кричала Аркадию Матвеевичу:

— А вот не догоните, спорим?

— На что? — задорно, но тихо откликнулся тот.

— На пять поделуев! — повсюду кокетничала Зина.

— На пять с половиной! — неуверенно шептал культибуктор и на всякий случай оглядывался.

Так, смеясь и перекинувшись, Зина и Аркадий Матвеевич выбежали на поляну и замерли.

— Вы посмотрите, какая плавная линия холмов!

— Да, кивнула Зина.

Аркадий Матвеевич указал в другую сторону.

— А там, там, видите, просто чудно какая роица!

Зина снова кивнула.

— Но знаете, что сейчас мне нравятся больше всего?

Зина покраснела и тихо спросила:

— Что, Аркадий Матвеевич?

— Никогда не догадетесь! — Культибуктор обнял Зиночку за плечи.

— Ну, — еле дышала Зиночка.

— Озеро! — выпалила он, блестя очками.

— Озеро... — прошеледела Зина. — Посидим на берегу?

— Зачем? Я уже все обдумал!

— Что? — слова покраснела Зиночка.

— Градирия! — выпалила Аркадий Матвеевич. — У озера ей самое место. А деревообделочный цех вон там привяжем, между холмами. Благо, сырье растет рядом. У меня уже весь проект в голове. Идемте к нашим, пусть тоже порадуются.

И, размахивая руками, Аркадий Матвеевич напрямик побегал к автобусу.

Через полчаса, наскоро перекусив, взялись за дело. Половина людей под руководством техника Пучеглазова отправилась на глазомерную съемку, а остальные наперегонки подсчитывали объем земляных работ и примерный экономический эффект. К счастью, у главбуха случайно оказалась с собой арифмометр и три логарифмические линейки, а Зверьянская, чуть конфузясь, вытащила откудато кульман и быстро приладила его на пне.

— На три часа вызовите ко мне механиков, — распорядился директор.

Пришли механики, еще в плавках, но уже при чисткуках.

— Озеро придется осушить, иначе склад сыпучих не посадим, — сообщили они.

— С районным архитектором согласовали?

Механики потупились, зашевелили босыми ногами.

— Вот так всегда, — заметил директор, — дело стоит, а они, видите ли, в рабочее время в речке бултыхаются.

Механики обиделись:

— Мы не бултыхались, мы профиль дна изучали, грунты прощупывали...

— Ну и что?

— Есть сложности. Абсс первой категории просадочности. Но ничего. Снай би будем.

Домой возвращались с песнями. В перерыве между куплетами Зина шептала культибуктору:

— Знаете, Аркадий Матвеевич, мы с вами как вышли на ту поляну, у меня сразу сердце защемило, стою, а в глазах туман. Знаете, о чем я на самом деле подумала?

Тут уж покраснела пришла очередь Аркадию Матвеевичу.

— О чем? — чуть дыша спросил он.

— Чего же, думаю, я, дуруха, реисфедер дома оставила?..

г. Одесса.



Арк. ИНИН, Л. ОСАДЧУК

БУДЬ ДРУГОМ, ВЫРУЧИ!

Рисунок И. ЗАЙЦЕВОЙ.

Именно с этого он обычно начинал.

— Будь другом, выручи! У тебя классный польский костюм. Он мне удивительно идет. Мы с Машей мчим в театр. Хочется выглядеть... Ты понимаешь?

Я понимал. Паша уже не раз успешно покорял сердце Маши своими швейцарскими часами, венгерскими запонками и сирийскими галстуками.

Но недавно Паша сказал:

— Будь другом, выручи! Своим... то есть твоим гардеробом я уже Машу покорила. Теперь нужно что-нибудь... более! Достать бы из кармана ключик и покрутить его на пальчике. Это впечатляет! Ты понял?

Я понял и скрепя сердце выдал ему ключ от своего «Запорожца».

— Старики, она меня почти обожает! — кричал назавтра Паша. — Еще один удар и...

Очередной удар по Маше должен был наноситься в моем служебном кабинете.

— Будь другом, выручи! — умолял Паша. — Человек с моей... прости, с твоей промтоварной внешностью и с моей... твоей машиной должен занимать соответст-

вующее положение. Твое, к примеру. А Маша уже сильно интересуется моей должностью и фамилией. Сам понимаешь, пришлось назвать твою должность. И твою фамилию.

И вот Маша наносит визит в мой небольшой, но отдельный кабинет, за столом которого восседает Паша.

— Все! — душила он потом меня в объятиях. — Маша готова на последний шаг — посмотреть мою квартиру! То есть твою... У меня ведь, сам понимаешь, мои старики, и еще соседи, шум, гам.

Целый вечер я прощался по городу и только в двенадцатом часу позвонил домой.

— Вам кого? — спросила Маша тоном хозяйки квартиры.

Я вовремя вспомнил, что Паша носит мою фамилию, и попросил позвать Новикова, то есть самого себя.

— Я слушаю, — недовольно пробасил Паша. — Да... Конечно, узнаю тебя... К сожалению, сегодня не смогу. Приходи лучше завтра. Утром. Поздним утром.

Ночевал я на вокзале, изображая для любознательствующей милиции транзитного путешественника без багажа.

Поздним утром я наконец вернулся в свою квартиру. С того дня Паша как в воду канул. Я тихо радовался одинокой жизни.

Но вчера раздался звонок в дверь.

— Паша дома? — даже не поздоровалась девушка, яркая блондинка с обложки журнала мод.

— Пашки нет, — ответил я растерянно, — и вообще он здесь не...

— Я Маша, — перебила она и, считая, что этого достаточно, вошла в квартиру. — Я Маша. Ищу Пашу. Ужасно волнуюсь — он исчез. Перед самой свадьбой! Его машину я видела у подъезда. А где он сам?

Маша усталилась на меня голубыми кукольными глазками и вдруг заметила мой польский костюм. Внимательно рассмотрела мои югославские туфли. Остановила взор на сирийском галстуке. Скосила глаз на швейцарские часы. Сказала убежденно:

— Вы его убили!

И упала в обморок.

— Вы живы?.. Я вам сейчас до stanu вашего Пашу изпод земли! — Уже из-под земли? — Ресницы Маши снова захлопнулись.

Пашу я отыскал на его фабрике.

— Я понял, что ошибся, — твердо сказал Паша и выдала слезу: — Будь другом, выручи! В последний раз!

— Как? — спросила я.

— Женись на ней! Будь другом!

Когда я прилепился домой, Маша сидела у зеркала и как ни в чем не бывало подновляла свой голубоглазый фасад.

— Наконец-то! — обрадовалась она. — Я так соскучилась, Паша.

— Я Саша!

— Но ваша фамилия Новиков?

Я кивнул.

— И к какому вам?

Я кивнул.

— И машина ваша?.. И квартира?..

Я кивнул два раза.

— Ну вот, все сходится! Значит, мы снова вместе, Пашенька!..

— Я Саша.

— Ну, хорошо, хорошо! Саша так Саша. Стоит ли из-за этого спорить? Сейчас я сварю кофе. Взбодримся!

И Маша упорхнула на кухню. А я выпрыгнул в окно и побежал.

Прибежал я в коммунальную квартиру Паши и взмолился:

— Будь другом, выручи! Нечего тут гадать!

И Паша, как настоящий друг, без лишних вопросов, распахнул передо мной раскладушку.

Игорь
ЧЕРВЯКОВ

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Рисунок
Е. КОРНИЛОВОЙ.

Когда мне исполнилось четыре года, родители порешили отдать меня в детский сад.

— Пусть привыкает быть в коллективе, — сказал папа. — В жизни это пригодится.

— Там он будет развивать свои художественные способности, — села на своего конька мама.

лучшие куски, во время дневного сна я завладевал всеми игрушками в игровой комнате и наслаждался ими, сколько душе угодно.

В семь лет я поступил в первый класс, через некоторое время учительница сообщила моим родителям:

— У вас на редкость шаловливый ребенок, я не представляю, как с ним работать...

— Ах, так! — вскипела бабушка. — Наш мальчик никому не нравится? Хорошо же!.. Дед, кончай пенсионерить, иди в школу завхозом.

Десять школьных лет за спиной дедушки-завхоза пролетели как розовый сон. Я безнаказанно бил стекла, разбирал выключатели, кромсал ножиком парты и, наконец, получил аттестат зрелости. Встал вопрос, что делать со мной дальше.

— Юноша проявит себя в археологии, — твердо заявил дедушка-завхоз. — Однажды он так ловко вскрыл паркет в школьном актовом зале, что потом дюжина рабочих еле-еле уложила его на место.

легко и весело: я всегда в точности знал, где на stole экзаменатора лежит единственный ученичный мною билет.

После окончания университета я в составе археологической экспедиции поехал в далекую пустыню.

Теперь на подвиг пошла сама мама. Она нанялась в отряд поварихой.

Вчера, когда мы достигли сердца пустыни, мама подошла ко мне и прошептала:

— Ночью я спрячусь во-он у того холма на горизонте и переполюсуюсь в древнюю высохшую мушкетеру. А завтра ты разыщешь меня, сынок, и прославившись на весь мир. Прощай, детка!

Ночью разыгрался самум... Вот уже несколько дней я ищу маму, но тщетно. Я стою с компасом и картой в руках посреди пустыни и глотаю слезы. Где я?.. Что делать?.. Кончается вода, осталось лишь немногое чернил, чтобы дописать свою печальную историю.

Мама, ах!..



— И быстро научится ругаться, плавать и стрелять из рогатки, — высказал мрачный прогноз дедушка.

— Я не допущу этого, — горячо пообещала бабушка. — Я пойду работать в этот детский сад нянечкой и возьму нашего ребенка под персональную опеку.

Под крылышком бабушки-нянечки мне жилось припеваючи. В завтрак и обед мне доставались

— Поверьте, он в кратчайший срок доведет до конца раскопки Карфагена или разнохает стоянки инопланетян! — размечталась мама. — Отец, — сказала она папе, — твоя очередь.

И мой отец пошел лаборантом-препаратором на кафедру археологии в университете, оставив высокий пост начальника отдела крупного проектного института.

При папе-лаборанте мне жилось

А. СУМБАЕВ

ДВАЖДЫ
ДВА

«Сколько будет дважды два?» — спрашиваю.

«Не знаю», — говорит.

Я ошелопо похлопал ресницами.

«Ведь ты же знала», — промямлил я.

«Забывала», — отвечает.

Я совсем растерялся.

«Ну, это столько же, сколько два плюс два», — подсказываю.

«А-а, протянула она, — гав-гав-гав!»

«Умничка», — похвалил я, и она стущенно завиляла хвостом.

Публика аплодировала.

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Геннадий МАШКИН. «Инспектирующее лицо». Рассказ 16
Юрий ЩЕРБАК. Что такое любовь! Рассказ 26
Александр КУЛЕШОВ. Олимпийское беспокойства. По-
весть. Окончание 36



ПОЭЗИЯ

Кайсын КУЛИЕВ 14
Татьяна БЕК 15
Натан ЗЛОТНИКОВ 24
Ирина КИЯШКО 34
Владимир КОСТРОВ 35
Григорий ГЛАЗОВ 61
Михаил ГУСАРОВ 62
Сергей МНАЦАКАНЯН 63
Кадыр МУРЗАЛИЕВ 98
Леонид ЗАМЯТНИН 98



ПИСЬМО НОЯБРЯ

Вера ГАРМАЙТЕ. «Остаюсь работать в совхозе» 64
А. ПУГАЧ. Жизнь подсказала решение 64



КРИТИКА

Николай ТИМОФЕЕВ. «Стремясь душою ввысь...» 66
Эрнст ГЕНИР. Семь дней недели 68
Светлана КАЙДАШ. Выбор есть всегда 70
И. ГЕЛИН. «Вся наша планета — горячая...» 71
Эмма ПРОСКУРИНА. Геля Чудиня, его бабушки и дя-
дюшки... 75
Круг чтения 76
Александр КАМЕНСКИЙ. О живописи Дмитрия Жилин-
ского (К нашей вкладке) 78
Алексей ПЬЯНОВ. «Лица необщим выраженьем...» 81



ПУБЛИЦИСТИКА

В. ВАСИЛЬЕВ. Встречи с Лениным 2
Вячеслав КИСЕЛЕВ. Соревнование по вертикали 82
Юрий КОЗЛОВ. Разговор со строгим экзаменатором 87
Александр АЛЕКСАНДРОВ. Дорога построена, дорога
продолжается 90



НАУКА И ТЕХНИКА

Теодор ГЛАДКОВ. Харьковский эксперимент 92



СПОРТ

И. КУПЕРМАН. Мера сомнений 99



ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Ярослав ГОЛОВАНОВ. Королев, пока он еще не стал
Королевым 105



ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Лев КОРСУНСКИЙ. Три маленьких рассказа 107
Семен ЛИВШИН, Дмитрий РОМАНОВ. Пикник 109
Арк. ИНИН, Л. ОСАДЧУК. Будь другом, выручи! 110
Игорь ЧЕРВЯКОВ. Печальная история 111
А. СУМБАЕВ. Дважды два 111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

Технический редактор
Л. К. Зяблина.

На 1—4-й стр. обложки
рисунок — В. ОРЛОВА.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции 261-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 30/VIII 1976 г.
А 07152.
Подл. к печ. 11/X 1976 г.
Формат 84×108/16.
Усл. печ. л. 12,18.
учетно-изд. л. 17,62.
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 2595. Заказ № 2735.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

Книжная и журнальная графика
Иосифа ОФЕНГЕНДЕНА



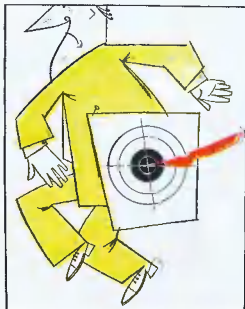
Обложка книги «Мой знаменитый двойник».



Из иллюстраций
к книге Ф. Махмудиева
«Путешествие на тот свет».



Из иллюстраций к книге
«Мой знаменитый двойник».



Фронтиспис к книге «Сатира, юмор».



Типаж.

152

Индекс
71120

Цена 40 коп.

